K 28 — 20
m. 1

Ж 28/20

...ЖОВСКИЕ МАСТЕРА

I

1930

ЖИЗНЬ и ЗНАНИЕ

К28
20

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

I

ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ, КОНСТ. БОЛЬШАКОВ,
СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ, АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ,
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, ВЕРА ИЛЬИНА,
БОРИС ПАСТЕРНАК, ПАВЕЛ СУХОТИН,
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЖИЗНЬ и ЗНАНИЕ»

ЛЕНИНГРАД — МОСКВА
MCMXXIX

Главлит № А-41106 Тираж 5000—14½ л. Зак. № 4257

Гос. тип. изд. „Ленинградская Правда" Ленинград. Социалистическая, 14

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ТАНКИ и НЕФТЬ

ТАНКИ и НЕФТЬ

(Две сцены из хроники «ВЕРНОСТЬ»)

Страдающие:

ПАВЛИКОВ, С., профессор—командир танка «Марки 5 со звездой» и командир танковой роты, позже, в долине Тба—начальник нефтяных разведок Горной Академии

КАТЯ — его жена

СОЖА, Л. Б. — горный инженер

РЕНТУЛИЧ, Мотя
КОРСАКОВ
ЦИТОВСКИЙ
} его помощники по танку

УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА — жена Л. Б. Сожи

ШУРОЧКА — ее дочь от брака с г. М. Добродольским

ТАНЯ — сестра Ульяны Михайловны

МУЛЛЫ при мечети Биби-Ханым

ПОЛЬСКИЕ ОФИЦЕРЫ

БУФЕТЧИК

МАМЕД, ГАЗМАТ и КАЗИ — три чистильщика сапог.

Первая сцена в 1920 г., вторая — 1928 г. на Кавказе.

БИБЛИОТЕКА
№ 17052
7 - VII - 1930

ТАНКИ

Зал I-го класса ж.-д. станции. Высокий буфет украшен польскими флагами.

ПОЛЬСКИЕ ОФИЦЕРЫ, БУФЕТЧИК.

Мрачный офицер: (Подходит к окну, вздыхает). От пыли, поднятой войсками, сумерки подобны могиле.

Офицер с белыми волосами: Ваше сравнение, пан, надо понимать так, что москали усилят наступление?

Буфетчик: Усилят? Весь день на Лысый холм наше войско ставило пулеметы. (Показывая бутылку) Но все же, панове, и от канонады, и от пулеметов убытки не столь значительны, сколь расчитывал я, когда рядом с моим буфетом открылась война.

Веселый офицер: Коньяк! (Протягивает стакан) Запрещенного зелья, пан буфетчик! Отлично.

Буфетчик: Ах, господа, вам за водку выговор, а мне великий суд. Но я должен предвидеть убытки...

Веселый офицер: Я согласен участвовать в ваших убытках. Еще, пан буфетчик...

Сутулый офицер: (Вбегает). Отступление. Сейчас и вас, сейчас и резервы... Сейчас всех на линию...

Мрачный офицер: Дайте ему коньяку, буфетчик.

Веселый офицер: Глупости. Польше отступать?! Глупости...

Сутулый офицер: Москали захватили вторую линию окопов!

Юный офицер: (В дверях). Да, захватили. Я хочу быть справедливым—москали бьются смело. Сто десять пулеметов захаркали с Лысого холма навстречу москальской смелости.

Буфетчик: Сто десять пулеметов,—какие расходы случаются на войне!

Юный офицер: Еще один час нашей стойкости и москали дрогнут. Я прошу чаю, буфетчик.

Мрачный офицер: Выпейте коньяку. Мне не хотелось бы огорчать пылкого пана Янчевецкого, но имеются достоверные данные, что москали ввели в бой роту танков.

Голоса офицеров: Пустяки!

— Откуда у москалей танки?
— Он всегда так пессимистичен.

Буфетчик: Трудная торговля, трудная. Сто пулеметов. Танки. Господа офицеры, покушайте перед сражением свежих котлет.

Мрачный офицер: Усиленно рекомендую выпить коньяку, господа. Ночь будет тяжелая. Внимание: пулеметы на Лысом холме замолчали. Отчего?

(Пауза).

Сутулый офицер: Значит, москали приостановили наступление.

Мрачный офицер: Выпейте коньяку для бодрости.

Веселый офицер: Меня возмущают предсказания.

Мрачный офицер: Кто делает предсказания?

Веселый офицер: Вы.

Мрачный офицер: Я предлагаю только коньяк.

Сутулый офицер: И коньяк может служить предсказанием. Я узнаю истину. (Уходит).

Буфетчик: (Мрачному офицеру). Вот видите, пан офицер, война закупорена смелыми рыцарями. Торговать опасно, но вместе с тем и радостно, так как рядом решается судьба родины.

Юный офицер: Москали отступают, а нас держат в резерве.

Мрачный офицер: Мама успеет еще оплакать вас, юноша.

Юный офицер: Я сейчас все узнаю. (Бежит, в дверях сталкивается с Сутулым офицером).

Сутулый офицер: На правом фланге москали отступают.

Буфетчик: Поражение москалям! Кончились мои убытки!

Мрачный офицер: По моим расчетам они и должны были отступить на правом фланге. Бедные поляки!

Юный офицер: Пан поручик, я не позволю господствовать пессимизму над родиной. Поражение москалям... (Мрачный офицер, пожимая плечами, отходит к окну).

Голоса офицеров: Побежали.

— Кавалерию вслед.
— Отступают, отступают...
— Москали отступают...

Юный офицер: Победа, господа, победа!

Буфетчик: Господа офицеры, я должен поднести еще вторую радость. Москали только лишь побежали, а у меня уже есть москалитские трофеи. (Буфетчик достает из-под стойки четверть водки. Хохот).

Юный офицер: Не надо водки, радость должна быть чистой. (Офицеры хохочут, Юный подходит к Мрачному). Вы видите, пан поручик, бегут!

Мрачный офицер: Мне отказываются внимать А я вижу пыль и я еще раз предупреждаю всех...

Юный офицер: Еще кавалерия. Победа, победа... Да здравствует Польша!.. Я хочу выпить за Польшу.

(Бежит, останавливается и запевает).

«Гей, словане, докуль наша,
«Речь свободно льется,

Офицеры (Подхватывают):

«Дотуль наше верно сердце
«За народ свой бьется...

Мрачный офицер: (Бросается к дверям). Берегитесь, эй!..

Грохот. Стена колеблется. Вопли. Офицеры кидаются к дверям. Электричество гаснет. Во мраке—голоса бегущих и всех громче голос Буфетчика. Звенит падающая посуда. Еще раз грохот и затем все стихает.

С улицы луч фонаря освещает упавшую дверь. Через дверь, опасливо озираясь, перелезает Буфетчик. Он, раздвигая руками столы, упавшую посуду, медленно пробирается вперед.

Буфетчик: (Поднимая смятую ложку, вздыхает). Господа офицеры бежали, покинув родину, это еще терпеть можно, но я бежал, оставив буфет, что гораздо страшнее. (Кладет ложку в сломанную миску). Сколько же перебито посуды, и какой посуды! И какого фаянса! И водки нет. И зачем людям выдумывать такие огромные бомбы, которые с одного вздоха разбивают буфет и разливают дорогую водку. А какие для нее приготовлены были великолепные рюмки. (Двигается среди опрокинутых столиков). Хотя рюмки спрятаны далеко и, возможно, уцелели. Также, есть возможность, что и буфет цел. Снаряд взял и упади рядом с буфетом. Какие

радостные мысли может иметь человек. Даже фонарь отяжелел... (Буфетчик поднимает фонарь. Сначала он трепетно освещает стойку, затем свет увереннее поднимается к кассе и затем уже к буфетным полкам. В проломе стены, среди покалеченных буфетных полок, весь в пыли и осколках разбитой посуды стоит танк «марки 5 со звездой». Буфетчик оторопело опускает фонарь и поднимает кверху руки).—Матка бозка, конец жизни, матка бозка!.. (Буфетчик убежал. За окнами умолкли его вопли. Скрипит дверца танка. Желтый луч света падает на опрокинутые столики).

ПАВЛИКОВ, СОЖА, РЕНТУЛИЧ, КОРСАКОВ И ЦИТОВСКИЙ.

Рентулич: (Оборачиваясь) Прежде всего, пахнет водкой. Товарищ командир, по всей видимости мы в'ехали в станцию.

Павликов: (Прыгает на буфетную стойку). Проверить состояние машины.

Цитовский: Я и так вижу, что горючее кончилось.

Корсаков: Я предлагаю немедленно покинуть станцию и немедленно искать связь...

Сожа: Конечно, пока в станцию поляки не возвратились. (Идут к дверям).

Павликов: Сожа, остановись. Дай бинокль, он лучше моего.

Сожа: (Возвращается и подает бинокль, Павликов идет к окну). Осторожнее, товарищ командир, обстреляют.

Павликов: Ни с места, товарищи. Сожа, сколько у нас гранат?

Сожа: Ни одной.

Павликов: Карабины есть?

Корсаков: Никак нет.

Цитовский: И пулеметы попорчены. Сил нет сопротивляться.

Павликов: И тем не менее вы будете сопротивляться.

Сожа: Я знаю, танк лучше тебя, товарищ командир

Павликов: Я прибыл к командованию танковой ротой за пятнадцать минут до операции.

Сожа: Вот в том то и дело.

Рентулич: Слушать командира.

Сожа: А ты кто такой, Рентулич?

Павликов: Ты, как помощник командира, Сожа должен осмотреть танк и его вооружение. У тебя, знаю, мало было времени обучить команду, но все ж расхлябанность и неряшливость...

Сожа: Товарищ Сергей. Ты приехал за пятнадцат минут. Нам даже твоя фамилия неизвестна.

Павликов: Вы повинуетесь революции, а не мое фамилии. Революция назначила вам в командиры танковой роты товарища Сергея и вы обязаны ему повиноваться.

Рентулич: Все ясно. Приказывай.

Павликов: (Отстегивает кольт). Прошу ожидат распоряжений и стоять на месте. Поляки сейчас перей дут в наступление, а наша пехота еще не успела по дойти. (Вспрыгивает на подоконник). Деревья мешак прожекторам, но по моему танк «В» анфилирует окопам направо. Да, так... Необходимо завершить наш работу. Сожа, дайте мне две ракеты, мы сообщим пехот наше местонахождение.

Корсаков: Мы забыли ракеты.

Цитовский: Я вижу в конце перрона мелькак какие-то фигуры.

Сожа: Поляки начали обстрел станции.

Павликов: Ты слышишь, Сожа, обстрел? Хорошо, мы с тобой позже поговорим.

Рентулич: Я принесу ракеты. (Лезет в танк).

Сожа: Ты нас погубишь этими ракетами, товарищ Сергей.

Цитовский: Хотя бы из станции...

Рентулич: (Подавая ракеты). Нам медлить нельзя.

Сожа: Я помощник командира, а не ты, Рентулич.

Павликов: (Укрепляя ракету к раме окна). Итак, Рентулич, дабы команде не думать о постороннем,—записывай мое донесение в штаб. А команде слушать и мысленно проверять правильность сообщаемых сведений.

Рентулич: Так точно, товарищ Сергей.

Сожа: Минуту внимания...

Павликов: «Наступал с пехотой, но вследствие густой пыли было затруднительно сохранить верное направление. Достиг первой цели—Лысого холма—в семь десять вечера. Успешно уничтожил пулеметный холм, подойдя к нему со стороны реки. Крейсировал до встречи с танком «В» № 522, затем подошел ко второй цели... Точка. Внимание, товарищи. Пускаю первую ракету... (Свист ракеты. Освещается группа танкистов: Сожа, Цитовский у дверей, Корсаков уже на пороге).

Сожа: Товарищ командир...

Павликов: Я сказал—ни с места! Вернуть Корсакова к танку. Если это еще повторится, я применю оружие. Вы думаете, мне приятно стоять здесь на подоконнике, как плакату... Дальше, Рентулич. «По дороге я увидал нашу отступающую пехоту, выехал вперед, чтобы остановить наступление неприятеля. Продвигаясь, я увидел танк «В» № 522, который шел не по своей дороге. Почти немедленно после этого...

(Пулемет. Слышен звон стекол).

Сожа: Пулемет по верхним стеклам...

Павликов: Смирно. Я посылаю вторую ракету, Рентулич!.. «Почти немедленно после этого, примерно в семь сорок вечера, оба танка попали под прямой обстрел антитанковых орудий и пулеметов. Последний я заставил замолчать моим левым шестифунтовым. Я маневрировал, чтобы представлять возможно меньшую цель для неприятельского огня. Тем не менее, в танк попало шесть снарядов, которые испортили обе гусеницы, зажгли запас горючего в коробке на конце танка и, может быть, произвели другие серьезные повреждения»...

Сожа: Вот дождались. Слева по станции пулемет.

Павликов: Охраняйте входы.

Сожа: А оружие где?

Павликов: Вот вам мой кольт. (Кидает кольт Рентулич его подхватывает).

Сожа: Передай оружие, Рентулич.

Рентулич: Так я тебе и поверил. Так я тебе и передам.

Сожа: Рентулич, я не позволю...

Павликов: Смирно. (Свист второй ракеты). Можно уничтожить документы (Сожа, Цитовский, Корсаков рвут документы), партийные билеты. Сейчас мы увидим ответную ракету (смотрит на Рентулича) — что страшно, Рентулич?

Рентулич: Страшно... Я спою пока, что-ли... (Срывающимся голосом запевает):

«Ясну соколу быть пойманному,
Обескрыленному,
Во неволе...
Добру молодцу быть в солдатишках
Обезглавленному...
В ратном поле...

Павликов: Нет, плохо. Подпевать некому. Я заканчиваю донесение, чорт возьми! Пиши. «Я посылал две записки с голубями: одну в 6—30 вечера и вторую в 7—10. У меня была только одна почтовая трубка и я должен был завернуть вторую записку в хлопок. Положение танка указано. Команде удалось уйти из танка невредимой. Подпись: командир танковой роты»... (Хватается за голову и вскрикнув падает на руки Рентулича).

Рентулич: (Опуская Павликова на пол). В глаз, в глаз! Вам говорят.

Сожа: (У дверей). Убит?

Корсаков: Ну так пойдемте же скорее отсюда.

Цитовский: Рентулич, мы без тебя уйдем, если так...

Рентулич: (Поднимая кольт). Иди сюда, иди сюда сволота... Отдай свой долг товарищу Сергею... он знаменитый агитатор...

Цитовский: Знаете, лучше подойти. (Трое подходят к Рентуличу).

Сожа: Командование перешло ко мне, Рентулич, и я, как командир...

Рентулич: Что ты, как командир?

Сожа: Я должен договорить те мысли, которые он не договорил. Отдай мне его кольт...

Рентулич: Я вас перестреляю, если сдвинетесь. Вот и над трупом его вы должны... Вот он вас спас. Вот вы и должны поклясться...

Сожа: Ты медленно говоришь, Рентулич. Ты пользуешься тем, что у тебя в руках кольт. В чем мы должны поклясться?

Рентулич: В чем? Да... Вы должны поклясться, вообще... Вы над телом командира в верности его заветам, а также...

Сожа: Я понял тебя, Рентулич. Я формулирую так: если мы сохранимся в живых, мы все четверо останемся друзьями на всю жизнь и верно будем блюсти заветы командира.

Цитовский: И если одному из нас будет тяжело...

Корсаков: Если один из нас дрогнет...

Рентулич: Правильно. Остальные его должны поддержать. Мы должны...

Корсаков: Мы должны придти друг другу на помощь по первому зову.

Сожа: Ну, поклялись и кончено — опусти кольт... только ради тебя, Рентулич. Идемте, что-ли же!..

Рентулич: (Растроганно). Вы хорошие друзья ей богу... Я вот мамой своей клянусь... (Поднимает револьвер).

Цитовский: Да поклялись же, будет.

(Треск пулемета. Далекая команда поляков).

Корсаков: Спешите! Поляки!

Сожа: Рентулич, ты дорогу знаешь?

Рентулич: Я выведу. Но как же мы оставим труп?

Цитовский: Еще что... Дай бог самим спастись.

Корсаков: (Хватает за руку Рентулича). Веди веди, чего тут канителиться. (Бегут, уводя с собой Рентулича).

(Пауза. Крики приближаются).

Голос юного офицера: Сдавайтесь, или я брошу гранату.

Голос сутулого офицера: Танк испорчен!

(Вбегают польские офицеры).

Юный офицер: Осветите москалей.

(Солдаты вносят фонари).

Веселый офицер: (Подходит к Павликову) Москаль мертв. Напрасно разрушил он у нас водку и буфет. (К солдатам) Прошу вынести на свалку.

Сутулый офицер: Минуту внимания. (Достает из куртки Павликова бумаги, просматривая их). Он не успел уничтожить своих документов. (Павликов стонет).

Веселый офицер: Как только я заговорил о водке, он застонал.

Юный офицер: Я говорил вам, господа, они достойные и крепкие противники.

Мрачный офицер: Рана в глаз не всегда смертельна, юноша.

Сутулый офицер: Он командир танковой роты! Мы, славяне, уважаем ум и смелость даже у противников. Санитары!..

Веселый офицер: Прошу, пане, не рассматривать моего предыдущего распоряжения как признак жестокости. Я говорил о трупе...

Сутулый офицер: Кто посмеет сомневаться в вашем благородстве, пан Марцинкевич?

Веселый офицер: Вперед, офицеры, вперед!

Сутулый офицер: (К санитарам). Осторожно, он ранен весьма опасно. (Павликов стонет, его уносят).

Юный офицер: Я прошу вас вперед... Победа! За Польшу, за веру! Вперед!!

Горнисты. Крики. Поляки бегут через станцию на перрон. Свет прожектора, выстрелы, и на путях, среди вагонов, появляется танк „В“ № 522. Оцепенелое безмолвие.

НЕФТЬ

Голубой изразцовый коридор к гробнице Биби-Ханым. Ниже — цветущий сад. За черной шапкой гробницы сияют вершины снежных гор.

(Подле чугунных ворот беседуют муллы. Чистильщики сапог: Мамед, Газмат и Кази спорят).

Кази: Есть нефть...

Мамед: Долина бесплодна. Нет нефти!

Газмат: А может быть есть, над всеми пророк...

Кази: Есть нефть...

Мамед: (Стучит по своему ящику). Нет нефти...

Старый мулла: (Проходя). Внимание правоверным паломникам.

(От гробницы по лестнице спускаются паломники).

Мулла в роговых очках: (Проходящему паломнику). Теперь, посетив священную гробницу, вы имеете право приобрести зеленую чалму хаджи...

Мулла в резиновых калошах: Зеленую чалму хаджи ты приобретешь, брат мой, в кооперативе при мечети, пройдя через сад, налево...

Мулла в розовом халате: (Указывая вниз). Вот, вот, они уже опять запели. (Слышно унылое пение духоборов, хлопанье бичей и скрип телег).

Кази: Если бы они ограничились пением и проездом мимо мечети. Я видел, какая у них кооперация. Завидно, муллы...

Мулла в роговых очках: Ты прав, чистильщик, паломники вместо того, чтобы спешить к священному праху сестры Магомета, направляются, первым долгом, в кооператив духоборов.

Мамед: А все оттого, что вы, муллы, превратили святыню в гнездо склоки и сплетень. Вот, пятнадцать лет не был я на родине. Вот на этом ящике чистился сапог члена английского парламента, а в Чикаго...

Мулла в резиновых галошах: (Протягивая журнал) Истина. Надо принять меры. Здесь, в московском журнале напечатана корреспонденция, что подле гроба сестры Магомета поднялась усиленная агитация мулл.

Мамед: Агитация, агитация!.. Ячейка в духоборской деревне являет из себя больше организованности, чем вы, муллы. Такое прекрасное предприятие, как гробница сестры Магомета...

Газмат: Тебе жалко, что ты посылал сюда доллары?

Мамед: Конечно, жалко. Кому пятнадцать лет я переводил доллары из всех стран мира? Кого ради я перечистил столько сапог?

Газмат: Я не меньше твоего перечистил сапог. Был ли ты в Париже?

Мамед: Я чистил в Париже кремом «Оттдарт», а ты каким кремом чистил? Ты способен своим клиентам чистить сапоги советским кремом.

Кази: Я буду чистить советским кремом. Здесь моя республика...

Мамед: Чисти, чисти. Пятнадцать лет не был подле этой мечети, и вот возвратился, поставил свой ящик. Где же цивилизация, где прогресс?.. Так же, как и пятнадцать лет назад, они смазывают сапоги свои бараньим отвратительным жиром...

(Опять доносится пение духоборов)

Мулла в розовом халате: Нас разоряют! Ду
хоборы засеяли всю долину пшеницей! Вы присылал
мало долларов на святыню, чистильщики.

Кази: Мне надоела щетка, я останусь в долин
и хочу работать на нефти.

Мамед: Нет нефти.

Кази: Есть нефть!..

Мулла в розовом халате: Дурак! В эту до
лину спускаются все. Сюда съехались туркмены, армяне
с гор даже спустились евреи.

Кази: Кто?

Мулла в розовом халате: Горские евреи
Все ждут работы в этой долине...

Мулла в роговых очках: Я придумал такой
выход...

Мулла в розовом халате: Довольно твои
выдумок. Испугался брани, чистильщика. Эти твои
роговые очки и индусские паломники стоят нам таких
червонцев...

Мамед: Разве эти паломники не из Индии?

Мулла в роговых очках: Молчите вы, раб
Аллаха...

Мулла в розовом халате: Доколе мы будем
переносить твои эксперименты? Вот твой отец вздумал
провести к гробнице сестры Магомета железно-дорож
ную ветку...

Мамед: Он поступал прогрессивно, его отец.

Мулла в роговых очках: Великая память
моего отца...

Мулла в розовом халате: Она останется на
тебе. Вот ветку провели. К счастью, не хватил
денег провести ее через проход и она осталась за хре
том.

Мамед: Жаль, что не довели до долины...

Мулла в розовом халате: Жаль! А почему ищут нефть три года в долине? Буряг подле священного холма, подле гробницы, почему?

Мулла в роговых очках: Я плохо понимаю, железно-дорожная ветка...

Мулла в розовом халате: Русские думают, что железную дорогу капиталисты провели в эту долину потому, что в долине имеется нефть.

Мулла в роговых очках: Подлость! Мой отец думал о религии, а не о наживе.

Мамед: О чем же думаешь ты? Ты думаешь о роговых очках и хочешь походить на индуса и на Махатма Ганди... Где паломники?.. Нет паломников... Где у правоверного крепкий очаг? Нет очага. Где муллы? Нет мулл, а есть...

Газмат: Будь благоразумен и не кричи на мулл, Мамед.

Кази: Как на них не кричать.

Мамед: Я могу кричать, я посылал доллары, а что ты послал, Кази?

Кази: Мой отец посылал доллары и он умер, не дождавшись возвращения в священную долину. Я не имею желания повторять ошибки отца и я говорю муллам так. Муллы...

Мулла в розовом халате: Молчать! (Грохот обвала).

Мулла в резиновых калошах: Слышите, Аллах выражает свой гнев.

Мулла в роговых очках: Опять обвал.

Мамед: Снегом завалены в горах все проходы и скоро приток паломников прекратится; а что предприняли против этого муллы?

Мулла в роговых очках: Я предпринял и я предлагаю еще меры...

Мулла в розовом халате: Довольно, довольно...

Мулла в роговых очках: Вы останавливаетесь всегда на полумерах...

Мамед: Каковы же ваши полумеры, расскажите.

Газмат: Опять сюда идет начальник разведок.

(Входит Лев Сожа).

Сожа: За сегодняшний день, муллы, третий обвал. Завалены не только проходы в горах, но и мосты через пропасти.

Мулла в розовом халате: Паломники спустятся в долину на лыжах.

Кази: Едва ли... Едва ли... Они обождут спасать свои души, если есть нужда спасти свое тело.

Сожа: Я вам мешать не буду. Я посмотрю только с холма на дорогу.

Мулла в розовом халате: Как твое бурение, инженер?

Сожа: Хорошо.

Мулла в розовом халате: Ты ожидаешь увидеть на дороге помощников?

Сожа: (Вздрогнув). Нет. У меня хватит и своих сил.

Мулла в розовом халате: А-а... (Закрывает ворота и достает папиросу). Нет ли у кого спичек, граждане? (Муллы и чистильщики сапог уходят. Сожа, поглядывая вниз, нервно ходит подле ворот. Голос Ульяны: «Лева, Лева, я тебя ищу!..»).

Сожа: Я здесь.

(Входят Ульяна и Таня).

Ульяна: Но ты романтик, Лев, ей богу.

Таня: Терпеть не могу романтиков.

Сожа: Я здесь по делу. Что ты думаешь, мне и природу любоваться?

Ульяна: На романтика можно положиться, он не выдаст. Я рада, что мы со Львом нашли общее дело и общую жизнь.

Таня: Лева, насколько мне помнится, сопротивиялся твоим планам, но, как все герои, уважая упорство и преданность, продумал и согласился с тобой. Я завидую вашему счастью...

Ульяна: Я не скрою и особенно перед тобой, Таня, скажу: да, я так рада получить такого верного мужа.

Таня: Ну, ты получила верного мужа, а что я здесь получила? Я хочу с тобой расквитаться. Ты мне укажи мое место в вашей жизни, теперь, когда вы ее начнете развертывать.

Сожа: Как развертывать?

Ульяна: Отлично, Таня. Именно—развертывать.

Сожа: Ты опять выдумала что-то новое, Ульяна?

Ульяна: При твоей силе тебе надо радоваться новым выдумкам, Лев. Да, я придумала. Я тебе поверила: твое испывание на верность закончилось и нам пора уехать из долины.

Сожа: Уехать из долины?

Ульяна: Да. Я тебе открою правду, Лев.

Таня: Я давно хочу этой правды, Ульяна. Особенно мне она нужна.

Ульяна: И ты ее узнаешь, Таня.

Сожа: Прости, что я тебя прерву, Ульяна. Если ты помнишь, Таня об этом еще писала в журнал...

Таня: Про танки...

Сожа: Про наш танк.

Ульяна: И про твоих друзей, которых ты заставил покляться в верности революции.

Сожа: Да, и про друзей. Они отличные ребята. Видишь ли, я себя чувствую сильным, крепким. Тобой

я очень доволен, мне хорошо. Но вот недели полтор тому назад, разбирая дела, я как-то не поверил в долг вечность и крепость своих сил. Я испугался—это бы временно, конечно—потерять то, чего достиг. Одни словом, я вызвал своих друзей.

Таня: Правильно, а то такая скучища...

Ульяна: Их надо отправить обратно.

Сожа: Я получил телеграммы с той станции, за м рами. Нет только телеграммы от Рентулича.

Ульяна: Пускай они немедленно же отсюда уеду Лев. Они раскроют неточные ведомости на рабочи Кроме того...

Сожа: Что они, ревизионная комиссия? Я их н допущу. (Роется в кармане). Вот... расчетный журна всегда со мной.

Ульяна: И кроме того, история с Тавчевадзе, к торую мне с таким трудом удалось замять...

Сожа: Я ничего не желаю знать ни о Тавчавадз ни о причинах его смерти, ни о твоем разводе с Добр дольским. Я хочу вести свою скважину до той пор пока не дойду до нефтяного фонтана.

Ульяна: Отпустим друзей, угости их ужином, чае Или давай я встречу и скажу, что ты послан в кома дировку.

Таня: А если они интересные? Они интересны Сожа?

Сожа: Ты меня хочешь вернуть на свой виногра ник. Зачем ты арендуешь засохший виноградни возделываешь его из года в год? Я ни разу не ел вин града...

Таня: Это действительно возмутительно. В каки платьях я хожу, а Ульяна держит виноградник.

Ульяна: Не хватает только того, чтобы ты, Сож упрекнул меня в том, что воспитываешь Шурочку.

Сожа: Так я тебе скажу, что я устал. Я на виноградник твой не поеду. И Шурочка твоя бешеная, четырнадцати лет нету, а она ходит с влюбленными глазами. Она липнет к Платону, полупомешанному мальчишке от духоборов. Я хочу найти нефть. Приятели мне помогут. Корсаков—общественник, Цитовский — пылкое отношение к жизни, Рентулич—ну, и Рентулич на что-нибудь годится.

Таня: Объясни свои планы, Ульяна, и я уговорю Левку. Три года ты ищешь нефть, Левка, а нашел лысину себе.

Ульяна: Здесь нефти нет. Пойдем, Таня.

Таня: А как же с Левкой?

Ульяна: Он все шутит. Он, конечно, отправит приятелей обратно.

Сожа: Нет, я не шучу. Что ты мне хотела открыть? Открой!

Ульяна: Поздно. (Ульяна и Таня уходят).

Сожа: Послушай, Ульяна, послушай, ведь так же нельзя. Я могу передумать, надо посоветоваться, нельзя же так сразу: сбирай вещи и уезжай. (Стук мотоциклеток, мелькают фонари. Крики. Сожа прислушивается) Сюда, сюда, я здесь...

Голоса (Внизу):

— Идиот!

— Но, но, потише, чугунная голова!

— Гражданин, вам это не в трамвае!

— А ты на кого наехал со своей машиной! На трудящихся наезжаешь, шкура!..

Голос Корсакова: Но ведь это же Рентулич. Право, Рентулич.

Голос Рентулича: Что-ж, если Рентулич, так его мотоциклеткой давить можно.

Голос Цитовского; Простите, но ведь это вы товарищ, Корсаков? К я вам в Москве звонил, звонил.

Голос Рентулича: Фу-у, какие пышные... Братцы, а я ведь вас и не узнал. Вы ведь меня чуть не подавили.

Здесь и Сожа должен быть.

Сожа: Здесь, я здесь, друзья!..

(Радостные вздохи, восклицания; фонари гаснут. Входят Корсаков, Цитовский, и босой, в рваном галифе, с кнутом в руке Рентулич).

Сожа: Как я рад... как я несказанно рад! Восемь лет...

Рентулич: Семь, милый, семь. Я через семь лет встречаю друзей, а они мне чуть всю морду не рассадили. Водка у тебя есть?

(Пауза. Все внимательно рассматривают Рентулича. Он себя тоже оглядывает).

Рентулич: Что? Помяли, действительно?

Сожа: А ты много пьешь, Рентулич?

Рентулич: И еще как... (Оглядывая Корсакова и Цитовского). Ну, у вас вид, что надо. В Кремле?

Корсаков: Да, я работаю в Кремле.

Цитовский: А я в Госплане.

Рентулич: Где?

Цитовский: Самое важное учреждение теперь в СССР. Госплан.

Рентулич: (С уважением) Мне вот выдвинуться как-то не удалось. А помните, какие вы... тогда у танка...

Цитовский: Да, было героическое время. Что поделашь, молодость.

Корсаков: А что мы сейчас ослабели, разве?

Сожа: Не то, что слабость. Время, друзья мои, время. Но как я рад вас видеть! А помните, на танке

от станции поляков гнали? Это когда сумасшедший этот комиссар умер. Как его фамилия-то...

Рентулич: Сергей.

Сожа: Так мы его фамилии и не узнали. Помните, я вас заставил поклясться... над трупом.

Корсаков: Вот это мне место в твоих напечатанных воспоминаниях не понравилось, Сожа. Все-таки ты пишешь историю и нечего скрывать. Поклясться, сколько мне помнится, заставил вас я.

Сожа: Это не я писал. Это с моих слов свояченица. Она у меня пишет в газеты. Таня!

Цитовский: У меня память тоже ослабела. Работаешь, работаешь... Но сколько помнится, я тоже участие принимал. И труса тогда дал один Рентулич.

Рентулич: Я... Я ничего против воспоминаний не возражал. Вы подумаете, что я в редакцию написал, чтобы исправлять вас. Я только твой адрес узнавал, Сожа.

Сожа: А чего тебе там исправлять, Рентулич? Все правильно. Ты откуда приехал?

Рентулич: Тут, видишь ли, такая история. Я пешвом пришел. Я тут, видишь ли, у духоборов кооперативные склады караулил.

Сожа: Так ты в нашей же долине жил. Почему же ты не зашел?

Рентулич: Ну, знаешь, зачем мешать. Я раньше списаться хотел. У меня неудачная жизнь. И, кроме того, мамаша у меня... И вообще, я бюрократ стал.

Сожа: Ты после расскажешь, Мотя. Дело в том, что жена у меня, видите ли, специалист по нефти, она работала и училась, а затем ее исключили из рабфака, за какое-то происхождение. Вот она сомневается, мы бурим уже три года. Здесь довольно удобно, есть склады. Я вам историю долины Тба расскажу позже несколько. Ну, одним словом, ее бывший муж, видный

специалист, и она должна была уехать из Баку. Она женщина горячая, но отличная...

Цитовский: Понимаю. Ты гибнешь из-за женщины. Я к тебе отдохнуть от роковой любви.

Корсаков: А я люблю выпить. И женщин люблю. Да, я соблазнитель, и не скрою, когда ехал по долине, так рожа на роже. Я не страдаю. Я моментально. К какой бы девочке меня можно было-б «прикрепить»?

Сожа: А это не мешает твоей общественной работе?

Корсаков: Чему?

Сожа: Общественной работе?

Корсаков: Важно из жизни выжать все, что можно.

Рентулич: Но все же и у духоборов я исполнял овражные работы. Я отремонтировал мосты.

Корсаков: Мосты снегом завалило.

Рентулич: Но они и под снегом уцелели.

Корсаков: Кстати, ну и мотоциклетки у тебя, Сожа. Все кишки вымотали... Но мы видали, какие-то люди на лыжах шли. Трое. И кажись, девочка ничего, смазливая.

Сожа: Или паломники или к духоборам. Они отважные, духоборы.

Рентулич: Так какие же у тебя планы на работу?

Корсаков: Опять ты, Мотька, пьян?

Рентулич: Что значит, опять? Я тебя прошу юдофобством не заниматься. Да, я пью. Да, если Москва потребляет водки больше, чем молока, почему я, Мотя Рентулич, счастливый еврей, не имею права в провинции выпить. Я служу у духоборов. У меня больная мама на руках и жив еще дедушка. Когда меня вышибли из полка, я, ради них, вступил в коновалы. Я и сейчас коновал. Я цыганом ради работы притво-

рюсь; это тогда, когда вы развесили по кабинетам Карлу Марлу.

Сожа: Прекратись, Мотя.

Рентулич: Ну, прекратился.

Сожа: Видите ли, друзья мои, здесь много недочетов в моей работе и много ошибок. Я вам сейчас покажу разведочный журнал, у меня здесь вычерчен разрез проходимых пород.

Цитовский: Подожди, Сожа. Ты что же на самом деле, вызвал нас помогать тебе? Работать здесь?

Сожа: Я рад, что вы так откликнулись на мой призыв.

Корсаков: Я тебя тоже не совсем понимаю. То-есть мы полагали, что ты пошутил. Ты, так сказать, игриво писал нам о своей работе и о нашей ребяческой клятве.

Рентулич: Он молодец, что помнит клятву.

Сожа: Да, искренне.

Цитовский: Мы понимаем, есть ЦКК и прочее. Но есть легкие конспиративные слова. Если ты не хочешь сказать, что у тебя отличная жизнь, что-то в роде санатория, что мы сможем отдохнуть...

Корсаков: Я тоже так понял письмо.

Рентулич: Но вы чудаки, до чего надо узнать доподлинно, как у тебя дело налажено. Осторожные. А я не боюсь, раз призвал, давай еврею работу. Мотя готов. Понял?

Корсаков: Пойдем жрать пока.

Сожа: Я бы хотел предварительно ввести вас...

Цитовский: Да, история... Ну, хоть шашлык-то у тебя есть и переночевать есть где.

(Вбегает Шурочка).

Шурочка: Папочка, Лев Борисович, мамочка вас ищет и ваших друзей. Ужин готов.

Корсаков: Это твоя дочь, Лев?

Сожа: Приемная.

Корсаков: Что же... пойдем... за ужином поговорим о деле.

(К Шурочке) Мы идем. (К Цитовскому) Девочка как раз зацветает. Ты на губу взгляни.

Шурочка: Лев Борисович, а Платона вы не встречали?..

Сожа: Платона? Нет. (Все, кроме Шурочки, уходят).

Шурочка: Платон, Платон... (Вздыхает). Господи, как тяжело любить! (Уходит).

(Входит Катя)

Катя: (В темноту) Я не могу спать в чай-хане. Там клопы в ладонь. Я постелю пальто на паперти и буду здесь спать. Павликов, Павликов, поди сюда, устрой меня на паперти, пожалуйста.

(Шурочка вводит за руку Ульяну и, показывая ей на Катю, останавливается).

Ульяна: Здравствуй, Катя.

Катя: Разве это муж? Нет, вы мне скажите—разве это муж? Я накануне разочарования. Павликов, иди сюда; Сергей, я тебя расцелую, накануне разочарования расцелую.

Ульяна: Все завидуют вашему мужу, Катя.

Катя: Павликов, иди знакомься. Здравствуйте. Уже исчез. Наверное, обиделся. Судите сами (кидает лыжи на землю)—весь день шли по снегу. Машина, видите ли, застряла, обвалы. Так он меня заставил тащиться на лыжах. Я понимаю, ходить по Москве-реке, там масса знакомых.

Шурочка: Вы очень изменились, я бы сказала, подурнели.

Ульяна: Шурочка...

Катя: Это от ветра. Затем, мы тащились на лыжах целый день среди страшных пропастей, а в чай-хане я сказала: ухожу из Тба, в Тифлис. Пусть меня обвалы (поднимает лыжи). Там, в чай-хане, клопы с ладонь.

Шурочка: От теплого ветра не дурнеют.

Катя: Ветер холодный.

Шурочка: Нет теплый.

Катя: Нет холодный.

Шурочка: Нет теплый! И вообще... И вообще, как вы смеете влюблять в себя Платошу? (Убегает).

Ульяна: Я ее сейчас уложу спать. А вы, может быть, с мужем зайдете к нам ужинать.

Катя: Я уговаривала Павликова отдохнуть в Крыму. Так он, видите ли, пожелал проехать через Кавказ. Останавливается поезд на станции, он просматривает какую-то карту, и говорит: через долину Тба, на урочище, по кругу... Чрезвычайная путаница. одним словом, за этой долиной какие-то разведки Горной Академии, а Павликов, видите ли, начальник...

Ульяна: (Холодно) Нам это известно.

Катя: Вы не обижайтесь, каждый муж достигает того, чего может. И кроме того, с нами вместе, на лыжах пришел Добродольский, ваш прежний муж. Я вспомнила, в долине Тба есть знакомые и говорю—я согласна Павликов, я навещу Ульяну Михайловну. И Добродольский ваш...

Ульяна: Бывший или не бывший, меня интересует столько же, сколько ваши бывшие мужья.

(Входит Сожа).

Сожа: Почему так рыдает Шурочка, Ульяна?

Ульяна: К ней с гор спустилось горе. Знакомься. Это жена товарища и профессора Павликова.

Сожа: (Радостно) Превосходно! Товарищ Павликов здесь? Он лучший знаток нефтяного дела в России. Я читал его книги и рад весьма...

Катя: Я вас познакомлю. Он дает иногда, если человек ему понравится, черезвычайно ценные советы. Но он болен, он совсем болен. Мы проживем здесь несколько дней, пока не стаял снег.

Сожа: (Отводит Ульяну) Приехал Добродольский. Зачем?

Ульяна: Ревизовать.

Сожа: И все-таки я не покину долину.

(Входит Рентулич).

Рентулич: Ты знаешь, Лев, они настолько ответственные, что мне стало лестно, что я с вами в одном деле участвовал. Мне нечего рассказать, я со стыдом ушел. Пойдем додержи с достоинством разговор. Которая твоя баба? (К Кате) Опрятная, опрятная.

Катя: (Игриво) Разве я могу кому-нибудь нравиться, кроме Левушки?

Рентулич: Тогда вы скажите, что я пьян?

Катя: А почему человеку не выпить?

Рентулич: Вот, в бытностью мою коновалом, вот я для дела—пил...

Катя: Коновалом? (Рентулич достает большой нож) Вы резали скот?

Рентулич: Главным образом, пускал шальную кровь.

Сожа: (Указывая на Ульяну) С тобой пошутили. Вот моя жена.

Рентулич: Извините, не узнал от усталости и снежных обвалов. Тоже отличная жена. Взгляд, главное, твердый.

Ульяна: (Соже) Веселые твои рыцари, Сожа. Итак, пошли.

Катя: Я должна дождаться мужа.

Ульяна: Вы постоите с дамой, тов. Рентулич?

Ретнулич: И еще как. (Уходит. Рентулич вдруг обнимает Кату за плечи). Чего ж отодвигаться?

Катя: Вы уже осматривали мечеть?

Рентулич: Ерунда.

Катя: Зачем вы сюда приехали?

Рентулич: Дело началось на польском фронте. Пойдемте по саду погуляем.

Катя: Я мужа жду.

Рентулич: Ну. он подождет.

Катя: Вы настойчивый.

Рентулич: С польского фронта. (Возвращается Сожа, останавливается в углу).

(Мимо под руку проходят Корсаков, Таня и Цитовский).

Цитовский: Корсаков, я тебе два слова.

Корсаков: Минутку... (Таня медленно идет вперед).

Цитовский: Ты себе либо девчонку бери, либо бабу у Сожи. Бабища, как печь. А мне свояченицу оставь.

Корсаковв: Тебе опасно любовью заниматься. Опять погибнешь.

Цитовский Поздно думать. Я начал...

Таня: Скорей. (Корсаков к ней подходит) Ну и грубиян же вы, Корсаков, прямо за такие слова...

Корсаков: А какие слова?

Таня: А давеча мне сказали. За такие слова в морду мало...

Цитовский: Это я сказал такие слова... Я к вам прикреплен.

Таня: И вам в морду мало. Да, жаль, здесь пустыня, кавалеров...

(Укодит. Сожа выходит, Рентулич отворачивается)

Катя: Женщины, чаще всего, погибают от настойчивости.

Сожа: (Тупо) Как? А?.. Да.

Голос Павликова: Катя!

Рентулич: Кто кричит?

Катя: Мой муж, Павликов. Профессор. Чего вы на меня уставились? Я не могу спать в чай-хане.

Сожа: (Уныло и тупо) Чорт знает что такое, Мотя. Они меня разыгрывают.

Рентулич: Ясно. (Сожа медленно уходит) Они, Екатерина...

Катя: Екатерина Петровна.

Рентулич: Они, Екатерина Петровна, ребята крепкие. Ну, выпили там... закусили... пошутили. Как мужа вашего зовут?

Катя: (Вниз) Куда ты скрылся, Павликов?

(Входит Павликов)

Павликов: Провалился в шуфровую яму. Чуть ногу себе не сломал. (К Рентуличу) Вы работаете на разведках, товарищ?

Рентулич: Я—Рентулич.

Павликов: Очень рад. Так вот я вам говорю—заброшенные шуфры надо засыпать. Что шуфры пройдены по коренным породам местности.

Рентулич: Я—Рентулич...

Катя: Павликов, ты не зашибся?

Павликов: Понимаешь, я вот упал—сразу подумал о тебе. Мне давно, чорт возьми, так хорошо не было, как сегодня. Отличная жена, друг, приятель. Я наслаждаюсь твоей дружбой, Катя. Я понимаю, я болен и слаб, я не имею права требовать любви. (К Рентуличу). Для меня важно не быть в одиночестве. Мне, с моей раной,—я ранен в голову, товарищ,—мне невозможно

оставаться одному. Меня часто понимают плохо, волнуют и рана иногда начинает ныть, ныть... Мучительно ныть...

Катя: Павликов, я не могу спать в чай-хане.

Павликов: Так... так...

Рентулич: Меня зовут Рентуличем...

Павликов: Да, я слышал. Итак...

Рентулич: Меня зовут Мотей Рентуличем. Я был...

Павликов: Знаете ли, мне ваш голос знаком, но я плохо припоминаю. У меня, знаете ли, рана... И вот...

Рентулич: Я в танке, на польском...

Павликов: Как вы сказали... В танке.

Катя: Я устала. Я хочу в санаторий. Не отвлекайся по пустякам в сторону. Ты же в отпуске, Павликов?

Павликов: Мы пройдем мимо, Катя.

Катя: (Весело) Мимо, мимо... Я уже чувствую и боюсь разговоров о нефти. Я готова, я согласна итти на лыжах. Я—мимо...

Павликов: Да, да... (К Рентуличу) Я вас припомнил. Но вы тогда были значительно моложе. У вас были превосходные друзья. Вы все вместе, надеюсь. Мне бы хотелось повидать ваших друзей, Рентулич. Отличные ребята.

Рентулич: Слушаю, товарищ командир.

Павликов: Ну, какой же я командир, Рентулич. Я проезжаю мимо ваших разведок на свою работу. Завтра прекратятся обвалы и я на лыжах... А затем я уеду в Крым, отдыхать.

(Внизу: проходят Таня, Цитовский, Корсаков, Ульяна, навстречу им Сожа)

Корсаков: Послушай, Лев, твоя жена права. Какого тебе чорта копаться в этой земле и жаре, когда

есть возможность выдвинуться на спокойном месте в тресте?

Сожа: А Цитовский как думает?

Таня: (Ульяне и Цитовскому) Ульяна, мне надоели твое честолюбие и твои тайные ходы. Что ты про меня болтаешь?... Да, я и не скрываю: я сохраняю нежность к прежним возлюбленным. Что-ж, мне хочется, чтобы мной владел весь мир, я пылка...

Цитовский: Я приму все меры, Ульяна Михайловна, я уговорю Сожа уехать... Но ваша сестра, ваша сестра... Такое сердце. Послушай Сожа, ты ерунду брось.

Сожа: Да я не знаю, право не знаю... (Растерянно оглядывается).

Корсаков: (Хватается за голову) Вот поговори с таким человеком.

Цитовский: (Хохочет) Ей богу, схватился за голову, ей богу за голову... Корсаков.

Ульяна: Ну так что-ж тут такого.

Цитовский: А такое, что он, Корсаков, меня упрекает, что я употребляю слово «горизонтальный» и что это слово товарища (шопотом бормочет неразборчиво), в то время как Корсаков все время хватается за голову, а это жест товарища. (Говорит что-то на ухо. Все смеются).

Сожа: Но право же, я надеюсь на вашу общественную работу и опытность в ней. (Все не слушая Сожу проходят).

(Вверху)

Павликов: (Рентуличу) Это они, ваши друзья из танка.

Рентулич: Ну выпили, ну закутили, ну бывает, что люди трепятся.

Катя: Ему нельзя волноваться, ему нельзя вести общественную работу, Рентулич, он болен.

Павликов: Разведочный журнал вы мне можете достать, Рентулич?

Рентулич: Могу.

Катя: Никаких советов, Павликов. Я этого терпеть больше не могу. Мы проезжаем мимо.

Рентулич: Мимо. А как же я... Я опять коновалить.

Павликов: (Снимает кольцо) Ты отличный товарищ, Катя. (К Рентуличу задушевно) Когда я думаю о любви, я снимаю кольцо. Я Катину дружбу принял, отлично понимая что мне нечего ждать любви и, кроме того, Ульяна Михайловна Добродольская сказала как-то, что любовь для нас то же самое, что для наших бабушек был Вальтер Скотт...

Рентулич: А разве вы знаете Ульяну Михайловну, товарищ командир?

Павликов: Видите, ее виноградник проходят по моему...

Катя: Рентулич, подождите просить советов хоть до осени. Я хочу в Крым.

Рентулич: (Торопливо) Я начальник разведок здесь. Мне мешают выдвинуться. Здесь все ведет баба. Работы запущены. Я приведу сюда бурильных мастеров. Здесь есть нефть. Я принесу карты. Пойдемте, товарищ Павликов, к скважине. (Тащит за руку Павликова).

Павликов: Мне нельзя подходить близко к машинам и долго быть у машин. У меня начинает болеть голова. Вы, Рентулич, не начальник, но будете когда-нибудь начальником. Поучитесь... Снег еще не стал, Катя.

Катя: Я уйду на лыжах одна.

(Вбегает растрепанная Шурочка)

Шурочка: Я не буду спать всю жизнь. Где Платон? Здесь должен же быть Платон?

Павликов: Ваш Платон не может поднять ветки.

Шурочка: (Остолбенев) Как, как вы сказали?

Катя: Что ты бормочешь, Павликов?

Павликов: Я говорю, ее Платон не может поднять ветки. Я его только что видел. Я только что с ним разговаривал.

Шурочка: Неправда, вы все лжете на Платона. Вы все его хотите погубить. А я его люблю, вот вам—люблю! И он не уйдет, он будет со мной. (Голос Ульяны:—Шурочка!) Вы думаете, я кого-нибудь боюсь, я все могу сделать. Вот пойду и буду с мамой. (Уходит).

Катя: Какая же это ветка, которую не может поднять Платон?

Павликов: Итак, Рентулич, необходимо достать геологический разрез местности, шуфровый журнал... и расчеты. Хорошо бы достать табель.

Рентулич: Они отличные ребята, с ними можно сговориться и направить их на путь. Я их направлю. И вы их направите?

Павликов: Им не стоит говорить, что я здесь. Лучше промолчать про меня.

Катя: Мы остаемся?

Павликов: Пока не стает снег.

Катя: Только?

Павликов: Только.

Катя: (Вздыхает) Как тяжело быть замужем за специалистом!

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

ДОМЫСЛЫ

ДОМЫСЛЫ

1. Ко дню Мопра.

Тюрьма...
где глаза людей выжжены печалью
где во тьме тоски ревущей сердца каменеют
где железо властвует над человеком
где могучие воли и бесстрашные умы обречены на умирание
где не слышно детского лепета и смеха
где тюремщики стерегут тюрьмарей
где кисть маляра ослепляет нацарапанные по стенам стоны
где гнездятся измена и предательство
где деспоты выращивают палачей
где зарождаются и зреют преступления
где песнь страшнее плача
где льется о стены и стынет отчаяние.
Тюрьма...
где любовник не обнимает любовницу
где живые мускулы вплетены в железо и зацементированы
где преступники стыдятся малости своих проступков
где тусклые лица стерты и похожи на жестяные кружки
где злоеды пожирают хлеб
где руки работников пребывают в бездействии

где улыбка и та осторожна
где страдание замуровано в немой камень
где ночи полны дурных снов и зубовного скрежета
где никогда не бывает пусто
где царит безмолвие: в каторжных тюрьмах запада
устав запрещает заключенным разговаривать
где люди разных рас, племен и наречий одинаково
несчастны.

Тюрьма, тюрьма...
крепость тиранов
твердыня земных владык
дом задушенных рыданий
могила для живых...
Твой камень источен слезой, стены закопчены тоской
непоколебимая, как тупость, ты плывешь из века
в век до бортов груженая горем-кручиною
законники облепляют тебя, как вши: они сосут твою
кровь и гной,
тень твоя одинаково обезображивает лик царств
и республик,
ветер обходит тебя стороною, птица не вьет гнезда
на твоих башнях,
пребываешь гнусная в гнусности своей, прикры
пыльные запаутиненные глаза убийцы,
когда над миром загремят ликующие грозы и взо
вьется знамя мятежа—
на тебя, тюрьма, будет обрушен наш яростный
вой и первый сокрушающий удар.
1927.

2. Сова.

Любовная гимнастика. Палка и барабан.
Когда оба опротивели друг другу, но продолжают
вести грязную игру

когда нет бреда и ненасытного сплеска
когда все тайное стало явным и запретное законным
когда шуточка не шутится и раздражение неотступно, как уродливая тень, следует за ними
когда давно уже откочевал в прекрасное далекое табор веселых выдумок и милых шалостей
когда в минуты сопящего соития души их далеки
когда дни похожи друг на друга, как сукины сыны,
когда жизнь разнообразится только ссорами да вздорными пустяками
когда языки чернеют от ругани,
когда невыносимо чужое счастье,
когда оба сидят друг против друга, как два больных зуба
когда поцелуи являются слепой формальностью
и наслаждение уходит вниз ожиревших животов.
Отвисшая губа. Глаза заплывшие скукой,
когда оба напоминают двух обожравшихся и продолжающих сидеть за столом
когда редкая счастливая минутка бьет в темя будто камень
когда закисает каждая кровинка, а сердце задыхается и гаснет
когда любовь становится таким же обыкновенным занятием, как чаепитие,
когда втайне она радуется всякой его неудаче,
когда былая любовь вспоминается, как какое-то досадное железнодорожное недоразумение,
когда нищенское благополучие и есть желанный рай многих
когда пиршествует грубость, а прислуживают равнодушие и вялость
когда над ее завитой головкой сияет великолепное спокойствие, не омрачаемое ни единой стоющей мыслью,

когда он, полный в былое время высоких замысло
увял в тени семейного очага: ум его стал мелоч
ным, а душа ничтожной
когда он и она считают себя жертвами, в то время ка
являются по отношению друг к другу палачам
когда в супружеской постели бывает так скучно, что
пору гармонистов и песенников под кровать сажа
Огонь и искра, солнце и свет.
путешествие—крутой ветер и златоглазое солнце
окном вагона, а рядом она, как досадный пейза
от которого ни уйти, ни уехать
— Мы будем верны друг другу до гробовой доски—
широко разевая рот,—сказала она.
Он отвернулся, тощая серая слеза выползла на е
дряблую щеку,
и еще что-то говорила она: он забывал ее сло
раньше, чем эхо этих слов умирало в углах ку
Она рано улеглась спать,
на станции он вышел погулять. Сияние звезд и пр
хлада весеннего вечера немного успокоили е
— Смотри—воскликнул он вернувшись с больш
букетом роз—как они хороши!...
Она подняла с подушки заспанное лицо с печатк
кружевного узора на щеке и поглядела на блещ
щие верной красотой розы, как сова на молн
а утром почти удивилась, увидав мужа с обрывк
веревки на шее. Он сидел за столиком, заставл
ным множеством пустых бутылок, и злобно мечта
«Мужья питаются падалью, а любовники подобны
соколам—они бьют только живность на лету и с
лету». Самый необузданный разврат объял его мыс
Она принялась за варенье: до сладостей была пре-
великая охотница.
Розы ржали. 1928.

БОРИС ПАСТЕРНАК

СТИХОТВОРЕНИЯ

I.

Ледоход.

Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет,
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Закат на севере зловещем.

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых,—
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножевый,
Да сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1928.

II.

После дождя.

За окнами давка, толпится листва
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.
Сначала все опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попранным парком из ливня—под град,
Потом от сараев к террассе бревенчатой.
Теперь не надышешься крепью густой,
А то, что у тополя жилы полопались,
Так воздух садовый, как соды настой,
Рвет пробку игристою горечью тополя.
Со стекол балконных, как с бедер и спин
Иззябших купальщиц,—ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженый клин
И градинки стелются солью поваренной.
Вот луч, покатясь с паутины, залег
В крапиве, но кажется, это не надолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1928.

СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ

МУШКА

МУШКА

РАССКАЗ

1

В вас есть понимание человека, вы умеете наблюдать и правильно заметили—я действительно пресекаю в себе радость жизни. Потому что считаю, что не имею права.

Вы вот смотрите в окно, мимо вас несется дикий вид этой тайги, сосен, лиственниц, вам приятно, что вы в тепле, в просторном вагоне, и спутник у вас, хоть несколько мрачноватый, но необременительный — могу, надеюсь, себя так определить. Вы вот рассказали, что едете на интересную работу во Владивосток, а там может быть проберетесь в Японию, в Китай, посмотрите, как люди живут и страны удивительные увидите. Вам от всего этого становится бодро, радостно—и это от того, что вы полны жизнью А я человек с дуплом и вырван—знаете, как зуб вырывают. Он и не болит давно, только тихо гниет, но ему на месте оставаться нельзя, заразит соседей.

Мне на месте нельзя оставаться. Меня убедили, что я заразу несу. И самому нестерпимо среди людей, в особенности среди тех, кого знал прежде. Я, видите ли, недавно из тюрьмы, по отбытии — с сокращеньем

пятилетнего срока, без строгой изоляции и без поражены в правах. Что меня и спасло... Хоть пусть бы и ли шили. Я сам отрекся, по правде сказать, от всяки прав...

И вам я все расскажу. Я на предварительном след ствии запирался, на суде признал вину, хотя и был стыдно. Сначала шарики крутил, а под конец говори правду. Я столкнулся с самым темным и непонятны в человеке, и в этом темном умнейшие люди не могу разобраться, профессора, психологи, ученые. Я ведь при влекался по сто шестьдесят восьмой, за развращени малолетней, и по сто сорок третьей, за подстрекатель ство к убийству, по старому кодексу. Следователь хоте упереть на последнее и судебное следствие все окол этого велось, как наиболее темного пункта, и мы облегчили позор признаний среди зевак по основному обвинению. Ах, как я тогда судейскую толпу нена видел!.. Подстрекательство отпало, а тот ужасный пер вый стыд был смягчен (для меня самого) тем, чт мне грозила суровая кара по спорному обвинени А убила четырнадцатилетняя девочка, я звал ее Му кой (вот и произнести не могу без волнения); сво мать и девочку эту я любил, да любил, самым стра ным словом говоря.

Однако и откровенность нуждается в порядке.

В октябре месяце двадцать четвертого года в наше доме развелся с женой мой старый знакомый и сосл живец, тоже банковский бухгалтер, Солодовников Ива Андреевич. Он в свое время еще в Ленинграде очен странно женился на малокультурной женщине, белошей ке, много старше его—лет на пятнадцать. Это бы крепкая, костистая такая женщина с мужским почт лицом, желваки под щеками так и играют. Она бы невоздержна на язык, просто выразиться: груба и сва

лива, не хотелось бы про покойницу так... Коротконогая,—про таких говорят, что они сидя ходят,—звали ее Серафима Кронидовна. И в имени знаете есть что-то такое, как судьба. Я потом долго думал,—довелось подумать обо всем,—и вот в этом странном греческом сочетании заметил зерно будущей трагедии. Ведь имена нам не случайно даются, как и черты семейного сходства. Я себе отца ее, Кронида этого самого, представляю таким: челюсти квадратные, кожа на лице как дубленая, голос густой и может быть сипловатый. Когда такой подвыпьет, разойдется и буянить начнет, — унять некому, не справляются. Но силы душевной у подобных людей не бывает и они часто спиваются. Ну, такой и дочку родит вроде мальчика, и вырастит наполовину мужчину, и имя даст полумужское. Существо угловатое, полумужчина — полуженщина, редко находит счастье.

Чем Серафима Кронидовна привлекла своего мужа, а моего приятеля, Ваню Солодовникова, неизвестно. Раз рассказывал он что-то странное смутное... В браке многое бывает не вскрытым. Жили они неважно и до революции, и совсем плохо после революции.

Да и посудите сами, как бы удалась им хорошая, согласная жизнь? Иван Андреевич происходил из интеллигентной семьи, только отец его преждевременно умер. Образование ему довелось получить среднее и служить пришлось рано. Смолоду Иван Андреевич отличался мнительностью, боялся болезней, заразы, не пил, не курил, – редко это у нас бухгалтеров, среди нашей профессии встречаются страшные алкоголики. Имел склонность к живописи: как воскресенье—в Эрмитаж, в музей Александра Третьего. Я моложе его, но тоже люблю искусство, музыку, поэтому мы с ним не то что подружились, это много сказать, а относились с приязнью...

Так было еще когда мы в Петербурге в Волжско-Кам-ском банке служили, я—мальчишкой... Одеваться в моло-дости он любил и умел. Рассказывал, что его мать по-ощряла в нем эту черту, может быть по женской тще-славности.

— Любила,—рассказывал,—чтобы я в белых перча-ках на гимназический бал ездил, сама духами обдаст пояс поправит. И чтобы на ботинках ни пылинки брюки в складочку.

А раз, это еще тоже в Питере было, сказал:

— Мама умерла, у меня как будто жизнь оборвалась интерес ко всему угас. Полный мрак и бессмысленная тишина, от которой самому умереть хочется. Я тогда не раз думал о том, чтобы умереть, отравиться хоте-каким-нибудь тихим ядом, вроде морфия. Пожалуй и на Серафиме женился от тоски, чтобы помочь женщине загнанной и без всякой надежды на исправление судьбы А мне своя жизнь тогда ненужна и недорога была Никогда этого не делайте!

Такое отношение к себе, к своему устройству ма было непонятно. От досады этот разговор на всю жизнь запомнился. Теперь я Ивана Андреевича очень по-нимаю.

Но откровенничал он редко—малообщительный че-ловек. Настроение у него всегда колебалось, неровное раздражался, но скрывал. Но на лице, как у ребенка все увидите: и веселье, и грусть.

Потянули они с женой лямку тяжелую. Девочка у них родилась лет через пять после брака: ему было двадцать четыре года, а Кронидовне все сорок,—и одна, больше детей не было.

Иван Андреевич часто бывало командировки полу-по делам банка, на ревизии отделений,—все то в Перми то в Казани. А жена в столице одинока. Но я к не-

в те времена, в году тринадцатом, захаживал редко, свои дела были — не до чужих жен, да еще некрасивых.

Революция нас разметала. Во время войны я женился, переехал в Москву, все тревожные годы на одном месте, и так как-то мне везло, и работали мы оба с Надей, даже не голодали.

В двадцать третьем году, в январе, случайно на Петровке встречаю Ивана Андреевича.

— Ты откуда? — Да ты как? — Жив? — Жив! — радуемся оба.

— Где работаешь?—спрашивает.

— В Госбанке, конечно.

И у него оказывается есть рука, поступает в отдел внешних сношений, да только нет комнаты. Ну, комнату тогда я устроить мог, работал в правлении жилтоварищества, скомбинировали мы с десятипроцентной нормой и поселился он у нас, на Спиридоньевке.

Стало жить у нас во флигеле странное семейство: мужу тридцать семь лет, молодой еще человек, приятный, грустный, жене пятьдесят три, белошвейка, только что не прачка, дочка лет тринадцати. Отец ее страшно любил, можно сказать обожал, но бесплодно, без влияния на нее, все жаловался, что девочка учится плохо, память будто неважная. К музыке имела способности, но нанять учительницу не хватало средств. Вообще сложилось впечатление, что Наташа жила полубеспризорно, неспокойно, неровно: то неумеренные ласки со стороны отца, то бессмысленная ругань со стороны матери. Иной раз подивишься, как у нас детей воспитывают. Я вот в тюрьме, да по всяким научным институтам, где меня самого исследовали, многое повидал. И понял, как трудно к человеку, к душе человеческой подойти, и как ее изуродовать легко,— а вот исправь-ка!.. И вот той

девочки душу уродовали как по уговору, не понимал и понимать не желали.

— Серьезна она не по детски,—говорил отец. О вообще больше всего о ней думал и разговаривал.—Бо лезненно самолюбивая и упрямая. Иногда видишь, чт хочет что-нибудь сделать, чтобы прекратить ссору с ма терью и подчиниться, и не может. Вот теперь в школ не ходит, потому что платья приличного нет. А как ее спроважу, щеголиху такую,—моя же черта! Я в не и держусь за то, что понимаю. Многое в ней темно Не дитя она, замкнута, вспыльчива, матери заявляет что не боится ее и не уважает. «Ты,—говорит,—толь кричишь, бесишься, а сама безвольная как я, и ничег не можешь». Непонятная девочка. Сидит и читает а что читает, нет времени следить.

Я так полагаю, что он и не умел ни за кем после дить, от мечтательности своей. За ним всю жизнь на зирали: то мать, то Серафима, опекали, оберегали— все ему прощали, как ребенку.

При встречах я приглядывался к девочке. Удивля некоторой важностью: поздоровается, посмотрит пр стально, глаза темные, чуть дрожат, идет—бедра шев лятся как у взрослой...

Никогда я не мог сообразить, почему так бедство вали Солодовниковы? Хотя жалованье он получал пусти ковое, но жена шила, расходы тоже ведь небольшие. думаю, у него руки были дырявые, такие в каких деньг не держатся. Вскоре у него и женщина завелась,— не очень тоже молодая, но красивая, из дворянской семьи, бывшая институтка. Они, видно, прочно сошлись И странно: жена вначале как будто не обращала вни мания, а его, что ни вечер дома нет. Он у своей дво ряночки сидел, открытки в альбомах перебирал. Кроме довна верно была из тех женщин, которым без забот

о своем мужчине скучно, жизнь пустеет,—а забота и состоит в том, что пилит и читает наставления с утра до ночи. Сама мучится и другого мучит,—так мукой и живет и все сердце исходит... Развод у них произошел тяжело, со скандалом, она даже на мужа замахнулась чем-то, а может и ударила—свидетелей не было, но, как бы то ни было, разъехались; стал наш Иван Андреевич алиментным плательщиком.

Я сразу осудил его, считая, что от дочери он не мог уходить, с женой разводиться. Что я тогда знал? Так про человека мыслил, что другие говорят, с чужих слов решал. Откуда бы у меня опыт взялся: жил ровной жизнью, от получки к получке, от покупки к покупке. Надя, жена моя, хозяйственная, любящая, дом украшала не только телом, но и душой. Я чувственный человек, а при нашем сидячем труде приобретаешь любовную неутомимость. Женщин это привязывает. У себя в доме я был сам хозяин. И привык к этому подчинению, считал, что так должно быть, и в семейной своей жизни не терпел возражений, словом—жил так, что другие завидовали. Обстановку мы сохранили от мирного времени приличную, некоторые вещи даже ценные. Конечно, казалось мне, никогда я с женой не разойдусь, а если изменяю иногда,—большое дело! Женщина не уважает того мужчину, который другим не нравится.

2

Но я посторонним читать мораль и тогда воздерживался, и даже помог Ивану Андреевичу в деле развода. Он менялся комнатами, и вышло так, что Серафима Кронидовна с дочкой незадолго до Рождества переехала в нашу квартиру. Заняли они комнату около самой кухни, одна стена к ванной. Квартира наша, общая еще с двумя семьями, плохо содержалась, за исключением

только той жилплощади, которая принадлежала нам. Моя Надежда Степановна сама натирала полы, выбивала ковры, чинила обивку на мебели, и уж нигде ни пылинки

Девочка стала к нам заходить.

— Как во дворце у вас прекрасно, отдыхаешь. Я детство хорошо помню: у нас так же было на Васильевском острове.

Ей обыкновенная, мелкобуржуазная обстановка дворцом казалась и трогало это меня, трогает страдание такое. Она пыталась помогать Наде, но больше хвалила вкус, восхищалась золотистыми абажурами и занавесками. В ней проявлялись некоторые странности, иногда даже недобрые, а меня они привлекали. Встретит кого-нибудь из знакомых и рассказывает сама, что едва удерживается от того, чтобы не наговорить чего-нибудь плохого, обругать.

— Господи, вот удивится то: за что я ее? А хочется, не знаю почему. Верно потому, что уж очень она слабохарактерная, не люблю слабых.

У нее и галлюцинации бывали. Раз пришла бледная, как сейчас помню—на Николин день это было, утром рассказала:

— Вошла в ванну, слышу слова: «Не смей этого делать, уходи!» Громко, громко, внутри, в оба уха. Много, много слов, и очень скоро. Так что и не запомнила ничего. А зашла я руки помыть. Я так испугалась, убежала к вам. Лет семи так же слышалось, будто в ушах слова кто выкрикивает.

Значит у девочки отметинка есть. Я замечал в себе праздное утомление от обычности кругом, как будто много пресного теста наелся. Стала меня эта острота волновать.

Наташа иногда куда-то уходила из дому, никто не знал куда. С матерью у них происходили часто пере-

бранки, та подозревала, что дочь бегает к отцу на Пятницкую, сдружается с мачехой.

Дочь нам признавалась:

— Как она не понимает, что я из справедливости с ней осталась. Ведь она пострадала от развода. Мало во мне разбирается и грубит.

Впрочем почему она осталась с матерью, я не совсем понимал. Кажется отец ее не взял, жена новая не хотела.

Я ее спросил:

— А где-ж ты, Мушка (я ее звал Мушкой, как все родственники, и на «ты» звал) по вечерам пропадаешь?

— Гуляю. К Храму Христа Спасителя хожу.

Но так засмеялась, что мне показалось что-то порочное в смехе. И знаете – пробрало.

Я однажды предложил ей заниматься по русски, по арифметике. Кропидовна меня поблагодарила, она вообще поощряла сначала дружбу дочери с нашим семейством, что по ее мнению отвлекало от отца.

Начались наши вечерние занятия. Признаюсь, не легкое дело оказалось. Она была рассеянна и невнимательна, мысли у нее не то чтобы тупы, но расплывчаты. Объяснишь ей что-нибудь,—говорит, что не понимает, а из самого вопроса видно, что поняла. На трудный вопрос ответит хорошо, на легкий—глупость. Почерк плохой, невыработанный, с наклоном в разные стороны на полстранице писания, знаков препинания не знала. В тетрадке разные наброски изречений, вроде: «Счастье—идеальная любовь. Что лучше—быть любимой или самой любить? Я бы сказала,—лучше самой любить». Или среди отдельных букв словечки: «Волюшончик. Каплюшончик». Она и стихи писала, только не показывала, рвала. Там же рисунки — странные, болезненные: человеческое лицо, но со звериными ушами, профиль с уродливым носом,

на котором сидит паук. Жаловалась, что слов не хва-
тает, нужные не подвертываются:

— Слов нет! Иногда и хочется объяснить, да тож
не могу, не выходит ничего.

— Почему?—спросишь.

— Ну как почему? Вот я и говорю, слов нет.

И тут же что-нибудь скажет, таким ярким выра-
жением определит, просто чудо. Еще забыл сказать
окончательно бросила она школу из-за завтрака: това-
рищи смеялись над ней, дразнили, что ходила без за-
втрака. А она натерпелась за революцию бедности и
очень болезненно воспринимала. Ушла, а вернуться ещ
стыднее. Так и бросила. Ну, это мне близко, я сам и
бедных... Да дело может и не в бедности, не в одной
бедности. Вон американскому бухгалтеру без пяти ко-
стюмов жить не втерпеж, а у мевя коли есть штаны
без заплат, так я и франт. Но ведь в чем дело? На штаны
я всегда заработаю, и во время революции в хлеб
себе тоже ни разу не отказывал. Дело в том, что я всю
революцию чувствую: нет мне движенья вперед! Вы об
посмотрели, какие дела я во время германской войны
воротил: поставки, кредиты, гарантии, все тогда от меня
зависело, в нашем банке я участь многих акций реша-
ну и конечно пользовался. Лез, можно сказать, в гору.
Революция, надо правду сказать, крылья мне обрезала.
Работал я все время добросовестно,— ну как добросо-
вестно, по советски! От такой работы фантазия разви-
вается. Если тебе роста вверх нет, ты по низу начи-
наешь стлаться. А сами знаете, что у человека внизу

За годы моего несчастья я научился бесстрашно
смотреть в лицо жизни, да не велика эта заслуга: жизнью
обстоятельствами все можно оправдать. Я понимаю, что
совершая преступления, я какой-то закон природы вы-
полнил. Вот у меня детей не было, ни от жены, ни о

любовниц. Природа может хочет прикончить ту родовую линию, из которой вышел я. И та же природа закрепляет волю, заставляет меня влюбиться, полюбить, загореться всей страстью—к кому же?—к девчонке, к недомерку, существу ненормальному. Она совершила злодейство и покинула мир здоровых людей, а та же благодетельница природа наградила ее чертами привлекательными для меня, да для меня.

Есть такая примета, что каждые семь лет вкус человека меняется. К женскому вопросу я всегда относился легко, в жизни не было у меня ни одного осложнения: никогда ни одной бабе не дал я ни одного необдуманного обещания, наоборот всегда предупреждал, что с меня взятки гладки, любовь не преувеличивал, замужеством не соблазнял. И женщины легко давались, но тоже пожалуй несерьезно, расставались без слез и дружбу сохраняли. Иной раз даже подосадуешь, до чего все без сучка и задоринки. Конечно от таких отношений родится поверхностное легкомыслие, ненасытность, даже леность. Я обычно даже о месте свиданий не заботился, всегда находилась какая-нибудь подруга, которая уступала комнату, или что-нибудь в этом роде. Ни копейки ни одна связь мне не стоила, истинно без проторей и убытков. Да потом судьба отыгралась за все. Был я у нее балованный ребенок, и все перевернулось.

За тридцать лет перевалило, стал я замечать перемену вкусов. Раньше привлекали бабы веселые, распущенные,—каждая сама может сказать: «Ну, тушите свет, не могу первый раз при свете!» А вот за тридцать,—молодость стала тянуть, на тонкие ноженки заглядываюсь. Но, надо сказать, позывы эти были не сильны как привкус. Если я воображал такую девченку в объятьях, в близости со мной,—делалось как-то неприятно, неопрятно,—вот как пожалуй. Я привык перед собой

не лукавить, этим вещам в лоб, вплотную смотреть. У нас много пишут по половому вопросу, а правду, настоящую правду разве что в похабном анекдоте услышишь, да приятель спьяну признается,—вот и весь чужой опыт, тебе переданный.

3

Тут я должен повиниться, я налгал на следствии в ужасе за Наташин поступок, в страхе за себя, похабно по мужски налгал. Но об этом после...

На Рождество жена уехала к матери в Харьков. И вот тогда-то, когда наши уроки протекали наедине, я почувствовал к ней влечение. С такой силой это было, пожалуй, в первый раз в моей жизни. Это походило на ожог, как будто даже действительно температура повышалась. Лежишь один в постели, мечешься, мечтаешь, и именно то, что эти мечтания были опасны и преступны, и привлекало. Это я конечно теперь все в таких зловещих, мрачных красках описываю. В ту пору, когда я загораться начал, все вокруг меня заиграло, зажило, и в центре всего—она. Да это уже много раз живописали!

Сравнялось Наташе в ту зиму четырнадцать лет. Но она почти сложилась в женщину, в барышню, и прямо блестела свежестью, которая даже сквозь коросту и грязь в уличной девченке ослепляет... Не долговязая, как часто девочки в ее возрасте, скорее приземистая и довольно полная, крутая. Она была в движениях легкая, сильная, как пружинка. Круглое детское лицо — только носик острый—неправильное в сущности, но обворожительное, губы румяные, полные, вызывающие. Да дело не в наружности, а в тоне личности: было в ней такое, что влекло, заставляло подозревать,—знаете как это

важно,—подозревать женщину... Меня она поражала противоречиями: ребенок, маленькая девочка, ленивая, бездельница, и взрослая кокетливая дама в одно и то же время,—упорная, прозорливая,— и откуда в ней бралось? И нервность и раздражительность приближали ее к взрослой женщине, и интонации такие, в нос... Она и дружила с солидными: с женой моей Надеждой Степановной, например, рассудительным, уравновешенным человеком, не имеющим склонности терять время на пустую болтовню. И часто они находили о чем говорить по целым часам. Иногда она тосковала, слова не вытянешь, замыкалась, как отец. Совершенно малограмотная, таблицы умножения, четырех правил арифметики не знала и без всякого интереса: не желала их постигать, а в то же время читала серьезные романы и тонко выражала самые смутные свои переживания,—не каждый человек с высшим образованием так сумеет высказаться. Раз как-то она меня в самую глубину души уколола.

— Бывает с вами так, Лев Васильевич,—вот зайдете куда-нибудь, или в квартиру войдете, или просто сидишь у окна и кажется: где-то, когда-то все это было... И в ушах звенит, и начала этому звону нет, может быть он где-нибудь в небе начался... Так странно... Я люблю все таинственное. Хотела вас попросить объяснить, что это такое, а потом думаю—лучше не стоит. Да вы и не объясните.

Сказала высокомерно, как истая женщина. А у меня сердце забилось. Сидит, молчит, и я молчу. Руки беспомощно брошены на стол, поза какая-то неудобная, и чувствуется, что она не переменит ее хоть полдня. А во мне все смешалось и в крови зашумело, как шумит у мужчины, когда он чувствует позыв и победу. И дрожь, и страх пробирает,—ведь девочка же, четырнадцать лет!

И черты зрелости я в ней пытался отыскать, даже не очень ими обольщаясь,—для оправдания, для собственного оправдания искал.

Но ведь представьте такую картину: вечер, тишина, действительно зазвонили где-то, может у Большого Вознесения, где Пушкин венчался, и так ждешь самого большого и тайного наслаждения, которого никогда не находишь, а кажется вот в этой свежей, в ее стоне-найдешь. Я уж руки поднял обнять, в это время слыш стук в дверь, крик:

— Наталья! — закричала (очень грубо) мать из-за двери.—Наталья, иди сейчас домой в комнату! Сидиш целый вечер.

Девочка скорбно на меня взглянула и вышла, ни слова...

Я потом в ванную прокрался и послушал, сцен обычная: мать ругалась, дочь больше отмалчивалась. Этот грубый монотонный голос и сейчас у меня в уша слышится:

— Бездельничаешь, ленишься, матери не щадишь Дома не бываешь вовсе. То на улицу, то за книжками то к отцу. С мачехой сошлась от живой матери, боль ше матери шлюху обожаешь. Конечно, куда нам за шляпками, за туалетами!.. Голосок тихий, льстивый, глаз яд. Ничего не делает, за ноготками ухаживает. Отц проняла—понимаю, кобель. А что тебе? Ты должна за мать, которую обидели, держаться.

Старуха чем-то гремит, набирается злобы. И то вероятно молчать нестерпимо, кричит:

— Не смей ругаться! Лишь бы папочка счастли И меня перестань ревновать ко всем. Ты говоришь не правду, она не бездельница, она в банке работает.

— Знаем мы эту работу: хвостом вертеть. За нее небось, все твой отец делает. А я по ночам все глаз

исслезила, спину не могу разогнуть, шью, по дому толкусь. Такая как ты разве поймет! Для тебя стараюсь.

Эти разговоры мы постоянно слыхали. В сущности Серафима Кронидовна была старуха ленивая, беспорядочная, бесхозяйственная. Про шитье тоже больше благовестила, потому что действительно не позволяло зрение. Наташа не однажды жаловалась на эти попреки. Но в тот раз, когда я подслушивал в ванной, к обычным рассуждениям прибавилось нечто новое: это обо мне. Старуха грубиянила и не ведала, что доставляет мне настоящую радость.

— Ты вон куда гнешь, подбираешься к женатому мужчине! Разве не видно: жена в Харькове, так арифметика припала! Как змея к нему подбираешься, с ней тоже дружбу ведешь, неблагодарная! Должна понимать, не маленькая, грудь—хоть в кормилицы иди.

Дочь ничего не ответила. Молчание. И я себя слушаю. И в ванной нашей, темной, с угольной лампочкой, сырой, противной,—такая радость охватила, едва подавил крик. Ведь если матери заметно пристрастие дочери ко мне, значит на самом деле может быть. Значит она считает свою девочку достаточно взрослой. Даже щеки закололо. Мы с женой издевались над смешной Серафиминой ревностью. Но ведь речь шла о том, как смешно мать ревнует дочь к отцу, к мачехе. По существу же никто не сомневался, что ревновать она имела основание. У нее собачье чутье было на этот счет.

Наташа наконец сказала матери сквозь слезы (она редко плакала):

— Как тебе не стыдно! Я у них бываю правда часто, но не за тем, за чем ты думаешь. От твоей грубости, от нашего безобразия бегу. Хоть на чужих посмотреть,—не по-свински живут.

У меня горло сжалось. Жалость охватила: в этой полусонной, ленивой, не очень на первый взгляд умной девочке,—почувствовал—страдает человек, и человек мне этот дорог, по́-милу хорош. Такая отзывчивость, как всякое похвальное и тонкое чувство, всегда возвышает тебя в собственных же глазах, и тот человек еще дорожает делается именно оттого, что дал тебе это чувство. Как любовь. С этого момента все смутное, темное, что питал я к девочке, просветлело, расширилось, возвысилось, от покушения поцеловать ее и получить новенькое наслаждение я перешел к чему-то другому.

Тут следует сказать, что я все же был осужден судом за совершенно определенные поступки. От них я отрекаюсь—развращение малолетней, так это называется—я в этом виновен и не для извинения перед незнакомым человеком все это рассказываю, а для того, чтобы показать, как природа услужливо подходит к неустойчивому человеку. Ну, не нравилась бы эта Мушка мне, все бы ее мученья мимо сознания проскочили. А тут окрасилось все в благороднейшую страсть помочь взять всю душу ее, со всеми мукама, тяготами на руки и протащить через всю жизнь. Ведь это и есть любовь.

4

Вечером я собрался спать, тихий стук как будто в сердце отдался,—постучали в дверь,—я себе не поверил.

— Кто там? Войдите.

Она, я знал—она войдет.

— Мать заказ понесла, звала меня с собой. Я устала так устала что-то сегодня, отказалась. А сейчас в комнате одной страшно сделалось, никого ведь во всей квартире нет, сочельник сегодня. Окна черные, отсю-

чивает от них, словно кто-то мигает... Можно у вас посидеть?

Ну, конечно можно, еще спрашивает. Бледная, пальцы как лед. Весь тот день с разговорами, с подслушиваньем я провел в тревоге, воображение распалилось, даже в гости никуда не тянуло, вероятно предчувствовал. А она села на диван, поджала ножки, говорит:

— Расскажите, Лев Васильевич, что нибудь веселое, чтобы не так тоскливо было. Вы себе такую жизнь создали, от вас хорошего ждешь. У меня на душе сегодня, как осенью утром: приходишь в сад,—грустно, листья шуршат под ногами, пахнет сыростью. Смотришь под ноги и видишь много разноцветных листьев, в них так много оттенков: есть бледно-розовые, темно-красные и зеленые, и случается—на одном листе почти все краски, и думаешь, что осень совсем не так уж плохая. Приятно итти по дорожке, наступать на шуршащие листья и смотреть, как в небе плывут тучи...

Словно бредила, а смотрела на ковер и, не сознавая, описывала, — он таких же блеклых тонов. Но откуда у нее бралась эта красота и тонкость ощущений? Если это болезнь, то можно такой болезни только позавидовать.

Когда я сел с ней рядом на диван и обнял, она не вздрогнула, не отодвинулась, лишь взглянула потемневшими глазами на меня в упор, мне показался, а может после стал мерещиться—ужас в них, подавленный ужас, глаза закрылись. Я поцеловал ее.

Вот тут-то я и должен повиниться, помните, я вам раньше об этом сказал. На предварительном следствии и на суде я утверждал, что она проявила инициативу и подтолкнула меня, а со своей повышенной чувственностью я не совладал. И еще утверждал, что она выражала желание стать проституткой. Все это ложь. И

в этой лжи я был пойман тогда же на суде, этой ложь
я и себя не спас, и ее потерял. В самом деле: начн
на меня наседать такая девченка, я бы от нее сра
отшатнулся. Нет, не в Наташином характере это был
в моем гнусном воображении. Ее вел ко мне инстинк
нужен был сильный человек, его поддержка, ласка, н
жен был покровитель, хотелось вздохнуть от бедност
убожества. Я же, как всякий мужчина, сознательн
опутывал ее, когда надо вздыхал, когда привирал, кажд
слово взвешивал. Да весы оказались неверные.

В тот сочельник мы только целовались. Она да
воротника расстегнуть не позволила, а едва я нач
слишком смело ее тискать, вырвалась к двери, тряхну
головой, сказала:

— Ну—теперь я и одна сидеть не боюсь.

И выбежала. А у меня такое ощущение, как в де
стве, когда леденец изо рта выпадет... На щеках ш
шавое ее платьице. И запах. Ни от одной взросл
женщины этого аромата нет — от волос, от кожи
запах вянущей травы, пыли, солнца, по траве ст
прошло.

По комнате метался, желание до злобы, до тос
пробирало.

По отношению к взрослой женщине не вступае
в такие противоречия, какие надвинулись на меня. Ин
раз в самый неподходящий момент на службе охват
вала ознобом мысль о ней, или жаром жалости, заб
вот бы сделать ей что-нибудь приятное, порадовать. Б
ные люди говорят, что они ко всякой женщине э
чувствуют, стоит только влюбиться. А я вот жену с
своему любил, но никогда не мечтал о каких-то особ
для нее удовольствиях. Я считал, что мы существу
так сказать на паях, пусть довольствуется своей дол
Тем более, что жили ведь зажиточно, хорошо.

Иногда мне казалось, что все происходит оттого, что нет у меня дочери, которой я мог бы отдать всю нежность, как отец. Между прочим и другим стала заметна моя перемена. Все нашли, что я подобрел—наши счетоводы, мои подчиненные. Только Иван Андреевич, встретив меня в коридоре, спросил:

— Давно мы с вами не видались. Не имеете ли вы против меня чего-нибудь? Вы так хорошо к моей Мушке относитесь... Если я чем нибудь раздосадовал, скажите лучше.

Я отговорился. Он вероятно отнес свои слова за счет мнительности, быть может лишь впоследствии понял, как глубоко заглянул. Я действительно почувствовал к нему неприязнь. Он стал казаться мне слащавым, фальшивым,—у меня есть тенор знакомый из тифлисской оперы, голос потерял, а все какая-то сладость. А в помыслах его дочери жил нивесть какой красоты так сказать идеальный образ Ивана Андреевича (так мне думалось) и никогда конечно,—завидовал я,—не занять мне в ее воображении места отца. Даже сравнить его с кем-нибудь ей в голову не приходило, куда там... Но после несчастья стало по другому, ну об этом потом... Дочь постоянно о нем беспокоилась, только помяни его имя, начнет разливаться. Я признаюсь пользовался этим, когда ходы к ней искал: знал, как ее размягчить. Мне же больше доставалось сухого кокетства. В комнату забежит, но едва к ней приблизишься, поцелуешь, вырвется, найдет предлог, уйдет. У себя, слышно, напевает.

Так меня с неделю мотала и я входил во вкус этой игры, в которой все же был сильнее, и сравнить нельзя: побеждал-то ведь я в окончательном счете, только время, время бежало, а тут каждого часа жалко. Моя девочка переживала в первый раз то, что я давным-давно

получил от жизни, у меня вчуже за нее голова кружилась
я в ее положение входил,—очень страшно, и радости
большая видеть чужую душу, проникать в нее, сде-
пляться с ней. Я как бы учился, как бы переэкзаме-
новку сдавал по молодости—предмету изрядно забытому
Новый аппетит ко всему явился, жадность, и с каждым
днем я для самого себя интереснее становился.

От первого испуга в ней осталось очень мало, креп
на глазах. Раза два мне даже в рот засмеялась, и
далась поцеловать в темном коридоре. И жестоко та
Ценила себя. Но с самоуверенного тона ее сбить ничем
не стоило, она легко жалобилась и тогда станет груст
ная, нежная, несмелая. Обнимешь ее за плечи, сиди
тихо, голову склонит, молчит. Спросишь: «Хорошо?»
Кивнет головой. К поцелуям и ласкам ее гнало любо
пытство, сама и на суде призналась: любопытство. На
слаждения я в ней не пробудил. Ласкать посмелее тверд
не позволяла.

— Вы не любите меня, Лев Васильевич, если т
хотите поступить.

Вечером все же прибегала, когда мать уходила ра
рано засыпала. Меня каждая проволочка, каждый поте
рянный вечер мучил, раздражал, злил. От бессил
накапливалась настоящая злоба на девочку, та злоб
без которой на нее и не посягнешь. Тут ведь многое в се
надо победить и главное—робкую нежность. Мушка каз
лась мне и хрупкой, и непонятной, и подходов к ней я н
видел,—словом весь на этой точке застыл. Все помысл
все сны,—все о ней, да о ней. И злоба... Верно Муш
почуяла, стала слишком легко вырываться. Главн
стыд сковывает тебе язык. Взрослой партнерше мож
сказать все, что в голову взбредет, с такой девочкой,—п
она невинно, или недоуменно взглянет, — со сты
сгоришь. И спугнуть можно. Рвала она мои сети сил

своей молодости, а у меня стала подозрительность появляться, сделался мнителен. Каждое ее слово хотелось иначе истолковать. Раз она сказала:

— Как зима тянется, весны хочется, солнышка, цветов. И праздники скучные, без конца. Дома никого нет. Хоть бы тетя Надя возвращалась.

Кольнуло,—это она Надежду Степановну ждет, сама не чает, как со мной распутаться. Подумайте, какая обидчивость обуяла!

На службе о ней думаю, подходы изобретаю, как ее привязать, подчинить, чтобы не вырывалась, не пугалась, верила, главное верила. Раньше думал,—врут, мол, люди, когда говорят, что в каждом человеке несколько разных душ сидит. А тут я в себе эту борьбу слышал Я весь наполнялся теплотою, и знаете в самое неподходящее время вспоминал Мушку,— на счетах щелкаешь и вдруг руки замрут от желания взять, унести ее куда-то. И тут же, в другом углу мозга планируешь, как бы ее обмануть, задержать в комнате подольше, добиться... В страсть мою вмешивалось ожесточение. Но это Рождество я верно никогда не забуду.

Останемся вдвоем, спрашиваю—какой мой жест доставляет удовольствие? Ощупью, в буквальном смысле, подбираюсь. Отвечает: «Не знаю». Или: «Когда вы спокойны». Значит надо брать исподволь,—нахрапом грубостью не годится.

Я стал ее забирать в руки, и чем же? Уроками, арифметикой, грамматикой. Строго выговаривал ей, если она отлынивала, или не подготовляла заданного, а по лености она часто не готовилась, в особенности избегала письменных работ, почерка своего стеснялась. С началом наших поцелуев она совсем забросила списывание, задачки. Нет, думаю,—шалишь! И строгость моя подействовала: неестественность положения ученицы и почти

любовницы сбивала с толку. Я прекрасно вижу,—строго-
стями чуть не до слез довожу, и однажды придрался
к чему-то и оффициально заявил:

— Я вынужден буду довести до сведения Серафимы
Кронидовны, что заниматься, при таком отношении
к делу с вашей стороны, абсолютно бесполезно.

Побледнела, умоляет:

— Не надо, не говорите ей ничего, так неприятно.

Чувствую—подчиняю. Ключ нашел. И она сломилась,
сделалась податливее, я принялся любовь как синтаксис
объяснять,—слушает, спрашивать стесняется, краснеет,
глаза опущены.

Обнаружил я еще странную вещь: прикосновения
смущают и пугают, а обнажаться она не стыдится. Все
по-детски. Только размышляет, как взрослая. Но время
идет и время работает на меня. Она уже находила вкус
в поцелуях, самый страх перед новыми открытиями
в любви делался привлекателен. Кроме того, страх этот
подавляется: ведь есть учитель, есть глава, он все объ-
няет, за все отвечает. Она вверялась мне. Всякой жен-
щине важно не отвечать за свой поступок.

Иногда Мушка задавала такие вопросы:

— Правда я не развратная? Мама говорит, что я
в проститутки угожу.

Я смеюсь, успокаиваю, а самому почему-то плакать
хочется.

Представление обо всем она имела от подруг само
смехотворное, призналась, что только недавно узнала,
что дети бывают не от поцелуя. Странно ее воспитывали.

Разговоры с ней иногда выходили поучительные.
Обычный ее вопрос:

— А у вас так бывает?

И расскажет про себя что-нибудь необыкновенно
тонкое, после чего сознаться, что с тобой ничего

подобного не случается, стыдно. Она все время примеряла свою душевную жизнь к какому-то фасону, по которому должны все жить, ей не хотелось выделяться. Для того, чтобы рассказывать, ей приходилось иногда преодолевать мучительный стыд. Стыдлива и деликатна была на редкость, когда разговаривала со мной, или с кем-нибудь из посторонних. Только мать, самый близкий ей человек, вызывала ее на откровенную грубость. Отец, по натуре чистоплюй, воспитывал из дочери какую-то финтифлюшку, прямо институтку. Вот уж чутья у человека нету! Все некрасивое ее подавляло. Она как-то заметила:

— Покажется какое-нибудь слово некрасивым, и я не могу его сказать. Подождите: «Пышка», рассказ Мопасана, раз читаю. Спрашивают—что? Не могу произнести, могла только показать. Вот и сейчас я насилу заставила себя сказать.

Жаловалась она на мать, я посочувствовал:

— Несчастная ты, Мушка!

Она обиделась, почти закричала:

— Я не несчастная!

А потом оказалось, что она не любит самое слово, а с понятием согласна и к себе применяет. Я про такие души только в книжках читал и книжкам не верил.

Под Новый год Мушка собралась тайком к отцу, страшно радовалась, предвкушала, что будет весело—ей редко выпадало это—спросила:

— А вы как будете встречать?

Мне послышалось торжество: останется один, некуда пойти. Я вероятно увлекся чтением в сердцах, может ей и в мысль не входило торжествовать.

Сослуживцы приглашали в ресторан, решили мы тряхнуть стариной, одеться получше, встретить Новый год с шампанским. Похвастался перед Мушкой, она огорчилась немного:

— Никогда не бывала в ресторане! А как бы хотелось...

Но тут же начала стыдить себя, что ради суеты готова забыть папочку, который готовился встретить вместе. Перед уходом забежала, якобы посмотреться в зеркало. И вдруг сама обняла меня, спросила:

— Вы на меня не сердитесь?

— За что?

— За то, что я не предложила остаться вдвоем и вдвоем встретить.

Я подумал: «Моя!»

На встрече произошел со мной странный скандал. В хозяйственном отделе банка служил бывший офицер некто Курилка, из тех, что до конца жизни не могут забыть, что были на войне,—носят галифе, скучают по шпорам. Я, помню, возражал против него, но остальная компания приняла. Подвыпили. Мы сидели рядом за столом и, сами понимаете, разговор между мужчинами мужской, благо дам на нашей стороне не было. Курилка рассказал, как он был где-то в Польше в небольшом городке комендатом станции и сошелся с дочерью старшего телеграфиста, тринадцатилетней дурочкой, давно лишенной невинности.

— По моему она уже проституткой была. Но только я ее до сих пор помню, ощущение от нее помню: бархатный легкий живот.

Едва он это произнес и гнусно так усмехнулся, усы развел,—я сразу в бешенство пришел, ослеп, как будто кислотой в глаза плеснули, назвал его мерзавцем. Подрались, насилу растащили. Приехал домой не помня как, но довольно рано. Тот Новый год, если помните, очень шумно встречали, в нескольких ресторанах стрельба была. Нас мирили, приятели просили извиниться, я отказался. И до сих пор этого Курилку ненавижу. Благоденствует.

5

Жена из Харькова писала, очень соскучилась, справлялась о Наташе, как учится, как развлекается, приписку сделала. Та прочитала, сказала:

— Мне иногда кажется, я Надежду Степановну больше чем вас люблю. И стыдно мне перед ней, не знаю, как в глаза взглянуть.

Это признание, хоть сделанное и вскользь, меня — по старому отношению к женщинам — даже испугало.

— А ты меня любишь, Мушка?

— Люблю, я ведь не кокетка.

Так она призналась мне. Но легче от этого не стало. Тревожные встречи, бешеные поцелуи не удовлетворяли. Дальше не шло. Ее гяготила комната, в которой я жил, в которой было все полно духом жены. С некоторых пор, приходя ко мне, она непременно просила отвернуть к стене большую, окантованную фотографию Нади. Все так противоречиво, мучительно складывалось. Я потерял волю. Меня уже несло желанием: это знаете как с горы летишь, сердце сжимается, кричать хочется, хорошо сказано—сам не свой. И от событий, которые надвигаются, которые вызвал и не в силах остановить, ждешь чего-то необыкновенного, одержимость какая-то.

Перед Крещением пришла телеграмма: жена выезжает седьмого. Принесли ее при Мушке. Спросила: «Возвращается?» И тут же:

— Не могу заниматься, простите, голова заболела.

Ушла, даже задачник не захватила. И я наедине с этим задачником остался, и все передо мной как сплошная задача. У меня не выработалось привычки устраивать свидания, все это предусматривать, да еще с девочкой, каждый встречный увидит—ребенок. Все, что

я цлел с таким трудом, всю мою паутину клочком б
мажки порвало.

А она пришла ночью, смело, не таясь, в одном н
латике. И отдалась. И все это с таким задором сделал
Лежит бледная, вздрагивает и говорит:

— Вот тебе и вышла замуж!

6

— Здорово сказанула, правда? Ведь только подрост
мечтают по настоящему о замужестве. Им нужен к
кровитель, защитник, без него боязно выйти в жизн
С возрастом, заметьте, девушки начинают фордыбачи
и мечтать о свободе. И любовь для них часто не с
вмещается с браком, и гордость не мирится с ним.

Приехала жена, я ей обрадовался, с ней явил
в дом спокойствие, уверенность, порядок. Она охлади
мою горячку, она и служба вернули мне день, расп
рядок дня. Утром, как солнце, всходил наш чайн
день гремел счетами, а к вечерку, как туман, подымал
пар от супа. Праздники, Рождество, сбили было с толк

Мушка бросилась Наде на шею, я даже подивил
и дурная мысль шевельнулась: лицемерит девчен
Впрочем, я этим вещам особого значения постарал
не придавать: установилась, мол, как пишут в книг
адюльтерная ситуация,—эка невидаль! Но посмотри
на жену, круглые ее локти над столом летают, и засты
нешь: неужто это я, тридцатитрехлетний человек,
дурак, не слюнтяй, не поборол себя и стал преступ
ком. Преступником... Всегда казалось, что это особ
состояние—преступление, даже и в крови должно что-
измениться. По бухгалтерским страхам, как я боял
казенных денег, карт, всяких подходов со стороны к
сиров или хозотдела! Ан вот преступление-то явил

с неожиданной стороны. Но все это лишь мелькало в мыслях, испарялось, я успокаивался.

С Мушкой мы встречаться не могли, может быть оба бессознательно избегали. Первое время я был сыт женой, Мушка мучилась заметно, мне и того для тщеславия хватало, а дальнейшего даже побаивался, кроме того особых чудес не почувствовал... И тогда показалось мне, что победил себя—даже без особой возни.

Но Надя и Мушка не расставались целыми днями, жену даже утомляло. Девочка сделалась странно откровенной, как никогда. Жена многое передавала. Та жаловалась: с матерью тяжело, но и отец стал иным казаться, более слабохарактерным, назойливым, пристает с расспросами, а она расспросов не любит. Жена заметила:

— Ее лучше не спрашивать, а наводить на разговор. У нее слово за слово цепляется и, если не прерывать, так все и выльется.

Способ оказался верным. Мушка решилась рассказать Наде про то, что для всякой девочки самое стыдное. Когда в первый раз к ней явились женские дела, было так мучительно совестно, что, хотя она знала об этом от матери, ей казалось лучше умереть, чем признаться. Она рукава ночной сорочки изорвала на бинты, а на другой день печку затопила, решила без матери все выстирать. Та пришла, сказала, что сама выстирает и по обыкновению ругалась целый день до того нудно и длинно, что девочка сразу заснула как убитая, проспала очень долго. И всегда ее тоска охватывает перед приближением...

Снова круг мой сужался. Я жил только разговорами о ней, ее интересами, как-то и не выходило иначе, поскольку и жена к ней привязалась, тоже все свободное время уделяла. Мы втроем, словно сговорились,

играли с огнем, как будто не замечали, молчком, пере-
глядывались...

Иногда Мушка каялась: безвольная, ленивая, н
учится. Тогда принималась за шитье. Но хватало не на
долго, опять сидела за романами. Приходила, просил
Надю спеть что-нибудь, музыку она понимала и чувство-
вала, и смотришь — на глазенках слезы. Как-то у мен
вырвалось, что люблю чувствительных к музыке женщин

Стремление все порвать во мне крепло. Я верил
что обстоятельства мне покровительствуют. Теперь,-
думал я, — не пойман, не вор. Утешался, подавля
Уроки прекратил. Вообще играл отбой, довольствовался
семейным очагом. Жалобы девочки я слушал безуча-
стно, теперь я в ней замечал душевную медленность
однообразие,—что попадало ей в душу, не скоро выта-
кивалось, как обычно подобает молодости. Был однажд
такой случай: попала ей книжка «Сад пыток» Мирбо
Читала она ее с ужасом и оторваться не могла, нек
торые страницы выдирала и рвала на мелкие клочк
Потом дочитала, случилась истерика. Всю эту истори
рассказала Кронидовна, она заходила попросить Над
уладить недоразумение с библиотекой: книжку-то де-
ченка погубила. Просила старуха также руководить чт-
нием дочери, хотя считала книжки пустым занятие
После этого Мушка не выносила самого имени Мирб
бледнела, — согласитесь, это странно. Восприимчивост
ее была открыта на печальные впечатления.

И однажды Мушка сунула мне записку. В ней бы
что вот-де я ее презираю, она это заслуживает ужасны
поведением, но что ее надо пощадить. Меня эта запис
как хлыстом огрела. Я понял, что действительно пр
чиняю страдание существу, которое этого не заслужил
и уж во всяком случае не мне наказывать. Кроме тог
не следовало доводить девочку до раздражения, столкн

вения,—её раздражительность и безудержность я тогда чувствовал. Ее покорность трогала меня. И захотелось с ней встретиться, конечно, наедине, на свободе. Когда не надо, так удачные случаи подвертываются. А мысли какие оправдательные!

На мое несчастье приятеля одного послали инструктировать провинцию месяца на два, комната свободная осталась, в бывшей гостинице, общежитие наркомата. Он передал по моей просьбе ключ мне.

Но туда надо было еще зазвать Мушку, которая к гостиницам чувствовала страх и брезгливость, — за гражданскую войну и скитания их навидалась... Я назначил ей свидание на Пречистенском бульваре, вечером. Ведь не забывайте, — я-то все время помнил, — пойти мне с ней открыто было опасно: всякий мог обратить внимание. Одно дело с дамой идешь, другое— с подростком. И самому мнится все: нервы расходились. А в гостинице... Мало ли какие препятствия. Ну, это все уладилось само собой... Общежитие оказалось довольно неряшливым, вход и вестибюль пустыня, швейцаров не было...

Мы встречались в гостинице несколько раз. Чем больше узнавал я Мушку, тем больше стиралась разница возрастов, которую я так резко раньше чувствовал. Мушка-то моя росла с каждым днем, а ее учитель... У ее учителя сознание того, что он совершает преступление, именно потому, что с каждым днем она росла, угасало. Конечно, я прекрасно соображал, что надо скрывать от всех наши свидания, а девочке придать более взрослый вид. Она легко, по-детски относилась к деньгам, в то же время, как все по-детски непрактичные люди, очень их любила и высоко ставила. Я дал ей несколько рублей на шляпу. Из-за этого дома у нее с матерью вышел такой скандал, что едва все не откры-

лось. А шляпа была нужна, потому что не мог же приличный мужчина принимать девочку в платочке, это хоть кого наведет на подозрения. Шляпа придает взрослый вид, к слову сказать, она купила прехорошенькую шелковую шляпку на все сезоны. Вот эти опасения и напоминали мне, что я совершил.

Самая острота моего влечения притупллась. Меня брал страх, девочка привязывалась, я ведь оказался не только первым, но и ранним.

— Вы бросите меня, мне нечем будет жить! — так она говорила. — Я в вас силу и ласку чувствую, а мне иногда так ласки хочется,—плечи болят.

Жена смутно догадывалась. То-есть она не могла предположить, что я делаю, но стала подозрительна. смотрела вопрошающе, раза два заметила:

— Ты, Лев, изменился ко мне, у тебя что-то на душе. Влюбился?

Засмеется невесело. Без Мушки скучает. Ласкает ее, заботится о платьях, подарила чулки. А та хоть бы что. Купается в ласках и расцветает на глазах. Меня досада брала и приблизительно такая мыслишка проступала: «Я тебя за муку полюбил, мучился за тебя сам,—а о будущем и помыслить страшно, — какое же ты имеешь право меняться»! Но все в этой девочке непрочно было. Раз поймала меня в коридоре и прошептала, что ей совестно в комнату к нам зайти, вся кривится от тоски. Но совесть совестью, а с матерью дома все труднее жилось. Мушка со мной на свидании,—значит она у отца, у мечехи. Вернется, ругань.

— Хоть бы она меня за дело ругала! Ненавижу несправедливость. Мне скучно подумать о том, что она на свете живет.

Вижу — запутываюсь. Мушка отстраняла всех, кто ей мешал приближаться ко мне. Об отце не говорила.

И, как ни странно, со мной сделалась менее откровенна, может быть подозревала о моих тревогах, или ощущала мое охлаждение. Охлаждение по настоящему не наступало, но разум восставал все упорнее. Вечером две мысли борются: назначить на завтра свидание, нет не назначить. Жена что-нибудь скажет — оборву, среди уюта нашего как будто холод пошел...

Серафима Кронидовна что-то почуяла, вслед мне прямо шипела. Грязь вокруг меня поднималась, стало мое счастье пригарчивать. Разочарование подползло: стоила ли игра свеч? Весь дом скрутился. Жена, спокойная круглая женщина, два раза за одну неделю на кухне с Кронидовной поругалась. Дочь грызлась с матерью целыми днями. Я старуху возненавидел окончательно: не будь у нее такой характер, разве эта овца— Иван Андреевич развелся бы! А не разведись он, и Мушку я не тронул бы. Словом, понимаете, посторонние обстоятельства привлекал для понимания своей судьбы и все больше запутывался. Сон у меня испортился: начинаю засыпать, и вот, в самую-то тонкую дремоту, как кольнет кто-то: шевельнулся,—первая мысль Мушка; мысль за мысль, пошли; смотришь — окна синие, простыни сбиты, только перед тем как вставать забудешься. А встанешь—жизнь не в жизнь, чай невкусный, мебель пыльная, завтрак готовят долго, жена старая...

Я уже упоминал, жена взялась направлять чтение Мушки. И как будто ее что толкало, набрела она на Достоевского. Представьте себе, — и это обстоятельство играло роль... Надя дала сначала «Бедных Людей»,—не понравилось.

— Все про нищету пишут, скучно. Да про любовь, которой я не понимаю.

Я вмешался в разговор:

— Как не понимаешь?

— Так и не понимаю! Не хочу понимать.

Ответ мне не понравился. А она перевела разгово
на «Неточку Незванову», восхищалась, жалела, что как-т
конца нет, и сама выбрала «Преступление и Наказание»
Надя предупредила, что это очень мрачное произведени
Мушка возразила:

— Мне и самой бесконечно тяжело. Мне надо с вам
поговорить, тетя Надя.

После обеда я ушел погулять на Патриаршие Пруд
день был прекрасный, воскресная публика биткои
била каток, и хоть хорошо морозило, но чувствовалос
что зима повернула на весну. Ах, как этот мне дене
запомнился! Вернулся я домой часов в шесть, никог
дома я не застал, нашел записку. Надя писала, что
ней зашла двоюродная сестра и зазвала к себе, буд
кое-кто из родных, и что если я захочу, я могу то
туда притти, ждут... Но мне этот родственный визи
не улыбался, тем более, что в тот вечер у нас бы
назначено свидание, и мы с Мушкой встретились
обычном месте. Она пришла, села, шляпы не сня
говорит:

— Как неприятно мне сегодня. Сейчас горничн
видела, как я входила и очень подозрительно воззр
лась. Вот так и на мать можно нарваться,—мне ведь
Недавно я узнала, что она отсюда работу берет.

Совсем стало скучно. Разнервничалась девчонк
помрачнела, надо утешать,—не подпускает.

— Как вам не стыдно в такой момент ко мне пр
ставать!

И так в ней материна грубость пробилась. Я е
об этом сразу сказал.

Совсем раскисла, откинула голову на спинку крес
глаза закрыла, и вдруг, как будто ее судорогой схватил
порывисто сдвинулась.

— Вот всегда поперек дороги мне мать становится! Сварливая, грубая, меня только портит. Как ростовщица всем портит!..

Я ответил приблизительно так:

— Да, конечно, живи ты в другой семье, — ну хоть как наша,—у тебя бы был и характер другой. Хотела бы ты жить с нами?

Эту фразу она повторила на суде, но с большим и существенным искажением. Как я не понял и не заметил сначала намека на ростовщицу, так и она по своему истолковала мою мысль на суде, потом. Но к словам и намекам у нее действительно было отношение прямолинейное: сказал—исполняй.

Опять она отозвалась фразой, в которой, если за ней не появилось бы последствий, ничего особенного нет:

— А как же я буду с вами?

В голосе такая жажда перемены жизни прозвучала, я от жалости и в шутку, чтобы разбить настроение, ответил:

— Ну мама старая, сколько ей житья! Тогда и заживем вместе.

— Как же? Вы меня замуж возьмете, или втроем поселимся?

Ну, тут уж я расхохотался. И она слегка повеселела. Я было воспользовался моментом—поцеловать, уклонилась. В ласках она была всегда пуглива и покорна, мне же казалось, что она их едва переносит, а теперь движение поцеловать почему-то просто рассердило ее. Я молча отсел на диван, в холодной апатии прислушивался к жужжанию в коридоре: где-то должно быть вентилятор пустили.

Среди молчания Мушка поднялась и чуть слышно сказала:

— Не сердитесь на меня, Лев Васильевич, я все, все рассказала тете Наде. И кажется, бог знает что натворила, не надо было этого делать! Тетя Надя просила от вас скрыть и вести себя, как будто ничего не было, а я не умею лгать.

Я, знаете, оторопел. «Как рассказала?» А она только что не плачет, лепечет что-то... Тут я вспомнил про записку.

— Она одна ушла из дому? За ней кто-нибудь заходил?

— Одна, никто не заходил,—я видела.

Вот удружила! Я не рассердился на нее, это было бы смешно, нет—я ведь должен был быть осмотрительнее, предвидеть, с кем имею дело. Я ясно уразумел, что нисколько, ни капли, ничевошеньки не раскумекал в этой странной и, как старики выражаются, смятенной душе, которая управляется мне неведомыми законами. Или совсем без законов...

Подумайте: ну зачем ей это нужно было? Конечно, Надежда Степановна умела к ней подойти, выведать. Но в борьбе с матерью Мушка искусилась скрывать и в сущности всегда сообщала только то, что хотела сообщить. Она не раз восхищалась нашим дружным сожительством, всегда даже восхищалась. Нет,—темно, темно. Как все в ней.

Расстались мы немедленно и, сами понимаете, холодно. Я выглянул ей вслед: по коридору шла испуганная, потерянная девочка, ежилась, жалась к стене.

Надина двоюродная сестра, старая дева, жила далеко на Новой Басманной, я поспешил туда. Уже кое-какие догадки появились у меня. Жена решила меня испытать перед тем, как уйти бесповоротно. Нарочито спокойные выражения записки убеждали в том. Никакого семейного вечера, конечно, не устраивалось. Она хотела

проверить, приду ли я, не назначено ли свидание. И проверила...

Ведь вот чудеса,—сколько раз после трех, пяти лет брака мечтаешь, при ссорах, от скуки,—хорошо бы мол кончилась эта лямка. В конце концов мне выпал удобный случай: да, правда, я тебе изменил, давай без особо углубленных объяснений разойдемся! Ан нет, так не выплясывалось. Я трясся в трамвае и измышлял, как лучше отклепаться, придумывал ложь, унизительные увертки. Завтрашний день без жены представлялся мне невероятным, как будто нужно было голому ринуться в ледяную воду и там привыкать. Эх, привычки, привычки! Я посматривал на соседей по вагону, у всех такие спокойные, благообразные, неподвижные лица, и у меня, вероятно, такое же лицо,—немного озабоченное, строгое, хмурое. Это все мы надели маски, чтобы скрыть ваши страсти, вожделения, всю мерзость. Но ничего, привыкли. Условились верить маскам, и верим. Теперь это вам кажется глупой философией, а тогда я готов был встать и закричать на весь трамвай. Вот бы смеху было. Потом, как вам известно, мне и в тюрьме довелось посидеть. В тюрьме люди, как в больнице, очень открыты наблюдению. И только там видишь, какой тонкой пленкой защищены мы от дикости наших желаний...

Жена сама мне открыла. Глаза суровые, заплаканы и как будто занавешены. Старая дева едва поздоровалась, тут же без церемоний оделась и вышла, сказав, что видит, что нам нужно объясниться. Я обрадовался,—она бросила фразу, с которой я мог начать свою речь.

— Да, да, объясниться, и попросить у тебя прощения.

Насчет прощения вышло неожиданно. Жена покачала головой. И заговорила так, что я свою бабу не

узнал. Ох, эти женщины, учит их горе как университет, — словом, поглядела на меня моя Надежда Степановна, я перед ней щенок щенком, — вот только-что нашкодил, наблудил.

— Ни прощать, ни обвинять я тебя не могу. Я имела время подумать, ожидая тебя. То, что ты сделал, меня в первый момент так ошеломило, что голова кругом пошла. Ты мне стал сразу чужим. Это настолько отдалило тебя от привычного образа, который я создала себе прожив с тобою восемь лет, — по тому образу и подобию созданного мужа я могла бы ревновать, могла бы обижаться... Но этого нового, того, кто растлил Мушку, — мне казалось, я не знаю. А с незнакомого что же взять? Передать его властям? Я сидела одна, во мне все горело. Сестра к счастью не расспрашивала, я могла бы выдать тебя. А у нее пощады не просил. Но ты пришел,—все эти мысли как сожгло, я не могу выдать тебя. Ты совершил преступление. Но взглянем на себя, — ведь ты болен! Я должна помочь тебе. Тебя не прощать, а лечить надо.

Вот что сказала моя жена, великой любви человек. Я, разумеется, по слабости своей и мелкости, принял эту доброту, для которой и меры у меня тогда не было, постоял на коленях, и мы, почти счастливые,—странно вымолвить теперь такое — счастливые, поехали домой. Но счастлив-то я был недолго, у Никитских ворот по привычке подумал о Мушке, загадочной девочке, от которой и в мыслях оторваться не мог надолго. За жену, как видите, воевать не пришлось, а мне было не до величья духа тогда. Тело бунтовало. И очень меня девчонка своей странностью занозила, прямо приворожила, ушибла.

С женой мы молча заключили договор впредь не касаться этого вопроса. Мушка услышала наше возвра-

щение, выглянула в коридор, подбежала к Наде, шопотом спросила: «Помирились?» И крепко поцеловала. Надя растрогалась этой радостью.

А часа в три, — мы легли, и уже отходили ко сну,—дверь открылась... Нет, дайте передохну!

7

Я лучше расскажу дело по порядку, как у самого составилась картина, когда я знакомился с показаниями и обвинительным заключением. Материал был обширный, я читал его не столько для себя, сколько для того, чтобы понять ее...

Мать, как всегда, встретила ее бранью. За последнее время самые грубые слова: шлюха, рвань у нее с языка не сходили. Дочь возразила, мать ударила ее несильно по щеке. Мушка писала: «Я уже чувствовала себя взрослой, этим она оскорбила во мне женщину. Кроме того, она тут же стала уличать меня во лжи.—Ты говоришь, что ездила на Девичье Поле... На каком номере? — Я ответила наугад: «На двадцать седьмом».—Вот и врешь, он туда не ходит! А ты прошлялась, сейчас только отец с мачехой были и председатель домкома, вот сию минуту ушли. — Так мне горько стало, я бросилась одеваться. — Куда? — «За ними».—Сиди дома.—Но я не послушалась, побежала, и хоть была уверена, что не догоню, бегом пробежала весь Тверской бульвар. Вернулась я около одиннадцати часов, мать со злорадством спросила:—Догнала? Я опять соврала, что виделась с ними у памятника Пушкину, где они ждали трамвая, и разговаривала».

Я все это чуть не наизусть выучил и почти дословно передаю. Старуха долго еще ворчала, потом легла спать. Они спали в одной кровати, которая стояла вдоль стены.

Причем спать у стены они обе не любили—легко пере
ползали и очень ели клопы. Постоянно из-за этог
случались ссоры, старуха не соблюдала очередь. И в то
раз произошло как обычно. Дочь сказала:

— Сегодня твоя ночь, спи у стены. Мне еще над
дошить юбку, я не хочу перелезать через тебя, будит

Кронидовна только засмеялась. Если бы она знал
она бы в стену замуровалась!

Мать заснула. Девочка отложила шитье, поставил
на стол зеркало, смотрела попеременно то на зеркал
то на спящую мать. Достала «Преступление и Наказа
пие» и снова прочла сцену убийства ростовщицы. В
что она показала:

— Эту книгу, «Преступление и Наказание» я нен
вижу. И еще тоже Мирбо ненавижу, «Сад Пытока,-
прямо ненавижу. Зараз прочла. «Преступление и Нак
заиие» не все прочла, не могу все прочесть, о
какая-то трудная такая. За то ненавижу, что кни
иногда наводят на такие мысли плохие. Рассказ
«Преступление и Наказание» не могу, не буду, мне т
жело вспоминать, у меня так много с ним связа
оттого и не могу.

Она смотрела в зеркало, чтобы узнать, не взволн
вана ли. Если бы заметила, что взволнована, то
совершила бы убийства. Затем накрыла голову мате
кофточкой, чтобы мать не увидала ее, взяла топор
долго возилась в коридоре, гремела, — надеялась,
мать услышит. Может быть и на нас надеялась. Теп
мне кажется, что какую-то возню я слыхал, но вы
в коридор не решился, потому что в жене это воз
дило бы подозрение, а я тогда как подозрения боя
Спала мать, спали мы, весь наш дом, вся кварти
Также не сторожась, девочка достала толстый том п
плетенной «Нивы», положила около кровати, пот

что слышала, что сверху удар сильнее. Оказалось, что с «Нивой» неудобно, убрала. Подошла, размахнулась, ударила мать обухом по голове. Раненая застонала. Наташа испугалась: очнется, узнает, что родная дочь покусилась, — этот страх, что узнает, оказался сильнее всего; стала колотить по кофточке. Не помня себя, нанесла восемь сильных ударов. Мать захрипела. Девочка бросила топор, как была в лифчике, вбежала к нам в комнату, белая, едва шевеля губами:

— Тетя Надя, мама умерла, мама умерла.

Мы бросились к ним и увидали все.

Девочка соображала видно мало. В тот момент добиться от нее ничего было нельзя, да и никто, впрочем, не старался. Вызвали милицию. Когда участковый предложил ей итти в отделение, она удивилась:

— Зачем же меня уводят, тетя Надя?

Так она была далека от понимания того, что совершила.

Мать увезли в институт Склифоссовского, утром она померла.

Вы можете себе представить, что у нас делалось. Жена первая сообразила:

— Ну, Лева, это происшествие будет и для тебя иметь последствия.

Действительно, меня арестовали не позже, чем через неделю. Перед следователем я вилял, писал гнусные показания, о которых вам говорил. В те дни я был так потрясен, что только один животный ужас владел мною. Он вытеснял все переживания. Злому врагу не пожелаю, что довелось пережить: какой-то холод леденил меня, неотступно, постоянно; никому не верил, никого видеть не хотелось... Не то, чтобы я испугался наказания,—я крови на себе испугался, которая, как мне казалось, брызнула на меня. Тяжелым гнетом лежал

ужас. Но и под ним сочилась еще ненависть к той, которая меня им наградила,

А она меня выгораживала. Она писала следователю:

«У меня разбегаются мысли в разные стороны и я не могу собрать их в одно. Но если бы я собрала их, то все бы увидали мою серую, тоскливую, тягучую жизнь. Да, мне было очень тяжело. Мою тоску только скрашивала любовь Льва Васильевича, и вчера, когда я сидела у них в комнате и слушала пение Надежды Сте-пановны, я даже плакала от ее пения, их комната и вообще их тихая жизнь мне казались раем.

Когда Лев Васильевич полюбил меня, я не бы-ла счастлива. Но мне очень нравилось, что такой большой, умный и красивый человек любит меня и даже ревнует. Да, мне это очень нравилось. Но отда-ваясь ему, я не испытывала никакого наслаждения, и я всегда притворялась, чтобы ему было приятно. В душе я предпочитала вместо того, чтобы отдаться ему, лучше посидеть рядом, тихо, тихо, и думать, думать. Но это редко удавалось мне. Он всегда был такой страстный и беспокойный, так часто, часто целовал меня. Мне это не нравилось, но я не хотела обижать его и молчала. Я очень редко целовала его, мне было почему-то стыдно».

А в самом начале она говорила, что даже испыты-вала большое наслаждение, и говорила это потому, что защищала меня. И когда она узнала о моих пока-заниях, она на них отозвалась так:

— Не ожидала я от него, что он станет так меня очернить. Я почти уверена, что ему поверят, потому что он многое вспомнил из наших разговоров. Но из моей памяти все это вылетело и я не могу ничего вспомнить. Тогда я жалела его и хотела все скрыть, но теперь, когда он оскорбляет и грязнит меня, я не бу-

молчать. Я хочу вылезти из этой грязи и сказать, что он низко и подло поступает. О, как тяжело! Он человек, которого я никогда не считала способным на такую низость, хотя он тоже не считал меня способной на такое зверство. Боже, опять все мысли спутались, все закружилось, и опять ничего не пойму.

Так мы, не слыша друг друга, перекликались, — конечно, я узнал все это впоследствии. Она была в это время в институте судебной экспертизы, я сидел в предварительном заключении, из-за экспертизы задерживали дело. Не был решен вопрос о применении к ней меры социальной защиты. Ее там посещали и отец, и мачеха, и изредка моя жена, к которой она не изменилась в своей приязни. К несовершеннолетним, от четырнадцати до шестнадцати лет, можно применять наказания, но в половинном размере, и то лишь в случаях, когда разрешит комиссия по делам о несовершеннолетних. Но к ним почти всегда применяют воспитательные меры, медико-педагогические.

И вот, когда мне предъявили обвинительное заключение и разрешили ознакомиться с делом, мир ее души, мною искалеченной, приоткрылся мне, и многое читая, я ревел, как женщина, как человек по невежеству и грубости погубивший бесценное сокровище, которое могло ему принадлежать. Да, поздние сожаления.

При деле фигурировал ее дневник и я даже опасаюсь, что то, что я читал сейчас, как ее показания, были выписки из дневника. Трудно ведь от нее было добиться откровенности. Но про дальнейшее я наверное знаю, что это дневник, так он и оглашался на суде экспертизой. Я записал:

«Не могу и не хочу вспоминать самый факт, это слишком тяжело, лучше разберусь во всем как следует и узнаю, почему я это сделала. Я не любила ее, в этом

нет сомнения. Но за что, за что? Вот и не знаю. Что-т
было в ней такое, что меня невольно отталкивал
Я твердо знаю, что она с некоторых пор стала зл
в этом уж меня никто не разуверит, пускай все гов
рят, что она была добрая, но я сама испытала на се
ее злость. Много колких фраз сыпалось на меня в м
нуты вспышки и лицо ее все преображалось и ста
вилось гадким и страшным. В такие минуты я всег
убегала, предварительно хлопнув дверью, и где-нибу
в уголке тихо, тихо плакала.

«И еще была в ней совсем непонятная черта (странно
мне стыдно писать об этом). Например, когда я ве
ром раздевалась, ложась спать, она почти всегда в э
время сидела и шила. И вот я раздеваюсь, подниму г
лову, посмотрю на нее, и так меня даже всю в дро
бросит, — смотрю, она глядит на меня так пристальн
но не в одно место, а как-то разглядывает меня (Бог
мой, я никогда наверно не забуду этого взгляда—это б
такой тяжелый взгляд!). Ах, как она меня мучила! Быва
спрячусь под одеяло, и плачу, плачу, — точно меня к
обидел. Но я всегда так тихо плакала, что она ниче
не слышала. Я плакала, мучилась, но молчала, у ме
почему-то не хватало смелости сказать ей. Этим взгл
дам я придаю особенное значение. Для всех, кто
испытал их на себе, это покажется пустяками, но в м
жизни это много значит, это повторялось каждый де
было очень противно и мучило меня». Вот-с.

Вот живешь так в уплотненной московской кварти
и не ведаешь, что за стеной, бок-о-бок с твоим ло
вом, пытают друг друга ненавидящие мать и дочь. В
суде был вопрос к Мушке с просьбой объяснить, ч
происходило между ними, но ничего не объяснило
в этой непостижимой борьбе двух воль. А вообразить
жутко: одна смотрит, другая плачет. Лучше бы дра

Вы не думайте однако, что она преувеличивала фигуру матери, делала из нее какую-то бабу-ягу, которая посмотрит — так заледенеешь, или видела в ней особо таинственный и злобный характер,—вовсе нет.

— Маму я считала пустой женщиной, и с ней абсолютно не о чем было говорить, возле нее я скучала и зевала,—это она сама призналась в институте.

Согласитесь, с чудовищем так себя чувствовать не будешь. Но тогда тем чудовищнее эта борьба взглядами. Но вообще, если поразмыслить, корень-то был в самой Мушке, в том, как странно, как тяжело оборачивались ей самые простые житейские факты. Ее судьба была определена с рождения, так мне кажется, или я это себя успокаиваю? Успокаиваю?

Но я опять потерял нить. Судили меня летом. Дело постарались не очень разглашать, но и без этого публики на процессе было очень много. От защитника я отказался и хорошо сделал, защитить меня очень трудно, а лишний раз дать выворачивать свою душу,— нет, благодарю вас!

Я очень волновался. Во время первых формальностей я старался ни на кого не смотреть и когда суд попросил удалиться свидетельницу Наталью Солодовникову (ее дело прекратила комиссия по делам о несовершеннолетних), я даже не понял, о ком шла речь и видел только по рядам мелькнула ее головка в шляпке, которую она купила когда-то на мои деньги. Из стыда и ложного самолюбия я не отказывался от первоначальных показаний, что-де не я ее соблазнил, а она меня соблазнила, а так—понемножку смягчал, отступал. Но прокурор оказался беспощадным, и когда вызвали Мушку, я стоял у судейского стола, как побитый. Ей привели мои слова и просили ответить, правда ли? Я смотрел на нее во все глаза. За эти пять или шесть

месяцев она мало изменилась, может быть чуть-чуть выросла и лицо вытянулось, и вся она как будто по сохла, глаза хмурые, строгие. Она силилась произнести что-то, из горла вырвалось несколько звуков и раздало странный, мертвенный хохот, как будто кто-то выбив из нее короткие, булькающие всхлипы. И меня, и мно гих в этом душном переполненном зале пробрало холо дом. Объявили перерыв. Она села в сторонке на ст и что-то быстро-быстро царапала карандашом в тетради вырывала страницы, комкала и бросала. Перерыв кон чился, она подала председателю записочку, буквальн следующую:

«Этот человек говорит неправду. Ни до него, н после него мужчин я не знала. Пусть будут ему мо слова страшней всякого наказания».

Так и вышло. Я просидел три года в заключени но ее слов не забуду. Она ни разу не посмотрела н меня. После,—весь допрос велся прокурором и предс дателем, — она им отвечала односложно: да, нет,—е слышно, как будто дыхания не хватало, и почти не вы бивалась из этого подавленного, стесненного тон И у меня не хватило духа задавать ей вопросы.

Для меня было очень важно установить, что я в коем случае не был подстрекателем убийства. Но оче видность слишком била в глаза, мне не приходило особенно изощряться. О том, кому принадлежала ини циатива сближения, тоже было видно с первого взгля Большой материал о душевной жизни Мушки дала эк пертиза. Обвинение удачно воспользовалось им.

Очень длинную речь произнес прокурор, хорош разобрал Наташу, как мою жертву. Он углубленно пр ник в наши отношения.

Передо мною в слова было вылито то, что я, з знавший ее, чувствовал не разумом, — куда уж мое

темному уму, — а душой: что она стремилась со мной жить не из похоти или чего-нибудь подобного,—это же был ребенок настоящий и стыдлива до болезни, хотя она мучительно останавливалась на этих вопросах и некоторые стороны воспринимала реально. Ко мне, вернее к нам, к нашему довольству, влекла ее жажда жизни, поярче, покрасивее. «Хотелось яркого, а я нетерпеливая и не могла ждать». У нее было свойство, или иначе сказать особенность: явления жизни воспринимать только теми сторонами, которые находятся в согласии с настроением в данный момент, часто, знаете,— как нравится, или не нравится. Ах, как это верно! Женщина еще в ней не проснулась она видела, как самые чистые грезы и желания уже осквернялись пониманием низкой стороны любви. Мысли в ней ненормально долго задерживались, как бы застаивались без переработки. Она очень восприимчива ко всем случайным мыслям и чувствам. Девочка считала свою мать помехой к красивой жизни, приближение которой она увидела в моих словах, что я так неосторожно бросил. Но жить с нами для нее не значило жить со мной, это значило— жить красивой жизнью. Об этом замечательные строчки из ее дневника огласил прокурор: «Да, стремясь к тихой жизни с любимыми людьми, и как я думала, любящими меня, я сделала это. О, зачем, зачем на последнем свидании он сказал те слова! Он погубил меня ими».

Тут я должен сказать, что нас трое, которые погубили ее: Мирбо, Достоевский и я. Слишком резкие впечатления попадали в ее мир полугрез, в ее душу, где застаивались впечатления — как сказала экспертиза, и где разные фантазии жили, и весь ужас в том, что только в такой восприимчивой душе, одинаково открытой добру и злу, могла создаться и осуществиться мысль об убийстве матери. Из такого же безумия может

получиться и святость. Но я отвлекся собственны
рассуждениями.

Разобрав детально жертву, прокурор, может быт
несколько упростил виновника, то-есть меня. Он назва
меня «вульгарным сладострастником с идеологией: д
звольте и бухгалтеру глубины увидеть! И там, где ш
борьба идеалов,—по Достоевскому Содома и Мадонны,
бухгалтер вмешался своей грязной похотью».

Я был так потрясен процессом и зрелищем Мушк
что обидам оставался недоступен. Не одно меня те
к ней привлекало. Но тем хуже для меня и для мо
влечений.

Чуть было не забыл. Очень резко выступал прот
меня отец. Он показался мне жалок. Оправдывался
свой развод и вообще, при его любви и уважении к п
блике и ко всему внешнему, суд показался ему бол
шим мучением, чем может быть для меня. Ему в
наверное, казалось, что слишком много и бесцеремон
вскрывают в том, что считается вроде святого-свяы
как его жизнь семейная и отца. А, по-моему, вскрыва
мало. Ох, как мало мы знаем человека! Вот на с
трудились и обвинение, и защита, и экспертиза, и в
Распотрошенная душа так и должна лечь перед глаза
Тут и признания, тут и документы, и показания св
детелей, часто очень наблюдательных. Но как и в ра
когда на операции вскрывают, ничего не разбереш
потому что залито кровью, трепещет, так трудно р
глядеть и, главное, сложить воедино, привести в з
в действие, пустить, чтобы как в настоящей жизни
жила душа, и, уже распотрошив, снова поглядеть. Е
меньше видишь, конечно, в человеке в общежитии,
кажется как наблюдал я за Мушкой, а что знал? К
ревновал к отцу, а вот послушайте, что она о
писала:

«Маму и папу я никогда не слушалась и часто им грубила. Папу я не любила как отца. Я всегда думала, что он слабохарактерный человек и потому не может заставить меня учиться и не может ничем меня заинтересовать».

Вот видите, и прошу заметить,—ей необходимо понуждение. А начнешь понуждать—вызываешь дикое сопротивление, с которым сама не может справиться, болезненное упрямство. Задачка! Не Серафиме Кронидовне и не Ивану Андреевичу ее было решать. Несправедливо судьба задала. Однако дальше:

«И вообще как отца его никогда не любила. И сама не знаю, откуда у меня в голове вставал образ отца настоящего. По моему мнению это должен быть большой, сильный человек, с большой волей и очень умный, но с доброй душой. Вот я всегда любила, люблю и буду любить папину душу, вот у него добрая и хорошая душа. Но со своей доброй душой он все таки не сумел подойти ко мне, хотел он, много раз пытался, но я была очень замкнута с ним. Бедный папочка! Я знаю, ему это было очень неприятно, но он ничего не мог сделать, разговоров с ним я избегала».

Она и потом очень интересно в чувствах к отцу разбирается в письме к моей жене, но я его после прочитаю. Я все жене отдал, мы, конечно, разошлись после того, как вышел из тюрьмы, но это письмо выпросил. Дорого то мне, что в душе, которую я не разобрал, которую может быть погубил, в лучшем же случае был одною из причин гибели,—в этой душе завился клубок прямо неповторимых противоречий, столкновений; окраска ее была богатая, не такая, как у всех у нас, серых.

Суд присудил меня к пятилетнему заключению. От кассации я отказался. Надежда Степановна все эти годы

поддерживала меня, но мы уже знали, что наша со-
вместная жизнь разбита и не склеится.

Мушку я не терял из виду, просил Надежду Степа-
новну навещать ее, чем можно помогать. Ее признали
психически больной, действовала в аффекте,—это еще
раньше, в комиссии по несовершеннолетним. Мы во-
представляем душевную болезнь как идиотизм, полную
темноту и тупость. В ней ничего этого не было.
И все же правда—она больна. Ну, это без нас разобра-
лись...

Я ведь еще письмо обещал прочитать, последнюю
о ней весть:

«Простите, милая Надежда Степановна, не смею на-
звать вас по-прежнему, тетя Надя, что долго не отве-
чала. Вы знаете, как мне трудно, хочу и не могу с со-
бой справиться. Писать письмо, все вспомнить, ка-
была я счастлива и довольна в вашем уютном гне-
здышке.

«Здесь в институте, где изучают преступников, я чу-
ствую, что глубоко пала, я в мыслях не лгу. Я дрян-
павшая ниже самой последней проститутки, я развра-
ная женщина. Я не умею ругаться площадными сло-
вами, не могу поэтому выругать себя, да это и лишне
нет такого слова, которое подходило бы ко мне. Я н
больная, не сумасшедшая, я какой-то ужасный выро
Я хуже всех самых грязных, самых низких людишек
хуже всех площадных слов. Я сейчас много плака
много, много думала, совершенно серьезно обдума
одну вещь и буду писать про это. Я не имею пра
жить на свете, но лишить себя жизни не могу. Я бо
этого, я подлая трусиха. И еще сознаюсь, что я жа
хочу и еще хочу наслаждаться, это просто возмут
тельно. Но все-таки я хочу жить, хочу, хочу! Вся пра
вся гадкая правда вырвалась наружу. Я кругом одна,

человека, некому рассказать. Боже, я вечно одна, одна, не с кем поделиться, все ложится на сердце как тяжелый камень! И вот сердце передо мной открылось, камень упал, и теперь буду писать всю грязную тяжелую правду, которая вырвалась из сердца. Начинаю не жалея себя, все равно я наверное скоро умру, какое-то гадкое предчувствие есть.

Почему я хуже любой проститутки? Потому что у меня всегда грязные мысли. Я не знаю, я не знаю, почему я такая развращенная, кто меня развратил, не знаю, но уж я такая есть и такая останусь. О, я написала бы много, да опять все мысли разбегаются... Но вот первое: как смотрю на мужчину, довольно мне увидеть хоть немного привлекательного мужчину, и я уже думаю, что если бы он в меня влюбился! Я только о них и думаю, такая дрянь. Кто-нибудь из тех, кого я знала на воле, вспомнится, так я уже думаю, что если бы я была его женой и были бы у нас дети и как бы мы их любили, и как бы мы счастливо жили, в довольстве...»

Прерываю, не могу. Вот и все ее преступные мысли! Эта душа как будто за тем и была создана, чтобы страдать. Дальше напущено еще больше таких же воображаемых страхов:

«Потом я страшная эгоистка и дармоедка. Ровно ничего не делаю, толстею до безобразия и все ем и пью, пью и ем, и сплю—и все. Ну, разве кто-нибудь так живет? Никто так не живет, это только одна я такая. О, как стыдно! Как тяжело, и вот я пишу все это, и все-таки буду продолжать такую жизнь,—вот, вот какая я.

«Ну», кто же не скажет после этого, что я ниже всех грязных людей, да, да, я настоящая паразитка. Ну вот, я хоть напишу завтра своим (говорить я стесняюсь), чтобы не носили мне передачу; буду есть черный хлеб,

надо хоть похудеть, да и они на меня тратиться не будут.

«Я прервала письмо, не могла дописать, пролежала целый день, и опять сильное желание разорвать эти листы, сколько здесь глупостей написано, да ни одного умного слово. Хотя вчера была в ужасно скверном состоянии и писала бог знает что, но все же здесь есть доля правды. Я люблю мужчин, сама не знаю за что, отчего и почему. Но я, правда, все время о них думаю. Как я об этом сожалею! Ведь я хорошо знаю, что у меня страшно много недостатков и что я страшно испорченная и плохая девочка (ах, как мне хочется быть девочкой!). Я очень бы хотела исправиться, но всё можно ли это? Сейчас у меня нет никаких надежд. Я одна. А одна я не могу заставить себя делать что-либо хорошее, не могу, не могу и не хочу!

«Я нахожусь сейчас в таком кругу, где ругают очень нехорошо и говорят про ананизм (так и написано!), ясно, что я с большим интересом слушаю, потому что это для меня ново, и вообще слушаю разные сальности и грязные анекдоты. С каждым днем делаюсь все хуже и хуже, а меня никуда не отправляют, я боюсь погрязнуть.

«Да, теперь не надейтесь на мое исправление, скоро буду курить и ругаться. Пропадает интерес к хорошему, все тошно, все противно, прямо до слез. Ненавижу тех людей, которые живут на воле и учатся, а я здесь с каждым днем делаюсь хуже. Иногда бываю просто в отчаянии, ведь если это так будет продолжаться, то если мне скажут: «беги!»—я убегу и стану воровать, буду хоть в золоте ходить, нюхать буду, пить. Пропадай башка, а надоест—повешусь».

Душу она этим письмом мне разодрала. Ведь ей «пятнадцати лет не было. Все страсти, стремления,

это в очень преувеличенном виде, как будто в нездоровом сне или в кошмаре все это снится. Ничего страшного в ее «страхах» нет; миллионы подростков в ее возрасте переживают и думают то же, на те же предметы, и ничего—вырастают спокойно, спокойно выходят замуж. А у этой в душе буря, которая ничего не рассеяла и не рассеет.

Но вы верно про себя посмеиваетесь и язвите, чего это, мол, растлитель распелся? И правы, часто себя на отвлеченных мыслях ловлю. Как будто не про загубленного человека, а про музейный засушенный экземпляр размышляю. Но вы уже наслушались самообличений, поэтому воздержусь, тем более, что каждое слово, которое произношу или читаю,—все против меня.

Во всем письме она верна себе: разбирается, как может, в своих противоречиях, может быть сознавая, что отсюда все ее несчастья. Вот что она про отношения с отцом, как они сложились уже после всего, пишет:

«Как меня мучает мысль. Мысль о том, что я не люблю папу, как отца и как человека, и ему говорю, что я его люблю, значит я ему лгу, бессовестно лгу. О, какая я гадкая, он меня любит, он за меня мучается может быть больше, чем я сама. Но что же делать? Сказать что не люблю? Нет, не могу, это страшно его огорчит. Что делать? Что делать? Ну, если разобраться в душе, что же я к нему чувствую? Что? не могу объяснить, какую-то больную жалость. Иногда мне бывает жалко, так жалко его, я плачу. Почему жаль, сама не знаю, только очень, очень жаль мне его. Передо мной он кажется таким беспомощным, жалким. Вот и сегодня пришел на свидание, сидит и так смотрит, как будто стесняется меня. Я чуть не расплакалась при нем. А он все расспрашивает, как я себя чувствую, как живется.

«А вот, наконец, прояснилась моя голова. Я знаю почему я его не люблю. Я стесняюсь, да это так это правда. Мне кажется диким, что он, мой родно папа, знает, что я уже не ребенок, что я женщин Это так дико, так ужасно, я уже не прежняя Беби, прежняя Мушка. Раз на свиданьи он дал мне понят что не смотрит на меня как на ребенка, не знал, к кую он боль причинил мне этими словами. Но я окончательно решила, если меня отпустят к ни к папе и второй маме, я им все объясню. Они поймут Тогда пройдет вся эта тяжесть при разговорах, и я бу любить папочку, буду все говорить, только скорее настал тот день, когда я с ним откровенно поговорю

Помните — на одном свидании она мне о том намекнула, что ей будет стыдно за свою перемен перед отцом. Рано я ее из младенчества вырвал! Но и письмо кончается:

«Много я вам написала, да все сумбурное. А куда же мне взять порядок? Я не знаю, что со мно будет. Мне смешно и больно: все такие большие умные, и не знают, куда деть такую как я».

Вот и вся моя история.

Что с Мушкой, хотите спросить? Она пробы в психиатрической клинике довольно долго, потом от увез ее куда-то в провинцию. Может быть там, в тиш она и выздоровеет,—если не совсем поправится, придет в то тихое состояние, которое будет выделять не больше, чем странность. Видели таких провинциальны чудаков и чудачек?.. Но они уже наполовину на кладбищ

А я,—что-ж! С меня, как с гуся, вода. Освободил от всего, от жены, от обстановочки, от «красив жизни», получил место на золотых приисках в Яку ской области, на севере. Должность небольшая,—с товод при управлении, но жалованье двойное: мне

немного надо, я не пью. Поживу в дичи, среди незнакомого быта,—может быть утихну. Дикая эта тайга,— я ее боюсь, я — городской человек. Но я добровольно сюда поехал, и вот, глядишь, есть спасенье. Спасенье это пожалуй не очень надежно, коли приходится ограждаться от самого себя тайгой и тундрой! С Омска в вагонах народ другой, кряжистый, спокойный, — завидую я этому здоровью, силе; зависть такая — прямо пытка. Вон такой бородач, в себе уверен, — знает, что сделает завтра, когда приедет на место. Люди, среди которых я жил в Москве, ничего про себя не знают, двигаются от помысла к помыслу, от страстишки к страстишке. Ни в какое дело я не верил,—высекла меня за это жизнь... Да, в Москве, в Ленинграде, в больших людских скоплениях мне нельзя оставаться.

Такому надо бежать, как бегут от людей бешеные собаки. Я потерял веру в то, что могу сдержать себя в то, что человек может сдержать свою страсть. Всегда приходит такое успокоительное: ну, это с Мушкой, с больной девочкой так вышло, а могло бы пройти шито-крыто. Ядовитая мыслишка.

Иной раз спросишь себя: «А я то чем виноват? Где же мое счастье, мой покой? Кто-то меру моих проступков определил, приговорил меня на пять лет, продержал меньше, до срока за хорошее поведение выпустив—значит вина искуплена? Или—теперь искупления вины не признают,—значит считают, что я исправился. А кто меня проверял? И есть ли такой способ проверить? И кто мне проспит Мушку?

ПАВЕЛ СУХОТИН

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПЛОД

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПЛОД

РАССКАЗ

1.

Приспевает время яблоновому дереву выгонять новые почки и зацветать. Если ветры опыляющие и весенние парные ночи благоприятны, то приходит время уронить на землю плод, затаивший семена, похожие на густые капли крови. И если даже ранний цвет опутает медянка липким ядом,—все равно под ветвями, осенью, на сухой листве завалялся какой-нибудь сморщенный, но тоже с розовым боком, недоросль-уродец. А все—время! Оно творит дни, годы и возрасты.

Читатель, конечно, станет недоумевать, почему я такую историю начал таким высоким слогом. Но, что поделаешь!—Рассказывая о некоторых вещах и людях, приходится повышать голос, чтобы под конец не сойти на неприличный шопот. Как бы скучно человек ни жил, а хоронят его всегда торжественнее, чем он жил. Вспомнить, к примеру, какие прочувственные и даже потрясающие речи говорились присяжными ораторами в «Гостинице для упоминовения усопших», что была в Москве, у Ваганькова кладбища. Когда этакому московскому Цицерону, в прокатном сюртучке и с траурным бантом, какая-нибудь молодая вдова или преждевременный

наследник, по щедрости или по ошибке, совали в руку вместо зелененькой кредитки — синенькую, и главный кухмистер заранее подносил ему перцовки, то он мог от вдохновенного волнения не только перепутать имя и звание усопшего, но даже разрыдаться. Однако «Гостиницы для упоминовения усопших» давно не существует, и человеческие останки обращают в сожигательный прах, а на жирном месте той гостиницы растет жирная крапива, и я, конечно, не Цицерон, а просто неизвестный писатель, и когда мне изредка платят гонорар, то никогда зеленых бумажек не путают с синенькими, ибо щедрость редактора карается на земле и вознаграждается на небесах, а потому я продолжаю свой рассказ проще и спокойнее, тем более, что хоронить я в нем никого не собираюсь и начал «свысока» только потому, что предмет моего рассказа касается такого случая в жизни человека, который также нередко сопровождается торжественностью речей и блеском са

Семен Семенович Мнюх был действительно похож на яблоновое дерево: такой же крепкий, короткостный, в руках и ногах заплетистый, а возраст его б таков, что он имел полное право задуматься о дарова нии от себя нового побега.

Задумался над этим Мнюх не потому, что надое ему бухгалтерия и домашние обеды бывшей баронес Позен — женщины с черной бородавкой на левой ру повыше локтя, которая плавала в ее жирном теле, к водяной паук в стоячей воде, — нет! Все это Мнюх с читал правильным и так же грел на примусе по утр вчерашнюю кофейную гущу и оправлял свою одино постель, стряхивая с нее какую-нибудь нечистоту, с с ней бороться было напрасно, ибо давно уже замече психологами, что у холостых людей на постели всег валяются какие-то крошки. Что такое скука — Се

Семёнович вообще не знал так же, как не знал, что такое головная боль, а зубы он имел такие крепкие, что никак не боялся жестких антрекотов Позен, и когда она по праздникам готовила на жаркое рябчика, то он съедал его без остатка, и кости этой деликатной птицы хрустели во рту Мнюха, как сухари, которые подают хозяйки к гороховому супу. Следовательно, совершенно ошибались его сослуживцы, полагая, что он уехал на Волгу для поправления своего здоровья. Конечно, такое неожиданное решение в первый раз за тридцать лет службы по табачному делу воспользоваться отпуском могло внушить некоторое подозрение касательно его самочувствия, но это было совсем не так. Я даже затрудняюсь сказать, какое можно подыскать явление в живой и мертвой природе, чтобы сравнить его с этим необычайным поступком Мнюха. С вылетом орла из гнезда? — Нет! — потому что орел совершает этот вылет ежедневно и по нескольку раз. С выходом барсука из норы после зимней спячки? — Тоже нет! — потому что барсук совершает этот выход каждую весну. С расцветом Виктории — Регины, перед которым так умиляются высокие и тощие гувернантки из Риги и пухлые и розовые бонны из Пруссии? Пожалуй, сравнение это не так уж неудачно, но приняв в соображение крайнюю экзотичность цветка Регины, я на этом сравнении не настаиваю. Семен Семенович Мнюх совсем не экзотичен. Он имеет серые от проседи усы, завитые в крутые колечки, вздыбленные щеткой волосы, похожие на безлистую поросль, и лицо цвета древесной коры, что и вынуждает меня вернуться к прежнему образу и сравнить неожиданный поступок Мнюха с расцветом яблонового дерева, которое никогда не осыпалось снегоподобными лепестками и имеет почтенный возраст. Этим я совсем не намереваюсь намекнуть на почтенный возраст Мнюха.

Как всем известно, в престарелые годы яблони человек только еще начинает жить, украшая наши будни совершенно легкомысленным поведением.

Итак бухгалтер Мнюх очутился на Волге, в те дни, когда все благорастворяется, и русский Нил, на котором тоже цветут свои астраханские лотосы для летних наблюдений Академии Наук, распахивает берега так широко, что до них простым глазом не досягнешь, а потому Семен Семенович вооружился полевым биноклем, взятым у председателя своего месткома, который до настоящих дней уберег в полной сохранности все победоносные приобретенья, сделанные им в империалистическую и гражданскую войну. Кстати сказать, зловещая вражеская пуля попортила ему правую ноздрю, и когда он начинает повествовать о славе русского оружия, указательный палец его залезает в испорченный нос, и голос слегка гнусавит:

— Я под Терновцем не дрался, но дело было весьма г а р к о е...

Но Семен Семенович Мнюх не с любования природой начал свое примечательное путешествие, а за час до отвала парохода изучил сверху донизу и снизу доверху «прейс-курант кушаньям», задал несколько разъяснительных вопросов служащему буфета и заказал себе стерляжью уху, а за полчаса до отплытия сидел уже за столиком на палубе, с теневой стороны, подвязав на шею салфетку и удивленно разглядывал женщину, подсевшую к его столику. Пользуясь прекрасным обычаем полной непринужденности, который существует в путешествиях на волжских пароходах, она не только подсела к незнакомому ей гражданину Мнюху, но и сейчас же с ним заговорила, осведомившись о времени прибытия парохода в Казань, а когда к палубе подлетела глазастая чайка и нахальным писком стала требовать подачки

женщина взяла с прибора Мнюха кусок хлеба и, раскрошив его пухлыми пальчиками, подкинула вверх.

— Я ужасно люблю птиц и животных, — извинительно улыбнулась женщина.

— Разумеется, — сказал Мнюх, привстал, бросил в воду большой кусок хлеба и немедленно отрекомендовался:

— Семен Семенович...

Женщина ответила ему пожатием своей пухлой ручки:

— Лидия Николаевна Калинкина.

Мнюх грузно опустился на стул, распространил на груди салфетку, сделал из большого и указательного пальца рогатку, потрогал колечки усов и на правах знакомства уже более дерзновенно вник в пухлую розовую щеку Калинкиной и с удовольствием приметил, что на ней есть пушок и ямочка, которая по его мнению изобличала в этой женщине весьма изнеженные чувства. Он решил себя проверить и осведомился, не из тех ли она будет Калинкиных, у которых в свое время были довольно значительные пивоваренные заводы.

— А если бы и так... — пытаясь наморщить совершенно безоблачный лобик, сказала Лидия Николаевна и запнулась.—Мои папа и мама жили в Казани.

Семен Семенович усмотрел в этих словах собеседницы очаровательную легкость ума и от удовольствия засмеялся своим дробным смехом, похожим на стук деревянного моста, через который переезжает тележка.

— С вами не пропадешь, с вами не пропадешь, — повторял он, жмурясь и прихлебывая стерляжью уху, но вдруг он бросил ложку, сорвал с груди салфетку и, обращаясь к оффициянту воскликнул:

— Дайте гражданке мороженного!

Но гражданка не хотела есть мороженного по причинам чрезвычайным и просто потому, что еще не

обедала и была голодна, а потому ей ничего не стоил
убедить Мнюха в том, что его порции стерляжьей ух
может хватить на двоих, и если к этому добавить дв
телячьих котлеты, то Мнюх и Калинкина будут вполн
сыты. Убеждая в этом Мнюха, Калинкина ущипнул
двумя пальчиками рукав его пиджака и очень ми
улыбалась. Это ли неожиданное и совершенно блест
щее предложение или некоторое помутнение в мысл
от прикосновения ее коротких пальцев взволнова
Мнюха, но он стал неистово стучать по тарелке ножо
не замечая, что официант давно уже ждет его заказ
с почтительным вопросом:

— Один раз сливочного?

— Нет, я еще умирать не собираюсь, — с легко
язвительностью заметила Калинкина и сама заказа
принести лишний прибор и две телячьих, но только
по карточке, а из обеда, а когда официант ныр
по витой лестнице в низ парохода, она таинствен
прошептала:

— Так гораздо дешевле, а еда все та же.

— С вами не пропадешь, — опять восхитился Мн
но уже с некоторой робостью в голосе. Он еще р
ощупал взором ямочку на щеке Лидии Николаев
и заглянул ей в глаза с той кротостью, с какой собе
смотрит на своего хозяина, когда он берет ее за ошей
ник, чтобы накинуть на него цепочку. «Я — твоя»,
говорит эта кротость. «Я — твой», — говорили гла
Мнюха, и это было первым, хотя и далеким звоном т
менеевой цепи, и именно тех ее звеньев, которые лью
из чистого серебра. Их немного в ней, и они теряю
среди тяжких бряцаний железных вериг, но звон
сладок и от него замирает сердце — этот кусочек че
веческого нутра, в котором, как в райских сенях, ч
любили живописать старинные мастера, всегда оказ

вались в добром соседстве—хищная змея и красноглазый кролик. Этот рай наделал столько же страшных вещей, сколько и человеческое сердце, и когда на площади трещали костры испанской инквизиции, то тут же, где-то неподалеку, у садовой решетки, в подобие ветхозаветной кротости, млели два робких, невинных существа, звучала рокотливая гитара, и поцелуй влюбленных прерывала коварная наваха. Но поцелуй гражданина Мнюха никем не был прерван. Он прозвучал в тиши одноместной каюты Калинкиной, и он не был бы так короток, если бы Мнюх не допустил некоторой неосторожности.

— Ой, как больно! — тихонько простонала Лидия Николаевна, отстраняя Семена Семеновича и хватаясь за грудь. Мнюх только тогда понял, как нелепо и ненужно болтается на его желтой зефировой рубашке черный футляр от полевого бинокля.

— Я его спрячу в чемодан,—смущенно сказал Мнюх, но волнение его не утихало, и надо было либо бежать из каюты на свежий отрезвляющий воздух, либо опять приникнуть губами к ямочке, которая играла на щеке Лидии Николаевны. Она тоже была взволнована, улыбалась и глядела на него блестящими мышиными глазками. И Мнюх кинулся к ней, и его заплетистые руки и ноги налезли на нее, как ветви древесной чащи, куда, кстати сказать, нередко забредают люди в слепой надежде скрыть от других свои тайные мысли и поступки, и иногда в полном восторге даже лобызают мох столетних корней и приникают грудью к стволам излюбленных дерев, а потому ничего не было странного в том, что Лидия Николаевна тоже устремилась к Мнюху, приникла и восторженно сказала:

— Целуйте, но только не больно.

А в рубке в эту необыкновенную минуту жизни Мнюха тенор народного судьи из Иркутска трогательно

сочетался с низким контральто в словах старинней
романса:

И песнь моя есть фимиам священный
Пред алтарем богини красоты...

— Старичек, что же мы будем делать?—спрашива
на следующий день Калинкина, поедая маленькими
сочками сливочное мороженное.

— Казните... губите... калечьте...—бормотал Мнюх,
конечно, что—я... разумеется, кто—я...

— Миленький мой, — вкрадчиво зашептала Ли
Николаевна. — Я ведь ничего не говорю: жалован
у вас очень хорошее, две комнаты, своя мебель,
сберкнижке пятьсот рублей, белье... Это я все зна
это все есть. А у моего жениха ничего нет, и жалова
не важное. Но ведь он же меня безумно любит.

— Казните... губите... калечьте... — опять залепет
Мнюх. Он сидел насупившись и разминал вилкой хл
кий пломбир.

— Но ведь он же страшно нервный, — жалобил
Калинкина. — Он может с собой что-нибудь сдела

— А я вот здоров-с, — вдруг оживился Мнюх, вс
чил на ноги и стал опять похож на старую, крепк
и вихлястую яблоню, и свет солнечный тускло по
скивал на его серой коже, как на яблоновой кор
Здоров-с! Здоров-с! Вполне здоров-с! А без здоров
нет счастья. — И его деревянный смех покатился
реке и эхо откликнулось ему на берегу, как будто т
дрова рассыпались на лесной чищине.

2.

Пассажирки взволнованно выбегали из кают на
лубу, толпились на носу парохода, глядели в бино
или в кулаки, сжимая их трубочками. Некоторые из

были уже в шляпах и непромокаемых пальто цвета спитого кофе. Они еще накануне мечтали о казанском мыле и пестрых восточных шарфах, которыми торгует Татреспублика и которые выделывают на московских фабриках. Мужчины также обнаруживали некоторое беспокойство, отказавшись от завтрака, чтобы с большим аппетитом выпить на берегу водки и съесть пельменей в «Столовой водников».

Между Калинкиной и Мнюхом было уже все решено. Он должен отметить на своем билете остановку в Казани и поехать в гостиницу, она — останавливается у своих родственников и через них сообщает родственникам жениха, что свадьба их откладывается по крайне серьезным обстоятельствам, и, наконец, завтра они записываются с Мнюхом в ЗАГС'е, а после завтра отплывают: Казань—Астрахань—Нижний—Москва.

В виду такого смелого решения они стояли на палубе, сохраняя торжественное молчание, и только когда завиднелись предместья Казани, заваленные серыми кучами камней, бревнами и весенней речной наволочью, — Мнюх не мог сдержать своего восторга и, вздохнувши, сказал:

— Какой простор!

Но когда они остановились у подъезда гостиницы и пришло время расстаться, Мнюх загрустил и несколько раз умоляюще посмотрел на Калинкину.

— Нет, нет, — решительно сказала она, — свободные отношения мужчины и женщины должны быть в известном пределе. Я не остановлюсь в вашем номере. Мало ли что подумают другие. После завтра мы будем вместе и навсегда.

Слово «навсегда» сладким уколом тронуло сердце Мнюха, и он долго не мог примириться со своим внезапным одиночеством. Номер был недостаточно светел,

окна — в нишах, а стены такой толщины, как в крепостном замке. Кровать была слишком широка и неуютна. Пикейное выцветшее одеяло казалось совершенной гадостью по сравнению с тем голубеньким, каким покрывалась в каюте Калинкина, искусно постилая его конвертиком. Семен Семенович потолкал кулаком матрац, пощупал ржавое пятно на простыне и пожалел, что оставил свою постель на пристани. «Еще чем-нибудь заразишься», — подумал он и вторично вымыл руки. Номерное казанское мыло воняло рыбным кульком, и нельзя было не вспомнить «парижской фиалки», которой благоухали ладони Калинкиной, когда он сегодня утром целовал их в благодарность за свое головокружительное счастье. «Однажды в Москве был случай заражения от мыла лошадиным сапом»,—обнюхивая руки, обеспокоился Мнюх, позвонил корридорному, спросил чаю и кстати еще раз сполоснулся теплой водой. Делая себе бутерброд Мнюх подержал колбасу около носа, и она показалась несвежей, а на копченой стерляди обнаружилось какое-то подозрительное синее пятно, и Семен Семенович съел только плюшку, а выпивши стакан чаю, остерегся и прикрыл окошко. Не отличаясь большой склонностью к мечтам, сегодня Мнюх мечтал, и чем больше он мечтал, тем больше проявлял внимания к своей особе и к своим поступкам, имея все время в своем воображении некоторые черты Калинкиной, которые особенно поразили его своей привлекательностью. Почувствовав вялость в теле, он вытерся по-пояс мокрым мохнатым полотенцем, удалил из носу волосы, вылезавшие из ноздрей черными щупальцами, и когда стал обрезать на пальце заусенец, так неаккуратно повернул ножницы, что проступила кровь, и вдруг стало страшно при мысли о том, что может случиться заражение, антонов огонь, гангрена и смерть.

— Йод! Йод! Дайте иод!—втолковывал Мнюх корридорному, разволновавшись от долгого ожидания его прихода.

— Лед мы не держим-с,—сказал корридовный с той же огорчительной улыбкой, с какой отказывал приезжим, когда они спрашивали к столу сою или французскую горчицу.

— Иод, которым заливают раны! — повысил голос Мнюх. — Берите деньги и пошлите в аптеку за иодом.

— Обыкновенного-с? — обрадовался корридорный, догадавшись, чего требует постоялец.

— Во всех аптеках всего мира иод бывает только коричневый, — раскипятился Мнюх и по уходе корридорного, посасывая палец и сплевывая бурую слюну в умывальник, зашагал по номеру и успокоился только тогда, когда от иоду почернел палец. Но в сердце его не унималась тревога и, как муха, привязалась мысль о том, что можно внезапно умереть. Мнюх представил себе, как будет рыдать над его трупом Калинкина, как сослуживцы будут собирать ему на венок деньги, и помощник бухгалтера, его подчиненный и его враг, с удовольствием напишем на листочке с подписями: «двугривенный... Николай Попов...» Это так было обидно, что в горле сделалась спазма и защипало в носу, а на глаза набежала теплая влага. «А что же будет делать мой несчастный Лидок?» — вслух спросил себя Семен Семенович и поражен был горестным тоном своего голоса, и когда несколько раз робко постучали в его дверь, он прянул с кресла и закричал:

— Войдите! Алло! Войдите!—и это прозвучало воплем о спасении к любимой женщине, но в номер вошла не она, а некоторый человек в брезентовом пальто, с клеенчатой папкой под мышкой и почтительно остановился у порога, спрятавши за спину кожаный желтый картуз.

— Что вам угодно? — спросил Мнюх и стал опять похож на яблоновое дерево, а его оттопыренный палец чернел, как обгорелый сучок.

— Извиняюсь, — прохрипел вошедший, — как вам известно, в нашем социалистическом Союзе в обеспечение семей, пострадавших от горестной необходимости скончаться вообще и в исключительных случаях даже скоропостижно...

Мнюх замахал руками и отпрянул от посетителя, как от мрачного видения.

— Вы не туда попали, — с трудом проговорил Семен Семенович и опять замахал руками, уловив намерение гражданина с клеенчатой папкой пройти в номер.

— Именно, — улыбнулся посетитель. — Ваша сознательность и солидность выясняет передо мной объекта, желающего застраховать свою жизнь в любой сумме, после чего вы можете спокойно умереть в кругу вашего любящего семейства. Прошу-с.—И из клеенчатой папки вынырнул желтый листочек. — Агент по страхованию жизни, Иван Иванович Склеп, — отрекомендовался гражданин. — Тут и адресочек и телефончик. Извиняюсь. Пока!

В дверях прогремело брезентовое пальто агента, внезапный сквозняк влетел в номер, со звоном откинул оконную раму и вырвал из рук Мнюха желтый листочек с призывом к вниманию сознательных советских граждан.

3.

Черная туча, налетевшая на осиянную лазурь счастливых дней Мнюха, как и надо было полагать, была сметена к вечеру бурными порывами страстей и новых чаяний, которыми украшены были часы его свидания с Калинкиной в номере гостиницы «Красный Восток».

да и самый номер оказался не так плох, после того как Лидия Николаевна приложила к его убранству свои пухлые ручки, проявив при этом отличный вкус. Графин без воды с коричневым дном и с отбитой пробкой с подоконника был переставлен на комод, плетеная скатерть с подзеркальника с очаровательной небрежностью была брошена на спинку мягкого кресла, а чернильница с сухими мухами и желтым окурком была спрятана в угольник, оставшийся от разореной божницы. Кстати сказать, в нем валялись совершенно никому ненужные штопанные носки, обкусанная зубочистка и длинный пакетик, из которого вылезала серая вата, как сливки из пирожного, что продают в Казани на лотках в угоду тонким вкусам губернских лакомок.

— Старичок, — томно сказала Калинкина, — станьте на стул и поправьте картину, но только не свалитесь.

И Мнюх влез на стул и влево сдвинул картину, на которой бежала лошадь так шибко, что ее заднял нога ухитрялась заскочить за переднюю, а хвост, развеваясь на ветру, улетел за раму. Наконец, и кровать оказалась не так неуютна, и, лежа на ней в легком утомлении, Калинкина спросила:

— Старичок, а у вас кровать полуторная или обыкновенная?

— Обыкновенная,—с грустью признался Мнюх.

— А я люблю, когда рядом со мной кто-нибудь похрапывает, но только не черезчур, — сказала Калинкина и от воображаемого уюта сжалась в калачик, подложив под щеку с ямочкой ладонь, потом опять вытянула ноги и совершенно раскинулась на постели, а Мнюх стоял около нее и любовался так, как любуются на кошку, которая в преддверии хозяйской щекотки в таких же исключительных позах распластывается на своей подстилке. Но некоторое грустно-лирическое настроение

какое бывает у очень счастливых людей, все таки не покидало Калинкину, и среди самой оживленной беседы о будущем, она вдруг замолчала, задумалась и спросила Мнюха:

— А что, если мой жених бросится в нашу Казавку?

Мнюх безо всяких колебаний осудил попытки людей лишать себя жизни и допустил для них только некоторое оправдание в тех случаях, когда на такой неприличный во всех отношениях поступок понуждает человека крайняя бедность, и в глазах Семена Семеновича пробежала хитрая улыбочка по поводу внезапной мысли о том, что он не только имеет пятьсот рублей на сберкнижке, но и может иметь страховой полис тысяч на пять, и тем самым решительно изгнать из размышлений своей будущей супруги черную мечту о том дне, когда судьбе желательно будет разлучить ее с любимым супругом.

— А вы будете мною обеспечены, как королева, — торжественно заявил Мнюх и припал к пухлой ладони Калинкиной, которая все так же благоухала парижской фиалкой.

Этот вечер они кончили в «Татарском ресторане» где спросили порцию московской селянки и пожарских котлет. Расстались они, разумеется, очень нежно и Калинкина сняла с пальца свое рубиновое колечко и передала его Мнюху для мерки, а на следующий день Мнюх купил на базаре у перса, с синими щеками и тремя подбородками, два обручальных кольца. Затем, пользуясь свободным временем, он решил осмотреть памятник поэту Державину, и по его незначительной величине определил, что его сочинения не должны отличаться отменным искусством. Залюбовавшись в сквере игрой детей, на которых он прежде не обращал никакого внимания, Мнюх не заметил, как подошел к его скамейке

человек в синих очках и сел с ним рядом. Он обратился к нему и узнал в нем доктора Табачного треста только тогда, когда ему прямо в ухо прогремел бас:

— Гора с горой — нет, а человек с человеком, как видите!

Встреча эта была не совсем неожиданна, так как Семен Семенович знал, что доктор имеет две семьи в Москве, а третью в Казани и наезжает к ней погостить и проживает неподалеку от сквера. От него-то он и узнал, что в Казани есть памятник поэту Державину. «А не попросить ли мне его», — подумал Мнюх, — «освидетельствовать мое здоровье в виду моего намерения застраховать свою жизнь?»

— А что наш завхоз? — осведомился доктор.

Семен Семенович с большим оживлением передал ему свежие новости о служебных пертурбациях в тресте и очень был рад предложению доктора пойти к нему выпить стакан чая, так как до двух часов, когда они должны были встретиться с Калинкиной в ЗАГС'е, оставалось еще очень много времени, а часы длились бесконечно.

Жена доктора, узнав от мужа, что гость служит старшим бухгалтером в Табачном тресте, застыдилась и ушла, так как одета была по домашнему в точно таких же казанских разноцветных туфлях и в точно таком же канареечного цвета кимоно, в каком Лидия Николаевна Калинкина по утрам встречала Мнюха в своей пароходной каюте. Семен Семенович по этому поводу почувствовал даже некоторую симпатию к жене доктора, и сейчас же это выразилось в том особенно дружеском тоне, в котором он обратил к хозяину дома свою просьбу:

— Вот что, батенька вы мой доктор! Хочу я, чтобы вы меня маленько пощупали.

Доктор пошуршал ладонями, подсучил немедленно рукава толстовки и улыбнулся в усы своей котовьей улыбкой.

— Это нам, что молодцу жениться.

Совершенно уверенный в своем крепком здоровье, Мнюх снял рубашку и выпятил грудь, поросшую волосами, как яблоновый ствол серо-зеленым лишаем. Он выполнял требования доктора священнодейственно, соблюдая полное спокойствие, и только когда шершавая рука доктора залезла ему под последнее ребро, скривил губы, но промолчал.

— Так, так... Маленькая ощутимость...—обрадовался доктор и с особенной энергией приступил к животу Мнюха, и пальцы его стучали по нем так, как стучит нос дятла по коре сухого дерева.

— Ну что, хорош?—спросил Мнюх.

— Пустяки-с, пустяки-с, — басил доктор, соображая о тех намерениях, какие вынудили Мнюха прибегнуть к освидетельствованию.

— Вы мне, этак, на бумажке начертите о своих заключениях, — попросил Мнюх и почертил пальцем по воздуху. — И с печатью.

— И с печатью,—пошутил доктор и широким бабьим задом впятился в соседнюю комнату искать у жены свою ручку, которою она утром писала родителям извещение о том, что в недалеком времени собирается родить, и если будет сын, то хочет поручить его высокому покровительству Федора Стратилата по семейной традиции его отца — доктора Федора Федоровича Стратилатова.

— Чорт его знает, зачем это ему нужно? Здоров как бык,—пробурчал Стратилатов, пробуя на ногте перо.

— Чтобы продлить отпуск. Определенно,—сейчас же догадалась его жена, и доктор в благодарность старшему

бухгалтеру табачного треста Семену Семеновичу Мнюху, который частенько делал ему законные попущения при выписке денег за ночные выезды к больным служащим, написал распространительное свидетельство и приложил печать.

— Ну что-ж, небось расписал, батенька, каков я есть? — спросил Мнюх, повеселев от рюмки домашней «вишни».

— Да ведь у нас уж свой язык — медицинский, как требуется по форме,—увильнул Стратилатов.—А в общем никаких излишеств, и сто лет жизни! — крикнул он вдогонку Мнюху, проводив его за калитку, и долго смотрел, как он заплетисто и тяжело двигался по улице, пыля ногами, растопырив руки и размахивая палочкой, словно это не человек шел, а тащили за веревку макушку сухостойного дерева. «Здоров и тяжел, как бык»,— подумал Стратилатов и пошел допивать в одиночку свою «вишню». Но Мнюх чувствовал себя легко и склонен был к необычайным поступкам. Когда они шли с Лидией Николаевной из ЗАГС'а, он осмелился даже слегка приоткрыть завесу своей глубочайшей тайны и рассказал ей о своем посещении доктора и даже то, что просил его письменной экспертизы, но истинные причины такого поступка почел за нужное скрыть до полного завершения задуманного дела и предподнести страховой полис в виде неожиданного сувенира в Москве.

Воспользовавшись переходом через улицу, Лидия Николаевна взяла его под руку и плотно прислонилась к его плечу. Она вполне одобрила поведение Мнюха, полагая, что лишний раз сходить к доктору никогда не мешает, так как все человеческое счастье заключается в здоровьи, что, по ее мнению, впервые очень доказательно стали проповедывать большевики, с которыми она в этом отношении была совершенно согласна.

— Здоровый дух в здоровом теле. Возразить ничег
невозможно,—подтвердил Мнюх и выпятил грудь так же
как выпячивал на кушетке у Стратилатова. — Отец мой
болел сахарной болезнью, а я вот, как видите, ничего
себе...

— Даже очень ничего,—блеснув мышиными глазками
сказала Лидия Николаевна, и они обменялись с Мнюхо
для всех незримой лаской. Он прижал ее пухлую ру
к своим крепким ребрам, а она его локоть к свое
мягкой груди, отчего она едва взволновалась и опи
зыбуче растеклась под зеленой креп-де-шиневой блузко
на которой был изображен ее собственным рукоделие
фиолетовый паучок.

Свадебное торжество было решено отложить до пр
езда в Москву, а потому, ограничившись обедом и
четырех блюд на веранде летнего клуба и двумя кру
ками пива в ресторане, где пел цыганский хор
управлением Артура Казеллы, новобрачные разлучили
до завтра, чтобы раньше встать и не опоздать на
роход, тем более, что поздно вечером Лидия Николае
Мнюх не хотела появляться на улицах Казани, опаса
мести своего бывшего жениха, который после отка
ему в свидании, по слухам, ушел куда-то из до
в весьма небрежном костюме.

Помечтав в полуобнаженном состоянии о некотор
соблазнительных предметах и собираясь лечь спа
Мнюх счел вполне своевременным прочесть свидете
ство Стратилатова, хотя заранее знал, что оно ни
не прибавит к тому, что он сам знал о самом с
Почерк Стратилатова оказался неразборчивым, с
без концов, с какими то хвостиками и точками, как
шут доктора, которые на всю жизнь ограничили
грамоту только написанием аптечных рецептов. Но
больше Мнюх вникал в их смысл, тем мрачнее ст

вилось его лицо. Наконец, он тяжело встал, поддерживая локтем подштанники, поднес к лампочке дрожащей рукой свидетельство Стратилатова и читал его до тех пор, пока не почувствовал слабости в ногах, и опять опустился в кресло. В голове все перепуталось: невроз... cord... вздутие... anaemia... селезенка... ощутимость печени... catarrhalis... головные боли...

Мнюх почувствовал, что у него действительно болит голова, ноет сердце и жжет под ложечкой.

4.

Ночь миновала совершенно неблагополучно. Мнюх ворочался, искал насекомых, скидывал с себя номерное одеяло, пока, наконец, совсем от него не отграничился, запихав его в угол кровати, ходил босиком по полу, прозябал, дремал, сидя в кресле, и засыпал, прикрывшись пиджаком, но пробуждение было еще ужаснее, сердце билось и в ушах гудело так, что он долго не мог понять, что за странные звуки, похожие на театральные аплодисменты, раздаются за его спиной, когда он ходит по номеру, и только при самом уходе из гостиницы, когда корридорный доложил ему, что внизу на извозчике дожидается его «вчерашняя» гражданка, Мнюх, ощупывая по привычке все свои карманы и спереди и сзади, поймал себя за подтяжки, которые он забыл накинуть на плечи.

— Возможное дело, — ухмыльнулся корридорный.

— Но только не ваше! — рассердился Мнюх и сунул ему вместо полтинника — четвертак.

С любовною укорою за его промедление Лидия Николаевна покачала головой, сняла с сиденья пролетки два больших узелка и навалила их на колени Мнюха, отчего ему стало душно и нехорошо.

— Здрасьте — здрасьте! — шепнула она и подставил руку для поцелуя.

— Не сразу же,—сказал Мнюх, но его мрачные слова не дошли до сознания счастливой новобрачной. Лицо ее в этот миг изображало полное смятение и нечто похожее на стон сорвалось с густо напомаженных губ,—она забыла уложить тот самый эмалированный чайничек, в котором в детстве кипятили ей молоко и который она предназначала для варки утреннего кофе Семена Семеновича.

Мнюх спихнул с живота узелок, в котором гремела кухонная посуда и мешала ему под фартуком извозчичьей пролетки считать пульс.

— Мне кофию нельзя, кажется... У меня, сердце-сердце, — изливая всю жалость к себе за дурно проведенную ночь, сказал Мнюх, но и это ускользнуло от слуха его супруги. Она откинулась головой в опущенный верх пролетки и трагически прошептала:

— Смотрите, он раздет... Гоните извозчика... он застрелится... Мой жених...

Мнюх без особого труда догадался, где находится его несчастливый соперник, так как на улице, кроме него, не было ни одной живой души, и он вряд ли мог в ту минуту похвастаться присутствием в себе такой высокой особы, потому что еле держался на ногах и порывисто отклонялся от своего пути закрыв глаза и засунув палец в верхний карман жилетки, единственного, помимо трикотажных кальсон, одеяния, которое прикрывало его тощее тело. Когда супруги Мнюх поравнялись с ним, он остановился, задержанный на месте противными течениями казанского буйного ветра, и даже сделал несколько шагов назад, так что это неожиданное и весьма неприятное зрелище недолго печалило Лидию Николаевну, и вскоре она оправилась от испуга и свободно вздохнула:

— Вам лучше было знать, чем кончится отказ вашему жениху, — с холодной наставительностью сказал Мнюх, насчитавши сто десять ударов пульса.

И еще несколько раз в быстрой смене горечи и веселья лицо ее мрачнело и прояснялось и, наконец, стало безоблачно ясным, когда извозчик остановился у пристани, и она торопливыми движениями принялась навьючивать Мнюха узелками и пакетами, в которых везла свое девичье имущество. Но Мнюх опять пожаловался на свое ужасное состояние и впервые за всю свою жизнь нанял носильщика и так неумело стал распоряжаться его поступками, что немедленно и очень ласково был отстранен от этого дела просьбою ознакомиться в рубке с дежурною карточкой блюд.

Меню совершенно неудовлетворило Семена Семеновича. «Щи с барашком» — были тяжелы, «свинина соус капуста» — еще тяжелее, «осетрина по русски» — мало питательна, «беф а ла глоп» — совсем непонятно, «гурьевская каша» никак не прозвучала для его желудка, и он обратился к прейс-куранту, но первая же цифра — «3 руб. 50 коп.» — сразу ему не понравилась. Мнюх безо всякой мечтательности проглядел еще несколько страниц. И тут в первый раз за все эти лучезарные дни он произвел подсчет истраченным суммам. В точности до одной копейки они разбежались в его голове налево и направо, а остаток столь явственно лег перед его глазами на блестящую поверхность тарелки, что он не удержался и обвел цыфры дрожащим пальцем. Остаток поверг его в глубокие размышления о том, что он теперь не один, а с законнейшей супругой, и опять полетели цыфры налево и направо, и выросло перед ним «итого» и поразило больше, чем некогда поразило «итого» растраты главного кассира Табачного Треста. Это слово было ужасно тем, что его буквы стали непомерно

выростать и как будто даже одушевляться: «г» вытянулось в вопросительный знак и стало похоже на помощника Попова, три «о» невероятно потолстели и так сдавили «ш», что оно опрокинулось и, заболтав тремя ножками, полетело вниз, в темную пропасть расходов, хлопот и болезней, которые неожиданно, но несомненно верно были обнаружены доктором Стратилатовым в организме Мнюха. Семен Семенович почувствовал неловкость в левом боку и закрыл глаза, чтобы внимательнее прислушаться к тому, как работает сердце, но в окно пароходной рубки просунулась рука, благоухающая «пармской фиалкой», и он вдруг и не без приятности ощутил на своих губах холодок только что вымытой ладони.

— Целуйте ручку и скажите: «мерси, мадам» за то, что она сделала вам постельку, — нарочито громко сказала Лидия Николаевна, заметив, что пассажиры обратили внимание на ее необыкновенно изящное ситцевое белое платье, на котором было двадцать две черных оборочки и два розовых банта: на груди и там—сзади, где портнихи имеют обыкновение каким-нибудь искусным пустячком либо подчеркнуть невероятную пышность форм, либо сделать нечто такое, что оставляет касательно их для мужского взора только легкое и приятное подозрение.

— Что мы будем кушать, старичок?

— Я бы съел яичко в смятку,—робко ответил Мнюх, но супруга его так убедительно одобрила объявленное на обед меню, что Семен Семенович слегка оживился и даже почувствовал, как в желудке его начинают образовываться приятно посасывающие пустоты, требующие немедленного заполнения, и он съел щи с барашком и прочие блюда, а гурьевскую кашу в двойной порции, но когда он доедал пенку, ему вдруг показалось, что на зубах его хрустнула муха, и весь обед был испорчен.

Чтобы не думать о гибельных последствиях такого неприятного случая, Мнюх решил прилечь и постараться поскорее заснуть. В каюте было тесно от узлов и чемоданов. Для успокоительного полумрака Лидия Николаевна опустила на окне деревянную штору и Семен Семенович почувствовал, что ему не хватает воздуху, и без всякого довольствия стал раздеваться, хотя постели Мнюхов имели крайне домашний и уютный вид по случаю того, что сверх большой подушки каждому была положена «думка» и накинута тюлевая покрышка с паучками, а на полу в ногах друг против друга были поставлены туфли: казанские разноцветной кожи и брезентовые с войлочной подошвой, и наконец, около последних жестяная плевательница, как безусловно мужская принадлежность. Чтобы не гнуться и не делать излишних движений, Мнюх, разуваясь, уперся левым носком в правыей каблук, и ботинок на тугой резинке надулся и, чмокнув так, как чмокает младенец, когда у него изо рта вытягивают соску, повалился на бок, и сам Мнюх, изобразив губами точно такой же звук, точно так же повалился на постель, испытывая тяжкое бремя обеда и сердцебиение. Еще раз стало очевидным, что доктор Стратилатов прав: у него болезнь сердца, и если она окажется хронической, то получение страхового полиса на пять тысяч рублей почти невозможно. Семен Семенович закрыл глаза и упорно молчал. После минувшей ночи он не находил ни слов, ни темы для бесед со своей супругой, которые он вел прежде с необыкновенным искусством и с такой большой охотой, что иногда даже переступал границы позволенного и однажды в приливе откровенности, которая обнаруживается в мужчине тогда, когда он совершенно овладеет сердцем женщины, рассказал ей о том, как он влюблен был в жену своего приятеля и украл у нее

носовой платок. А теперь, казалось, какие могут быть
разговоры, когда потеряна вера в здоровье, в безоблач-
ное будущее, в почтенность семейной жизни и в те
пять тысяч рублей, которые уже несомненно были уго-
тованы ему в страховой кассе, и он даже знал, как они
значились бы в бухгалтерских книгах. Открыв один
глаз, Мнюх глянул на свою супругу, но уже не было
в ней прежней обольстительности. От большого куска
шоколаду, который она держала во рту и старалась
размять языком, на щеках ее образовалась детская при-
пухлость, и так стало ее жалко, что он предпочел из
избежание лишних сердечных волнений, повернуться
на другой бок. Но, наконец, сон его одолел, и по каюте
распространились звуки, похожие на бурное клокотание
которое вылетает из носка чайника, когда он начинает
закипать на плите. Лидия Николаевна тоже заснула и в
сне счастливо улыбалась, ибо никак не могла знать,
что супругу ее снится человек в брезентовом пальто
по имени Иван Иванович Склеп, и что сон его от этого
видения, разумеется, крайне тяжел. Но и пробуждение
было нелегкое. Под ложечкой горело, а на языке, кога
Мнюх поглядел на него в зеркало, была желтая жирна
корка, как на простокваше, которую подают в граненых
стаканах в вегатарьянских столовых. Все тело от духоты
раздрябло и желтая зефировая рубашка, как кожа на
ощипанном гусе, сползла с груди и налипла мокрыми
складками на боках и спине. С трудом натянув на се
пиджак, Мнюх, шатаясь, вышел на палубу в ночных
туфлях и без воротничка, изменив своей галантно
привычке всегда быть на людях не только в приличном
порядке, но и даже с некоторыми изящными подробно
стями в костюме,—в пестром кашколе, небрежно нак
нутом на шею, с зеленым платочком или с золотым
самопишущим пером в боковом кармане. Он это дела

исключительно повинуясь врожденной тонкости чувств, совершенно не подозревая, что эта мода привезена к нам одним молодым русским писателем-путешественником, который проехал всю Европу, познал грозную прелесть океанических волнений, лазурь Адриатики и блеск парижских кафе и все это запечатлел своим бисерным почерком на блокноте, а теперь томится на Сивцевом Вражке, как тропический цветок за морозными стеклами северной оранжереи. И мог ли гражданин Мнюх понять, в каком непристойном для себя виде он появился перед пассажирами, когда он вообще ничего не понимал ни в том, что с ним случилось, ни в том, что творится на пароходе. Солнце до рези в веках слепило глаза и припекало затылок, словно его с силой прижали к знойной печке, ноги дрожали и сердце стучало так, что в ушах барабанные перепонки гудели. Мимо него бежали куда-то люди с чайниками, с кастрюлями, с крынками молока и жаренными цыплятами. Пароход стоял у пристани.

Молодая супруга нашла Мнюха, сидящим на корме у столика в чрезвычайно распущенном виде и ахнула. Колечки его усов, размокшие в нарзане, прилипли к щекам, лицо осунулось и потемнело.

Мнюх устремил на свою молодую супругу ничего не видящий взор и глухо сказал:

— Из Самары мы едем в Москву поездом.

5.

Если бы не котиковая шапка с вытертым рыжим боком, которую знали не только все обитатели нашего дома, но и в раздевальнях всех тех учреждений, куда относился с делами Табачный Трест, то было бы совершенно невозможно разгадать в тощей фигуре чело-

века, в просторной шубе, с поднятым воротником и при
палочке с резиновым наконечником—бухгалтера Семена
Семеновича Мнюха, стоящего у трамвайной линии А,
шагающего в стройной колонне сослуживцев на пере-
выборы в советы или медленно поднимающегося по-
лестнице, в свою квартиру, на Собачьей Площадке. Точно
так же, кто бы мог узнать в непомерно обширны
формах, сливающихся под каракулевым саком в полную
бесформенность, прежнюю легкую грацию гражданки
Мнюх. Если эта супружеская пара запечатлелась у кого-
нибудь из казанских жителей в воспоминаниях о прошлом
лете, то ему не следует искать их встречи. Иначе он
будет положительно потрясен. Но в Москве, как известно,
можно человеку нос откусить и не успеть еще выплю-
нуть его на мостовую, как это известие облетит весь
город, и если человек с откушенным носом окажется
значительной личностью, то уже на другой день в ви-
тринах будут висеть его фотографические карточки
рядом с ледоколом «Красиным» и Качаловым, и все
к этому событию привыкнут и перестанут удивляться.
Такова уж необыкновенная подвижность и впечатлитель-
ность наших московских журналистов. С точно такой же
стремительностью было «тиснуто» нечто новое о жизни
бухгалтера Мнюха в стенной газете Табачного Треста
под очень веселым заголовком «Пара слов о Волге»
и все привыкли и перестали удивляться.

Наступал конец февраля месяца, и в душе Мнюх
наростало то чрезвычайное напряжение, которое бывает
перед великими семейными событиями: Семен Семенович
Мнюх через неделю кончал свое лечение чесноком,
средством, привезенным из Германии в наш Союз бывшей
генеральшей Тутолминой, и так же через неделю Лидия
Николаевна должна была разрешиться от бремени вполне
ожиданным и желанным первенцом. Вернувшись со

службы, Мнюх на некоторое время задерживался в передней, чтобы уловить биение своего сердца и проверить, насколько влияет на него подъем по лестнице, и прислушаться к тому, что делается в комнате его супруги. В этот час она имела обыкновение беседовать с акушеркой Потылихой о самых тончайших подробностях своего положения и, отпустив ее, входила в комнату супруга пригласить его к обеденному столу и сообщить некоторые новости.

— Такое же красное пятно на руке, как у меня,— таинственно говорила она,—было у жилицы дома № 15 за пять дней до родов.

Мнюх выслушивал ее с большим любопытством, так как полагал, что главное внимание при рождении человека должно быть обращено на болезнь матери, и до того впечатлялся этими рассказами о редких случаях в акушерской практике, что совершенно явственно начинал ощущать в своем животе какое-то особенное томление, тошноту и даже колики.

— Не надо, не надо, — останавливал он супругу, зажимая ладонями уши и размышляя о своих собственных болезнях. Погруженный в эти мысли он сидел в углу дивана неподвижно и безмолвно, и чем меньше оставалось дней от этой выжидательной недели, тем больше отдавал он времени таким одиноким размышлениям. Не было никакого сомнения в том, что средство генеральши Тутолминой совершенно чудодейственно, а потому надо было решить, идти ли завтра к страховому доктору и, получив от него свидетельство о весьма удовлетворительном состоянии здоровья, выправить себе давно желанный страховой полис на пять тысяч рублей или подождать. Если бы не фигура воображаемого доктора, которая напоминала казанского агента Ивана Ивановича Склепа, то об этом счастливом часе было

так же приятно мечтать, как и о том часе, когда на письменном столе будет поставлен для обозрения портрет жены, пестующей ребенка в нарядном чепчике, и минует тяжкое время ожидания человеческих мук, стонов и криков, чего он никак не выносил, у него даже от собачьего лая учащалось сердцебиение.

Предавшись головокружительным мечтам, 29 февраля, в число высокосное, Мнюх бодро и уверенно, не отдыхая ни на одной площадке, поднялся к себе на четвертый этаж и нажал в шестой раз кнопку, чтобы дать последний продолжительный звонок, как вдруг распахнулась дверь и вышла его супруга, поддерживаемая под руки Потылихой и прислугой Аксиньей. Как только она увидала Мнюха, ноги ее подкосились, голова беспомощно заколебалась, и лестницу огласили крики чрезвычайно страдающей женщины:

— Умираааю!.. Разрываааюсь!.. Спасите!..

Мнюх был ошеломлен. Он вбежал в квартиру, на раздеваясь бросился на диван и закутал голову воротником шубы, но криков жены не могли заглушить ни стены, ни воротник. Семен Семенович даже ноги под себя поджал, будто опасаясь, что и полы вздуются, как живот роженицы и начнут вопить. Руки Мнюха похолодели, по спине пробежал озноб, и когда он охватил все тело, больше не было сил терпеть, и уткнувшись головой в угол дивана, Семен Семенович заохал и стал сучить ногами, а из кармана шубы вывалились анкеты для страхующих свою жизнь и разлетелись по комнате.

— Я не могу заседать,—прохрипел Мнюх, увидавши в дверях Аксинью с какой-то бумажкой, но вдруг, путаясь в шубе, кинулся с дивана, выхватил у нее конверт и, когда прочел записку, ослаб, опустился на кресло у стола и, улыбнувшись растерянно, сказал:

— Я... родила...

Били часы, гудели за Москвою-рекой заводы на смену, Аксинья собирала по полу анкеты, опускала шторы, а Мнюх все еще пребывал в чрезвычайном состоянии. Лицо его было вполне серьезно, но на его запекшихся губах пробегала улыбка, словно к ним подносил кто-то карманный электрический фонарик, зажигал его и опять тушил. Наконец, Семен Семенович встал, взял карандаш и в откидном календаре, на том самом числе, где был отмечен конечный день лечения чесноком, записал:

«Родился сын Семен, росту в длину
$7^1/_2$ верш., а шириною 3 верш., в
6 час. 21 мин. пополудни».

Положив на надлежащее место карандаш, Мнюх достал сантиметр и, обозначив на листе бумаги размеры сына, сообщенные ему в записке, умилительно улыбнулся и с этой неизменно блуждающей на лице его радостью пребывал весь срок девятидневного одиночества, ходил на службу, проверял пятилетку треста, высчитывал потребность населения в табаке и восхищался большими цифрами, хотя сам никогда не курил и даж боялся табачного дыма, увидав однажды, как мальчика стошнило от теткиной папиросы. В день возвращения супруги из родильного приюта Мнюх, чтобы не беспокоить ее звонком, через черный ход прошел на цыпочках в свою комнату, переоделся в сюртук с атласными бортами и умиротворенно дождался того момента, когда Потылиха принесла к нему сына, положила на диван и раскинула на нем одеяло и пелены. Мнюх совершенно умилился и даже съежил губы, чтобы ласкательно ими чмокнуть, но когда желто-красное тельце его сына, сморщенное в глубокие складки, зашевелилось и слабенько запищало, он отпрянул от дивана:

— Унесите от меня этого...

Семен Семенович в страшном волнении запнулся, несколько раз беззвучно разинул рот и, брызнув слюной, со свистом прошептал:

— Пискунщщщика... — и вдруг неистово крикнул: — я не люблю!..

— Бесчувственные мущины, — равнодушным басом сказала Потылиха и, унося ребенка, прошлепала туфлями из кабинета, и Мнюх не успел ее догнать и уже в пустую темноту корридора, пропахшую карболкой, прохрипел:

— У меня болит сердце...

Семен Семенович вернулся к своему столу, поглядел на срочную смету, в испуге сбросил со счетов 250— сумму ежегодных взносов по страховому полису, прижал к листам, и залязгали костяшки единиц и десятков и по- жрали они друг друга, но выскочили тысячи и набро- сились на десятки и сотни тысяч и пожрали их, и выскочили миллионы, и на них замер скрюченный палец Мнюха, — опять было 250.

У старшего бухгалтера табачного треста в первый раз не сошелся баланс, и когда на утро к его служебной конторке подошел помощник бухгалтера Попов, который больше всех смеялся над женитьбою Мнюха, доказавшей необыкновенную романтичность его натуры, Семен Се- менович утомленным голосом сообщил ему чрезвычайно неприятную для него новость о том, что его новорож- денного сына тоже зовут Семеном.

ВЕРА ИЛЬИНА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «ЛИРИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК».

1.

Еще и нет весны. Но я, ее певица,
за шорохом снегов и за дыханьем бурь,
слежу ее шаги,—встревоженная птица,—
и пробую крылом упругую лазурь.

И солнце не дошло. И воды не пробили
сквозь матовый хрусталь плененные струи.
Но сердце и не ждет весенних изобилий
и песни, как разлив, безудержно стремит.

Сквозь мартовскую хлябь,—пернатым пионером,
грачиным вожаком,—прорвавшись в синеву,
я вновь, пьянея, пью расплеснутый без меры,
никем незримый май и грежу наяву:

Земля как дикий сад, как рай благоуханный
в невянущих кустах нетленно-юных роз.
И теплый блеск весны, как в древности туманной,
стекает на поля по бархату борозд.

И в этот птичий бред на зло последней стуже,—
а стужа где-то есть, стучит и бьет клюкой,—
горячая как кровь, и сладкая, как ужас,
извечная любовь низринулась рекой.

1928.

В испещренный вставками календар
Счастья преждевременно вставляется л
сток, вырванный из другой главы.

Марсель Пруст.

2.

Поскрипывает снег сухим и тонким хрустом...
По зимнему легка и безтелесна даль...
И вдруг, — о, власть мечты! — прозрачный, ка
хрусталь,
залиловеет день медлительно и густо.

На москворецких льдах проступят полыньи,
И черный след саней, с краями полный влаги,
растекшись у застав, как росчерк на бумаге,
в просторы позовет и ветром полонит.

Весна, опять весна!.. По мерзлой мостовой
в ее веселый дол, визжа, ползут трамваи...
Последний поворот...—И юные, как в мае,
бульвары зашумят безлистной головой.

Заплескан синевой и капель дробью мерной,
весь город поплывет, плескаясь и журча.
И вымысел весны,—как счастье достоверный,
смешает все часы в один блаженный час.

1928.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

ЛЮДИ

ЛЮДИ

РАССКАЗ

1.

Инженер Яков Борисович Зильберов сидел в своем номере у окна, затененного прозрачной гардиной, смотрел на улицу и слушал гул далеких выстрелов. На улице было безлюдно. И фонари, ярко горевшие вдоль тротуаров, еще сильнее подчеркивали это безлюдие. Жутко было видеть улицу пустой, когда обычно в этот час она бывала переполнена нарядным веселым народом.

Какое безумное время!

Еще вечером было так спокойно, и всюду толпились люди. И вдруг—тах! винтовочные выстрелы, убийства, кровь... Кто-то большой-большой точно помелом в один момент вымел улицы, погасил веселый гомон и смех. Нарядная говорливая толпа в паническом ужасе убежала с бульваров, улиц и площадей, и теперь всюду было пусто и тихо. Даже трамваи не ходили. Даже извозчиков не было!

Большие стенные часы в корридоре пробили одиннадцать. Только одиннадцать?.. В этот час Яков Борисович любил тихонько бродить по улицам, в одиночку, заходить в кафе, присматриваться к женщинам, в которых он знал толк, и, выбрав одну, вежливо и осторожно преследовать ее. Сегодня особенно хотелось побродить.

Но вот эти проклятые выстрелы... Сиди теперь один
Жди. А чего? Чорт знает...

Через открытую форточку было слышно, как где-т
в центре города гулко ахали выстрелы, долго перека
тывались по пустынным улицам, замирали и снова вспы
хивали. Они точно перекликались. Потом близко в тихо
улице защелкали копыта лошади, к парадной двер
гостинницы кто-то под'ехал на извозчике, а через три
минуты хлопнула дверь соседнего номера, в котором
жила певица из «Сан-Ремо» Голубицкая.

Яков Борисович удивился: неужели певица так ран
вернулась? Значит, и у них смятение, в этом всегд
пьяном и веселом «Сан-Ремо». «Разве к ней пойти п
старой памяти»? Раздумывая, Яков Борисович вышел в кор
ридор, тихий и пустой, с полом, сплошь закрытым ши
роким темным ковром. Дверь номера певицы была при
отворена, и оттуда, из глубины, слышался тоненький
жалобный, беспомощный плач. Яков Борисович толкну
дверь и вошел в темный номер.

— Ирина Васильевна, что с вами?—негромко спроси
он, останавливаясь у двери и не зная, куда в тем
ноте идти.

Плач прекратился, но никто не отозвался. В номер
пахло духами и холеной женщиной. Яков Борисович
в темноте отыскал выключатель, осветил номер. Певица
лежала на диване, спрятав лицо в подушку. При свет
резко бросилась в глаза необычность ее костюма,—он
была одета для выхода на сцену—в коротенькой юбочк
в платье с блестками и с открытой спиной, грудью и
плечами. Стройные крепкие ноги, обтянутые трико те
лесного цвета, были открыты выше колен. Яков Бори
сович дрогнул.

— Голубушка, что с вами?—проговорил он, наклоняя
над певицей и жадно вдыхая запах ее волос.

Певица подняла голову. Лицо у нее все было смочено слезами, нос покраснел, губы потеряли очертания.

— В чем дело? Откуда эти слезы?—мягко спросил Яков Борисович, стараясь заглянуть ей в глаза.

Жалобно, дрожащим от слез голосом, точно маленькая обиженная девочка, певица рассказала о своем горе. Ее напугали. Какой-то дурак во время ее выхода, когда уже был поднят занавес, вбежал в партер и заорал: «на улице стреляют». Публика в ужасе бросилась к выходу. Началась давка, истерические крики. Бежали из сада все, даже горничные... А домой она ехала одна и все боялась попасть под выстрелы.

Рассказывая, певица тихонько плакала. А Яков Борисович нежно гладил ее руку и вкрадчиво говорил:

— Ну, теперь вы дома и в полной безопасности. Не надо больше плакать.

И чтобы развеселить певицу, он шутовски тряхнул головой, взмахнул руками и тенорком запел:

Полно, милый друг,
Забудем о жизни тяжелой!

Певица улыбнулась, а через минуту, уже вертясь перед трюмо, поправляла прическу, пудрила нос, подпевала гостю:

Дай, милый друг, на счастье руку,—
Бокалов звон разгонит скуку!

Большая, с широкими бедрами, высокой вздрагивающей грудью, она привычно красиво покачивалась перед зеркалом и подпевала. А Яков Борисович стоял позади нее и плотоядно улыбался. Был он маленький, с реденькими гладко причесанными волосами, сытым, немного заплывшим лицом, но ловкий, подвижной, с маленькими руками и ногами.

— Право, какое нам дело до бунтующих товарищей?— сказал он, держа певицу за локоть,—ни меня, ни вас это не касается. Не будем же унывать.

— Ах, правда. Чорт их возьми!.. Пусть стреляют,— сказала певица и смешливо махнула рукой.

— Вот так! — засмеялся Яков Борисович. — Чорт с ними!

Уже весело разговаривая, смеясь, они пили кофе, которое талантливо сварил Яков Борисович на спиртовке, потом пили коньяк, слушали треск далеких ружейных выстрелов, все еще гремевших в городе, и лишь под утро заснули в одной постели немного пьяные и утомленные ласками.

2.

А едва забрежился свет, утром, на тротуаре под самыми окнами грохнули выстрелы. И так неожиданно и громко, что оба—певица и Яков Борисович—разом поднялись в кровати и сели, тупо посматривая один на другого.

Трах-трах!—прогрохотало на улице.

Где-то недалеко звенели разбитые окна и слышались резкие крики. Певица в ужасе откинулась на подушки и натянула на голову одеяло.

— Что-ж это такое?—забормотал Яков Борисович.

Он перешагнул через певицу, босой прошел к окну, глянул на улицу. Против дома, на углу, прямо под окнами стояли солдаты — человек восемь. Прячась за крыльцо гастрономического магазина, они стреляли вдоль улицы.

День начинался серенький, полный тумана. Солдаты виднелись неясными пятнами. Улица была совсем пуста, и только по бульвару бежали какие-то люди с белыми узлами на плечах. Яков Борисович осторожно протянул из-за простенка руку и открыл форточку. Грохот волной ворвался в комнату.

— Ого. Вот так стрельба. Послушайте-ка.

Солдаты под окнами вдруг резко закричали и торопливо начали стрелять, точно отбиваясь от наступающего врага. Яков Борисович отбежал от окна. Маленький и круглый, он забегал из угла в угол, как биллиардный шар, собирал одежду, разбросанную по комнате.

— Вы... вы куда же?—забеспокоилась певица и опять села в постели.

— Собирайтесь скорее. Там что то серьезное началось,—холодно ответил Яков Борисович, натягивая панталоны. Лицо у него было растерянное, бледное, а реденькие волосы, обычно причесанные гладко-гладко, теперь торчали в разные стороны.

Певица перепугалась и нагая, с растрепанной и свалявшейся прической—заметалась по комнате, хватая со стульев и дивана белье, и растерянно стонала:

— Господи, да что же это такое? Господи, помоги!

Яков Борисович поморщился и уже с отвращением посмотрел на ее голые круглые бедра, когда певица наклонилась, чтобы поднять с полу чулки,—точно об'евшийся смотрел на осетрину.

Накинув пиджак, он торопливо пошел к двери.

— Постойте, а я-то как же? — сердито остановила его певица, натягивая чулки.

— Да вы же у себя. Чего вам еще надо?

— Но... но мне страшно! Не уходите. Вы со мной должны быть!

— Никому ничего я не должен! — с раздражением ответил Яков Борисович. — Собирайтесь скорее. Я к себе...

И торопливо вышел. Певица закричала сердито.

У двери Яков Борисович столкнулся с корридорным Петром, который куда-то поспешно шел с серым чемоданом в руке.

— Спасайтесь, господин Зильберов!—на ходу крикну Петр.—Беда пришла.

Яков Борисович оторопел от неожиданности, он хоте спросить, в чем дело, но Петр переложил из одной ру в другую чемодан, побежал дальше. Где то внизу хл пали двери и чей то резкий голос кричал:

— Иван!.. Иван, чорт бы тебя подрал!.. Ива-ан!

По лестнице бежали вниз незнакомые люди, должн быть жильцы из других коридоров.

А выстрелы на улице гремели беспрерывно и где-т близко работал пулемет — холодно и размеренно,—ка большая швейная машина:

— Та-та-та-та-та-та.

Плохо понимая, что нужно делать, еще не просну шийся, как следует, с туманом в голове после бурн ночи, Яков Борисович опрометью побежал по лестни вниз. А навстречу снизу, по лестнице шел, тороплив переставляя ноги, похожие на тумбы, швейцар Никола толстый, большой, с маслянистым лицом. На лбу и в бритом подбородке у него блестел пот, глаза бы круглые, бессмысленные, а щеки тряслись, как же Яков Борисович глянул на него и остановился испуган

— Ты?.. Ты что?

— Дверь разбили. О-ох... пулями. Убили Влас Ку мича. Там внизу лежит,—задыхаясь и хватая ртом возд простонал Николай.—Бе-бежать надо...

Он—швейцар Николай,—был всегда величествен важный, неповоротливый, равнодушный. А теперь ст пугающе новый—страшный, с хрипом в горле.

Внизу ахнул выстрел, с треском посыпались стек в ушах зазвенело:

— Дззз!..

Показалось, что там уже ломают двери, громят, зут... убийцы... сейчас вбегут сюда.

Яков Борисович вскрикнул, опрометью бросился назад и долго метался по корридорам, отыскивая, куда бы спрятаться. Перескакивая через две ступеньки, рискуя сломить и ноги и шею, он бежал по лестнице дальше, ниже, бежал бессмысленно и очнулся лишь в подвальном этаже, в кухне...

3.

Дом, в котором помещались номера «Рим», был новый, со всевозможными удобствами, но кухня имела сводчатые потолки, сильно закопченные, и маленькие окна в уровень с тротуаром. Окна выходили во двор.

Номера были дорогие, тихие и уютные, и люди в них жили интеллигентные, жили подолгу,—инженеры, артисты, присяжные поверенные, помещики. Случайных жильцов было немного, и для них отводился только нижний этаж.

Немного успокоившись, Зильберов огляделся,—большинство из тех, кто сейчас был в кухне, с ним давно знакомы. Приват-доцент Бородкин — молодой человек чахоточного вида, похожий на Дон-Кихота. Актер Сторожев. Зубной врач Альперович всегда, даже теперь приятно улыбающийся. Адвокат Рыбин, одетый точно на бал. Отставной генерал Постников—злой, желчный старик, худой, с зелеными глазами.

Все сидели на широких скамьях, поставленных вдоль стен. А в глубине кухни, у широкой, холодной плиты ютились какие-то незнакомые люди, должно-быть, случайные жильцы из нижнего этажа,—молоденький священник с рыженькой бородой, тостая дама со свекольным лицом и с нею молодая бледная девушка,—ее дочь. Рядом с генералом Постниковым стоял швейцар Николай, пыхтевший, как паровоз, и вытирающий поминутно лицо большим клетчатым платком.

Голубицкая, небрежно одетая, с выбившимися локонами из-под черной, шелковой косынки, наскоро накинутой, стояла в углу, возле шкафа с кухонной посудой. Она растерянно смотрела на всех, — глаза у ней стали большие, лицо бледное.

Выстрелы и крики сюда долетали глухо, и всем казалось, что на самом деле здесь безопасно. Двери наверх в столовую и во двор—были затворены и заперты. Все молчали, прислушивались, что делается на улице и наверху,—у всех были очень серьезные лица и большие глаза. Даже Альперович теперь улыбался как-то криво и нельзя было понять, улыбается он или морщится от боли. Толстая дама тихонько стонала. Швейцар Николай шумно хрипел.

В напряженной тишине вдруг все услышали, что сверху кто-то быстро идет. Все насторожились,—шаги становились ближе, ближе, вот уже у самой двери, и раз—кто-то с силой толкнулся в кухню. Толстая дама тихонько вскрикнула, — все вскочили, суетливо побежали в угол подальше от двери. Яков Борисович нырнул в маленькую дверку, устроенную в переборке, за которой была кухонная кладовая. Стук в дверь повторился—сильнее:

— Отворите! Кто там запер?

Швейцар Николай замахал руками и захрипел задыхаясь:

— Это Василий, калидорный.

Генерал Постников подошел к двери, отодвинул засов. На пороге стоял малый в пиджаке, с фуражкой, лихо сдвинутой на затылок.

— А-а-а-а!—удивленно протянул он, глядя выпученными глазами на генерала и поспешно снимая фуражку. — А я прошел по всем корридорам и ни... никого.

Все тотчас поспешно подошли к двери. Генерал спросил:

— Ну, что там? Как?

Василий махнул фуражкой, засмеялся:

— Обыкновенно как... наши с русскими дерутся. Большевики отступили, а студенты с юнкерами подошли.

— Слава богу, — сказал с облегчением актер Сторожев.

Василий потупился, потом вдруг выпрямился и сказал задорно:

— Это еще неизвестно, чья возьмет. Похоже, большевики опять сейчас на наш угол будут наступать.

— А уйти-то отсюда можно?

— Куда там,—ни проезда, ни прохода. Так стреляют, аж в ушах гудёт.

— Ага,—насмешливо, резко, передразнил генерал.— Гудёт? Но как же нам от этой музыки избавиться?

— Не могу знать,—опять почтительно проговорил Василий.

— Вот что, господа, — сказал генерал, — нам надо пойти в комнаты, узнать... сделать разведку.

Все нерешительно переглянулись.

— Кто-же пойдет?

— Что-ж, я, пожалуй, пойду, — сказал актер Сторожев.

— И я.

Наверх пошли четверо: актер Сторожев, генерал Постников, доцент Бородкин и коррпдорный Василий. Коррпдоры были пусты, двери номеров там и здесь отворены, в верхнем этаже окна разбиты, ветер трепал занавески. Внизу тяжелая парадная дверь была отверена, прямо перед ней весь тротуар был усыпан битым стеклом. На тротуаре лежал человек: с лестницы были

видны его две ноги в полосатых темных брюках, в лако-
вых ботинках.

Из окон верхнего этажа актер Сторожев осторожно
выглянул на улицу, и в ту же секунду где-то близко
грохнул выстрел, окно над головой актера звякнуло,
актер скакнул прочь, опрометью пустился бежать по
корридорам и лестницам вниз, назад, в кухню.

Когда разведчики вернулись, актер Сторожев, жести-
кулируя, изгибаясь, принимая разнообразные позы, рас-
сказывал, как он высунулся из окна и как в него вы-
стрелили. «На полвершка пуля пролетела от головы».
Женщины смотрели на него с испугом.

— Вокруг дома никого нет, — неторопливо сказал
генерал, — но выйти нельзя: сидят где-то недалеко и
стреляют. Придется подождать ночи, может быть, уйдем
ночью.

— А убитый там?

— Там. Лежит на тротуаре.

— Боже, боже, что с нами будет? Неужели не уйдем
из этого ада?..

4.

Голубицкая весь день упорно держалась около Зла-
берова, будто прошедшая ночь крепко связала их. А Зла-
берову было совестно и досадно. Совестно, что в такое
страшное время упорно ходит за ним или сидит рядом
с ним певица из шантана, певица, которую все знают
и, может быть, догадываются, почему она держится
около него, а не около кого-нибудь другого. В промас-
ленном кухонном воздухе он ясно ощущал запах ее духов
и ее тела, но теперь его мутило от этого запаха. Певица
казалась ему существом нечистым, возбуждала глухую
непонятную злобу. «Вот привязалась, чорт бы ее побрал!»
Но внешне он был приветлив и предупредителен.

Вечером стрельба около дома прекратилась. Все на кухне стали понемногу успокаиваться. Даже помещица, все охавшая, уже спокойно говорила, в какую беду они попали. «Из имения, из Тамбовской губернии, от озверелых мужиков убежали, хотели в Москве спасаться, а вот какое дело то вышло, из огня да в полымя. Себя не жалко,—дочь жалко,—ребенок ведь еще».

И она посмотрела на девушку, стоящую около нее. Генерал сердито пробасил:

— Да, разбушевались товарищи. Вот к чему привела революция. Я всегда говорил, что добром дело не кончится.

— Пропала теперь Россия!—со вздохом сказал священник и погладил рыжую бороду.

— Она еще в феврале пропала,—отвечал генерал.

— Ну, знаете, это еще вопрос! — горячо возразил адвокат Рыбин. (Рыбин считал себя социалистом и целое лето выступал на митингах, как защитник нового строя).

— Никакого вопроса здесь нет,— запальчиво сказал доцент Бородкин.— Ясно, что народ наш не дорос еще до свободы. Дураку позволили играть с огнем. Свобода— это высшее благо, доступное лишь самым культурным людям, избранникам, а здесь всю свободу захватило определенно хамье, и вот вам результаты, — вот и сидите здесь с чемоданчиками.

— Однако, вы резки.

— А с нами-то, скажите, не резко поступают?

У Бородкина заблестели глаза, на щеках запылали красные пятна. Генерал одобрительно промычал.

— Затевать перевороты в такое время могут только безумцы или предатели! — сердито выкрикнул актер Сторожев.

(Эту фразу он слышал дней пять тому назад на митинге у памятника Пушкина). Рыбин воскликнул:

— Ну, знаете, не актерам разбираться в политике.

— А кому же? Аблакатам?—запальчиво спросил Сло-
рожев.

Заспорили все: адвокат, генерал, актер, помещик,
священник. Говорили о свободе, о погибающей России,
о дикости русского человека, и все сердились, каждый
хотел сказать умнее, а говорили теми безликими, за-
трёпанными фразами, которыми пишутся газеты.

Голубицкая нагнулась к уху Зильберова и тихонько,
чтобы не услышали другие, сказала:

— Не покидайте меня...— И тронула рукой его локоть.

Зильберов кивнул головой. Его раздражали и певица,
этот нелепый спор, затеянный адвокатом. Чтобы успо-
коить спорящих, он испуганно сказал:

— Слушайте, господа, слушайте!

Он поднял руку кверху и сделал большие глаза.
Уловка удалась: спор оборвался на полуслове, все испу-
ганно замолчали, прислушались. Где-то далеко гремели
выстрелы, кто-то кричал ура, а на дворе и наверху
в доме было тихо.

— Что вы?—сердито спросил генерал,—нет ничего,
а вы пугаете.

— Как нет ничего? Смерть кругом ходит,—успокоил
точно актер на сцене, сказал адвокат.

Они,—актер и адвокат,—смотрели один на другого
раздраженными, злыми глазами.

— Да, смерть ходит,—криво усмехнулся актер и тряс-
нул головой,—социалисты ее привели.

— Прошу вас выражаться точно,—раздельно отчека-
канил Рыбин,—смерть привели большевики, а не со-
циалисты.

— А не один чорт на дьяволе?

— Господа, перестаньте,—резко сказал Бородкин.—
теперь не время для споров.

Актер и адвокат отвернулись один от другого. Актер широким жестом достал из кармана портсигар, закурил. В кухне уже было темно, и в дальнем углу, где сидели Зильберов и Голубицкая, тени совсем слились. Священник долго смотрел в окно, о чем то думал, и, вздохнув, сказал вслух, ни к кому не обращаясь:

— Уже смеркается.

Все посмотрели на окно,—стена во дворе потемнела.

— Пожалуй, и света не будет.

— Был бы свет, пришлось бы потушить.

— Что же делать?

— А ничего не делать, ждать...

— Голубчик Василий,—простонала помещица,—сходи, пожалуйста, в мой номер, там наши шубы,— принеси их сюда.

— Да, да, да,—встрепенулся генерал,—в самом деле, надо приготовиться к ночи. Ты вот что, Василий, принеси шубы, а потом... впрочем я сам с тобой пойду.

— И я схожу,—сказал Бородкин,—пойдемте все, господа, заберем еду, вещи.

Крадучись, точно воры, пошли по корридорам—темным и пустым, ощупью искали двери, путались в переходах, говорили в полголоса, а с улицы долетал грохот близких выстрелов. Зильберов принес постель себе. Голубицкая, поджидавшая его, спросила тихо:

— А мне не принесли?

Зильберов также тихо, чтобы не слышали другие, сказал:

— Попросите Василия, он принесет всё, что вам угодно.

Голубицкая, точно ее ударили, вздрогнула, посмотрела на Зильберова долгим взглядом, отодвинулась и сказала громко и гордо:

— Ах, вот как? Тогда я сама пойду. Я сама принесу. Не безпокойтесь.

Судорожно кутаясь в платок, она быстро встала и пошла к двери.

— Куда вы?—громко спросила помещица.

Голубицкая не ответила, не оглянулась, вышла. Слышать было, как она поднималась по лестнице, постукивая каблучками.

— Вот,—простонала помещица,—вот, женщину отпустили прямо в пасть этим злодеям.

— Вы про кого это говорите?—спросил басом актер. Он расстилал свою постель на плите и шутил.

— Сами знаете, кто злодеи: большевики.

— Мама, перестань! — строго проговорила бледная девушка. (Это были первые слова, которые она сказала за весь день вслух).

Сверху, один за другим пришли адвокат, генерал, корридорный Василий с охапкой подушек, одеял и шуб.

Помещица подозвала Василия, заговорила шепотом, как заговорщица, и совала ему в руку шуршащие бумажки.

А уже совсем стало темно, углы провалились. Генерал, едва видимый в темноте, раздраженно сказал:

— Конечно, господа, мы устраиваемся не надолго. Я думаю, ночью мы уйдем.

Никто ему не ответил.

— Огонь бы надо зажечь. Не видать ничего.

— Что-ж, зажжем огонь, — нас увидят и пристрелят.

— Огня зажигать нельзя.

— Где вы здесь? — раздался мелодичный женский голос на лестнице,—ничего не вижу.

Голубицкая спускалась по лестнице с подушкой и одеялом. Она сказала оживленно, ни к кому не обращаясь:

— Я глядела из своего окна. Ой как страшно! Где-то далеко пожар, а на улицах никого.

Она прошла в дальний угол, туда, где вздыхала и стонала помещица. Зильберов поднялся, ощупью в темноте подошел к ней:

— Позвольте, Ирина Васильевна, я вам помогу.

Голубицкая очень вежливо сказала:

— Благодарю вас, — я устроюсь сама, не беспокойтесь.

— А ей-богу, господа, мне очень это нравится,—жирным голосом, смеясь, сказал актер, лежавший на плите,— интересное приключение, чорт возьми!

— Ну, знаете, удовольствие среднее. Я думаю, господа, что спать мы не будем. Как только представится возможность,— сейчас же попытаемся уйти.

— Конечно, конечно. Слышите? Уже совсем выстрелов нет. Вероятно, ночь всех усмирит.

— Рекомендую вам не спать крепко. Я сейчас пойду, осмотрю улицу. Василий! Ты пойдешь со мной?

Это говорил генерал, невидимый в темноте. Василий и генерал вышли. За ними, пыхтя и вздыхая, пошел швейцар Николай. В кухне стало совсем тихо, слышалось только дыхание людей.

— Да, это мне нравится,—опять повторил актер,— это мне напоминает какой-то роман из жизни американских дикарей... Очень напоминает.

Никто не откликнулся, тишина в кухне была напряженная, — все слушали, что делается за стенами. Вот где-то далеко зародилось постукивание шагов, ближе, ближе, потом заскрипела дверь, кто-то вошел в кухню, встал невидимый у двери. Из темноты спросило несколько голосов.

— Это кто?

— Это я, Постников. Господа, приготовьтесь,—нигде поблизости никого. Кажется, мы в самом деле сможем сейчас уйти.

— Куда же мы пойдем на ночь глядя? Не лучше л
подождать?

— О, нет! Не советую. Необходимо выбраться з
линию огня. Здесь мы можем чорт знает в какое поло
жение попасть.

— Что-ж? Пойдемте.

— А мои вещи как?—наивно сказала Голубицкая.

— Ну, сударыня, какие теперь вещи. Вы толь
о своей жизни думайте, а не о вещах. Будете живы,—
будут и вещи.

В темноте задвигались, заговорили, стали ощупы
собираться. Актер сбегал наверх в свой номер и кога
вернулся, все были уже в корридоре у парадной двери.

Улица перед домом была освещена. Фонари, зажже
ные еще накануне боя, продолжали гореть весь день
вот уже вторую ночь. Но нигде не было видно никого.

— Что же, господа, пойдемте!—сказал Рыбин.

— А, чорт возьми, ведь жутко. Хоть бы бешеная
собака какая пробежала. Ей-богу, я первый не пойду.
Слушай, Василий. Ты пойдешь?

— Нет, ваше превосходительство, мне некуда итти,
я должен здесь караулить.

— А ты, Николай?

— Я тоже не пойду.

— Ну, что-ж, пойдем мы. Я бы все-таки рекоменд
вал итти не толпой, а в одиночку.

— Ну, что-ж, вы, генерал, идите первым, а мы по
дождем, посмотрим.

— Нет, лучше вы идите.

— Позвольте, ваше превосходительство, вы челове
военный. Вам не привыкать стать.

— Да, конечно, я пойду. Но знаете что? Я, пожа
луй, надену штатскую шубу. В моей шинели меня могу
остановить, выйдет большая неприятность. Я сейч

пойду возьму шубу. Господин Рыбин, вы, кажется, собираетесь итти со мною?

— Да, конечно, ваше превосходительство.

— А не метнуть ли жребий, кому итти?—пробасил актер.

— Предлагаю итти парами.

— Верно, парами.

После маленьких сборов, генерал Постников и адвокат Рыбин вышли за дверь, оба с узлами в руках и быстро пошли направо по улице. Все толпой приблизились к двери, дожидаясь, что будет. Все жутким взглядом смотрели на убитого, что лежал на тротуаре. Вдруг треск близких выстрелов потряс воздух. На улице кто-то резко закричал:

— Куда? Стой!

Точно вихрь сдул всех из корридора. В темноте, молча, спотыкаясь, толкая друг друга, все помчались назад в кухню, там спрятались по углам, притаились. Выстрелы на улице смолкли, потом в корридоре зазвучали бегущие шаги, хлопнула кухонная дверь.

— Вы здесь, господа?—спросил генерал.

Из всех углов откликнулись разом:

— Здесь, здесь. Ну, что там?

— Да вот, кажется, господина Рыбина ранили.

— Ранили?

— Ранили,—умирающим голосом сказал адвокат Рыбин.—Скорей перевяжите меня. Истекаю кровью.

В кухне зашаркали, затопали невидимые ноги.

— Надо зажечь свет. Без света нельзя.

— Да, но сначала надо закрыть окна.

— Господа, давайте давайте одеяло.

Ощупью завесили окна, кто-то зажег спичку, — робкий свет упал на взволнованные лица, на голое плечо адвоката,—по плечу текла кровь.

— Господа! Кто же умеет перевязывать?

— Позвольте, женщины обычно перевязывают.

— Давайте, я перевяжу,— сказала Голубицкая.

— Свечки нет. Послушайте, у кого есть свечка?

— Какая же свечка?

— Я из бумаги сейчас сделаю свечку.

— Вы не очень большой свет зажигайте.

— Вам больно?—допрашивала Голубицкая.

— Да, знаете, кажется, пуля во мне.

— Ну-ка, позвольте, я посмотрю,—сказал генерал,— я на войне иногда видел раны. Э, знаете, у вас совсем дело пустяковое, только кожу оцарапало.

— Да? Вы находите? Почему-же такая боль?

— Если человек возбужден, и маленькая царапина причиняет большую боль.

Актер рвал простыни длинными лентами, Голубицкая окутывала ими голое плечо адвоката. Потом адвоката одели в шубу, актер Сторожев, великодушничая, сказал:

— Вы вот что, вы ложитесь на мое место. Вам, как раненому, нужен теперь покой, а я сюда, на ваше место, на лавку, переселюсь.

— Конечно, раненому самое лучшее место.

— Потушите же огонь.

Потушили огонь, тьма стала черной.

Актер попробовал шутить:

— Темно, как в душе грешника. Вот она, культура-то. Чуть что, и нет ее. Вероятно, сильное ощущение, ваше превосходительство, испытать изволили? В вас тоже стрельнули?

— Да уж, видимо, не помиловали бы и меня.

— Тише.

— Слышите, господа? Опять орут.

Далеко где-то трещали выстрелы и опять раздались крики ура. В напряженной тишине вдруг раздался приглушенный, трагический шепот:

— Опять идут!

Это сказал швейцар Николай. На него зашипели, заставили замолчать. Выстрелы загремели рядом. По улице, за стенами дома, кто-то пробежал, гулко стукая ногами по тротуару, резко закричал:

— Сюда, товарищи!

И опять грохнули выстрелы. Слыхать было: люди побежали назад, выстрелы становились дальше, дальше, потом надвинулись с другой стороны. Казалось, сражавшиеся бегают вокруг дома, стреляют друг в друга.

В кухне будто вымерло — ни голоса, ни дыхания,— тишина стала страшной. На момент выстрелы и крики на улице смолкали, потом загорались снова, опять кто-то бежал мимо дома,—в кухню долетал гулкий топот.

В темноте священник громким шепотом молился. Простонала помещица:

— Господи, господи! Да когда это кончится?

Только к утру на улице смолкли выстрелы и крики.

5.

Странный вид имела кухня утром, на второй день. Будто здесь открылась лавка старьевщика. Принесли старьевщику богатые шубы, прекрасные пальто, подушки, одеяла и бросили их кое-как, где попало,—на лавках, на полу, на плите. Одежды было очень много, и в одежде шевелились люди, как червяки в листьях капусты. Из-под шубы с плиты глядело бледное лицо адвоката Рыбина. Он первый заговорил очень нервно:

— Господи, у меня, кажется, начинается воспаление раны.

Голоса из разных углов откликнулись:

— А что? Боль чувствуете?

Голубицкая в накинутой на плечи шубе подошла к Рыбину.

— Кровь не течет?

— Кровь-то не течет, но так горит моя рана, что передать не могу.

— Позвольте, я посмотрю.

— Нет, знаете, — забасил генерал,—вы уж лучше не трогайте, — разбередить можно, опять кровь пойдет. Знаете? Может быть, теперь можно будет выбраться. Попробуем еще раз. Василий, пойди посмотри, как там.

— Я, ваше превосходительство, опасаюсь.

— Чего же?

— Слыхали, как звенели окна? Еще пристрелят так.

— Василий, сходите, пожалуйста, я вам заплачу за труды.

— За такие труды, сударыня, никакой платы не возьмешь... Что-ж, я, пожалуй, схожу... Николай, пойдем посмотрим!

— Нет, бог с ней и с платой,—я не пойду.

Актер Сторожев подошел к двери:

— Пойдем, Василий, со мной.

Они пошли... Голубицкая сказала:

— Яков Борисович! Вы хотите есть?

— Что за странный вопрос? Конечно, хочу.

— Знаете, у меня в номере очень много еды.

— Ну, так и у меня в номере много. А как ее добыть?

— Пойдемте, сходим. Одна я боюсь, а вдвоем...

— Что-ж, пойдемте.

Голубицкая пошла вперед, за ней Зильберов. Они поднялись по лесенке из кухни и нижним коридором прошли до парадной лестницы. Ветер дул с улицы. На полу темнели пятна крови. Ноги убитого виднелись на тротуаре. Зильберов, шагая через две ступеньки, вбежал по лестнице по второй этаж. Голубицкая, точно за ней гнались, вбежала за ним. На площадке второго этажа

Зильберов приостановился, подождал Голубицкую, потом уже они вместе поспешно пошли по корридору. У двери с выразительным номером Голубицкая сказала, чуть стесняясь:

— Пожалуйста, подождите меня, я сейчас.

Зильберов улыбнулся, потом сразу нахмурился, сказал сердито:

— Ну, вы, пожалуйста, скорее.

Он неподвижно постоял у двери минуту, другую, потом согнутым пальцем застучал в филенку:

— Скоро вы там?

Через минуту он опять постучал нетерпеливо. Голубицкая появилась смущенная, улыбающаяся. Они поспешно пошли дальше, в конец корридора, где были их номера. Зильберов открыл дверь в свой номер, и в ту же секунду внизу, на тротуаре ахнул выстрел. Это было очень неожиданно. Зильберов и Голубицкая повернулись, побежали назад. Вокруг дома выстрелы загремели, как гром. Уже в кухне, когда закрыли дверь, Зильберов сердито сказал Голубицкой:

— Не могли потерпеть, — целых пять минут потеряли напрасно!

Опять слышно было, как кругом дома бегали люди, кто-то вбежал в корридор, бегал по лестницам, хлопал дверями, в кухне притаились, слушали. Людей по корридорам ходило все больше и больше, выстрелы гремели прямо над головой. Должно быть, стреляли из окон верхнего этажа.

— Ну, теперь мы пропали,—вполголоса сказал Сторожев.

— Слушайте, давайте загородим дверь, — предложил генерал.

— Давайте! Скорее!

— Господа, вылезайте. Пододвинем к двери этот стол.

Мужчины—и священник с ними — поспешно обле-
пили большой кухонный стол, подняли, перетащили
к двери и загородили. Василий почесал в затылке, ска-
зал, смущенно улыбаясь:

— А знаете, я пойду все-таки наружу. Вы меня про-
пустите.

— Нет, уж ты сиди, пожалуйста. Куда ты пойдешь?

— Нет, я пойду.

— Из осажденной крепости никто не уходит,—строго
отчеканил генерал.

— Нет, уж сделайте милость, пропустите меня.

— Ну, да пропустите его, пусть уйдет, чорт с ним.
Только ты знаешь, Василий? Ни гу-гу. Никому не говори,
что мы здесь.

Отодвинули стол, пропустили Василия, опять плотно
пододвинули стол к двери и поспешно разошлись по углам.
И до вечера просидели, слушая чьи то шаги по коридо-
рам и по номерам... Временами раздавались выстрелы
прямо над головой. Бойцы разместились в дому, толпи-
лись во все двери, подходили и к двери в кухню, сту-
чали,—на стук никто не отозвался.

Вечером вокруг дома сильнее загремели выстрелы,
опять раздались крики ура, посыпались разбитые стекла,
одна пуля пробила окно в кухню. Адвокат Рыбин сле-
с плиты, лег в самый угол на полу. И все теперь ле-
жали на полу, прижимались к стенам, закрывались от
ждой. В корридорах бегали люди, орали, стреляли, каза-
лось, сражение идет прямо в номерах. Потом вдруг по-
степенно все смолкло. Тишина стала напряженной, злой.

Опять в окнах потемнело, — пришла ночь. Странно,
что эта темнота будто давала некоторую свободу. Опять
заговорили сначала шепотом. Потом генерал пробасил:

— Господа, я есть хочу. Это же чорт знает, что
такое. До каких пор сидеть?

— Я думаю, все теперь есть хотят.

— Мама, мне даже тошно.

— Что же мы будем есть?

— Пойдемте опять наверх, — авось, что нибудь достанем.

— Нет, прошу вас, не отодвигайте стола от двери. Слышали, сколько раз к нам стучались?

— Что же, нам умирать с голоду здесь? — Конечно пойдемте.

— Господа мужчины, будьте же немножко похрабрее.

— Ну, знаете, храбрость довольно глупое дело...

— Я пойду,—сказала Голубицкая в темноте,—я очень хочу есть. Пойдемте.

— Смотрите, женщина подает пример мужчинам.

Опять с трудом отодвинули стол от двери, пошли: Голубицкая, генерал, актер, за ними Зильберов, потом швейцар. Теперь нельзя было узнать корридоров: всюду виднелись разбросанные вещи и куски штукатурки. Двери все были открыты. Во всех номерах окна выбиты, на полу виднелась поломанная мебель. Шкафы и буфеты в номерах были раскрыты, ящики в столах выдвинуты. Яков Борисович испуганно остановился на пороге номера. Разве это его номер? Он даже вернулся к двери, взглянул, какая цифра там стоит: на двери стояло «42». Да, номер его. Морщась, прыгая через груды вещей, брошенных на пол, он побежал к буфету. Полки в буфете были пусты. Только в одном углу аккуратной стопкой стояли тарелки. Голос Голубицкой раздался у двери.

— Знаете, у меня ничего не осталось, все взяли. Вот только головка зеленого сыру.

По коридору поспешно шел генерал. Зильберов крикнул ему:

— Никакой еды!

— Я тоже... Не могу ничего найти. У меня было полпуда сахару. Сахар исчез.

Сердито переговариясь, они—трое—пошли по коридору к лестнице, чтобы итти вниз, в кухню. Генерал вдруг остановился:

— А не посмотреть ли в других номерах?

— Может быть, это неудобно?..—спросил Зильберов.

— Ну, чего там неудобно? На войне, как на войне. Раз кругом смерть, поневоле будешь брать, что можно.

Они вошли в чужой номер, торопливо открывали шкапы, заглядывали на полки,—нигде ничего съестного. На улице онять вспыхнула стрельба, Голубицкая крикнула: «Скорей»! и побежала по коридору. — Зильберов прыжками помчался за ней. Генерал бежал последним. В кухне поспешно придвинули стол к двери...

— Ну, что? Как?

— Нигде ничего.

— Послушайте, господа, дело совсем дрянь.

— Еда-то есть, — сказал швейцар Николай,—в кладовой капусты много и картошки. Сварить бы картошку.

— Где же ты будешь варить? Раведи огонь,—сейчас же сюда придут и пристрелят нас.

— Может быть, сырую поесть?—спросил священник.

— Что вы, батюшка? Разве сырую картошку едят?

— Да как же, чорт возьми, быть?—нетерпеливо воскликнул актер.

— Ну, как-нибудь потерпим. Вот у госпожи Голубицкой сыр есть.

— Ну, одной головкой сыра восемь человек не напитаешь.

— Напитаем или не напитаем, а давайте делить этот сыр по-братски. Надеюсь, госпожа Голубицкая не одна будет есть?

— Ну, конечно. Мы все надеемся на благородство госпожи Голубицкой.

— Я бы предложил, господа, отдать этот сыр женщинам.

— Нет, уж это, ах оставьте. Равноправие, так равноправие, чорт возьми.

— Господа, позвольте обратить ваше внимание на мое положение, — у меня очень сильно ноет рана, и страшно хочу есть.

— Какая рана, господин Рыбин? Пустяковая царапина, а вы говорите рана.

— Разделите сыр на равные части. Ирина Васильевна! Вы позволите, конечно? Странный вы народ, господа, делите чужой сыр, а хозяйку даже и не спрашиваете. Несчастные эгоисты.

— Будешь эгоистом, если голод прихватит.

— Вы совсем, как большевики...

— Чорт знает что. Вы поосторожнее выражайтесь.

Пока делили сыр, Николай вытаскивал из кладовой качаны капусты и маленькой светло-зеленой горкой положил их на стол, придвинутый к двери. Генерал кончил делить, крикнул:

— Господа! Берите!

И сам первый взял кусок и поспешно отошел с ним в сторону. Все тотчас окружили плиту, на которой лежал сыр, хватали быстро, жадно, поспешно отходили в сторону и на ходу запускали зубы в желтый, похожий на нож, кусок сыра.

Когда Николай подошел к плите, чтобы взять свою долю, — сыра там уже не было. Николай посмотрел на всех,—все ели отвернувшись. Он спросил:

— А где мой-то кусок?

Никто не повернулся, — все продолжали есть молча. Только помещица жалостливо откликнулась:

— А тебе и сыру не досталось? Бедный, бедный!

Николай напыжился, криво усмехнулся,—щеки у него дрогнули. Актер повернулся к нему, сказал:

— Ничего, ты толстый, ты можешь голодать сорок суток.

— А барыня не толстые по-вашему?

— Ого. Ты что это, Николай? Забылся?

— Хотели делить на всех, а между прочим, мне не оставили.

— Ну, ну, не забывай, мы не всегда будем в этом погребе сидеть. Ты хотел капусту есть, ешь.

— Капусту я поем, а вот вы...

Он не договорил,— страшный гром потряс весь дом. Перед окном плеснулась на камни двора штука турка, кирпичи, звякнула водосточная труба. С потолка кухни и со стен полетела известка—в кухне белым облаком встала пыль. В пыли люди заметались, закрывали. Швейцар Николай и генерал Постников ухватились за край стола, отодвинули от двери, убежали в корридор. За ними ринулись актер Сторожев, доцент Бородкин, священник, адвокат. Последним выбежал Зильберов. Голубицкая кричала:

— Подождите нас! Господа, подождите!

Девушки теребила мать, упавшую на пол.

— Мама! Вставай! Побежим!

Голубицкая метнулась к двери, потом назад, крикнула девушке:

— Что-ж вы? Скоро?

— Мама не встает.

Голубицкая подбежала к помещице, потянула ее за руку. У помещицы голова замоталась, как у соломенной куклы, рот раскрылся, глаза вращались безумно...

— Мама! Мама!—закричала в отчаянии девушка.

— Она умирает. Бежимте. Все равно, — горячечно, как в бреду, заговорила Голубицкая и за руку потащила девушку к двери.

— Пустите!—вырвалась девушка и встала на колени на пол возле матери.—Мама! Мама!

— Ну, как угодно.

Голубицкая опять добежала до двери и здесь оберпулась.

— Бежимте. Дом сейчас обрушится!—закричала она.

Девушка не оглянулась. Она лицом прижалась к лицу матери. Голубицкая широко распахнула дверь из кухни в корридор, закричала:

— Господа! Помогите! Здесь умирает женщина!

В корридорах было тихо. На улице стреляли. Никто не отзывался. Голубицкая оглянулась.

— Что же будем делать? Это возмутительно! Мужчины называются. Бросили умирающую женщину. Ну, душенька, ну, бежимте же. Все равно, вашу маму не воскресишь.

Девушка с глухими рыданиями припала головой к матери:

— Мама! Мама!

Голубицкая вернулась в кухню села на скамью возле стены, сказала в отчаянии, плача:

— Ну, бежимте же. Не могу же я вас одну оставить... Не мо-гу!

ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ

ПОВЕСТЬ О НЕНАПИСАННОМ ЗАКОНЕ

ПОВЕСТЬ О НЕНАПИСАННОМ ЗАКОНЕ.

Весной произошло в нашем городе событие, надолго отравившее спокойную, невозмутимую нашу жизнь.

Но знаете ли вы город наш? Ничем, ничем не замечателен он,—есть еще у нас такие города в Союзе, что отличаются друг от друга разве названием, дальностью от железнодорожной станции, да шириной реки. Мощеная улица у нас так и осталась одна,—с упраздненных дедовских времен; прежде называлась она Миллионной, теперь—Ленинской; по ней и теперь иногда можно ездить, и все наиболее заметные в нашем городе люди нового засола живут на ней, как прежде жили купцы. В одном конце ее, на взвозе, возвышается собор—архитектуры невероятной: не то греческой, не то мавританской, с петушковой, грубоватой, как базарные свистульки, вязью на оконных переплетах. На другом—пожарная каланча, с окнами прокопченными до того, что в пожарном депо целый день горит лампа. Меж двумя очевидными этими пупами и раскинулся город наш пятью сотнями серых (красить дома у нас не принято) домишек, одинаковых едва ли не с сотворения мира; в этих домишках живут люди, борются со смертью и не сдаются, покупают стулья, самовары, комоды, цветы и занавески на окна, копят деньги, рожают себе подобных,—уверенные, что одним своим существованием они повышают ценность земли. Крепости этих домишек хватает в обрез на одну человеческую жизнь, но когда они развалятся или сгорят, на их месте вырастут новые, а об развалившихся никто и не вспомнит, как не помя-

нет никто и о жизнях, в них прожитых. Да и чем ин
мянуть их? Не грозные войны и революции, не личны
страсти придали им вид преждевременной, собачьей ст
рости, а всегдашняя, серая, как фасады их домишек
дума о хлебе насущном и жизнь, тающая в заботах о
недостатков и в недостатках от забот. Добрые, в сущ
ности, люди эти начинают жить потому, что родились
продолжают жить по закону самоохранения—с достой
ным мужеством—по сорок, по пятьдесят, иногда по сем
десят лет, защищаясь от единственного непобедимог
их врага—жизни. Самое существование их оказывается
нужным лишь ближайшим их родственникам,—за п
и для них не существует иного мира, кроме своих ст
мей, и двери их домишек открываются прямо в нич
Вот за это то большевики при районировании и разм
ловали наш город в село,—село с базаром.

Помнится, тот день ничем не отличался от таких ж
прожитых, и по одному тому, что прожиты они,—в
напрасных на земном счету дней. Солнце только т
продрало единственный свой, неустающий глаз; в во
духе—словно не отлетевшие еще сны—спадают пушин
с цветущих тополей, а базар уже плещет гомон
подторжья, и в открытые двери булочных крутым зап
хом хлеба шибает в нос прохожему человеку. На Со
ной площади перед исполкомом остановился водов
аптекарь растворил ставни—и солнце всем блеском сво
ударилось в желтый изумительный шар. А вот прош
человек в отличных желтых крагах—секретарь испо
кома, Василий Петрович Гудплин. Ожидавшие у крыл
мужики разом поднялись, роняя цыгарки. День начал
день пойдет потихоньку, как неторопливое уездное солн
чертить свою кривую.

И всегда в таком городе, как наш, ведет кто-нибу
первую скрипку—не то что командует или обязатель

по ведомству нравов постановления издает, нет!—а служит как бы совестью, авторитетом, за всех думает, управляет неписанными законами жизни, привычками, блюдет чистоту духа, нравственность, что ли! Вроде как пуп—меж двух пупов: собора и каланчи. До революции пупом таким был соборный протоирей, отец Афанасий,—умный и проницательный человек. Бывало, сидит он в своем палисаде—малиновый шелковый подрясник расстегнут, на голове соломенная цвелая шляпа, глаза его устремлены поверх плетня на площадь, по которой вьет привольный весенний ветер вихорьки неслышной пыли—и у всех на душе спокойно: значит, все—в порядке, и как то легче дышится, когда, проходя мимо, скинешь, бывало, шляпу, а он в ответ рокотливым баском пожелает счастливого, со господом, пути. Воистину был он гвоздем, на котором висела совесть наша. И в революцию, если хотите, это и поразило нас больше всего: ушла, слиняла малиновая наша совесть—а нет, светопреставления не случилось, попрежнему движется жизнь, и лавок с нэпом пооткрывали новых, и даже ясли для детей открыли, и сто сорок десятин громадного болота, что еще и теперь душит наш город простудными туманами, осушили начисто.

Но не сразу пришло к нам великолепие это. Долго после революции сидели мы взаперти, выглядывая на улицу из за гераней и фикусов наших как кролики, будто на улицах все еще гремели рукопашные битвы, хоть всей революции только и понюхали, что прогнали трех захудалых помещиков, да торговлю «преемников купца Севастьянова» разнесли на шарап. Года два после нэпа жили мы тихонечко, словно босиком, оглядывались, боялись сказать лишнее, и когда на месте севастьяновских руин открылся кооператив—многие граждане ничего не покупали, опасаясь подвоха, каверзы,—платишь,

мол, деньгами, а вдруг тебя, божьего раба, сгребут за пищик и спросят: «а откуда у тебя, гражданин хороший, деньжишки завелись?» И к новой власти, чтоб трудовую книжку взять или удостоверение, или номер на дом—не могли мы привыкнуть долго, но за то потом скоропостижно поняли, что ничего страшного в новой власти нет, что власть и в самом деле для нас же старается, особенно когда председателем исполкома оказался бывший попов батрак—Гудилин Василий Петрович, которого помнил весь город Васькой. Многим тогда неоспоримо понравилось, что Васька, который у попа на всякую затычку был, не стал попу мстить, а даже наоборот—особенный какой-то вежливостью допекал (и откуда она у него взялась?), иначе как Афанасием Николаевичем не называл, и, бывало, если тот по общегражданскому положению самолично жаловал в исполком—Васька норовит стульчик пододвинуть, пригласить вежливенько: «присядьте, Афанасий Николаевич, сейчас с мужичками закончим согласованность вопроса, ваш религиозный сектор поставим на факте». Присядет отец Афанасий на стульчик, а голову в сторону воротит будто пристыжная, не вытерпит и сплюнет—никак невтерпеж ему был наблюдать своего Ваську. А Васька на тот попов плевок и глазом не моргнет, будто не заметит. Очень повредил себе отец Афанасий своими плевками, и многих сомневающихся граждан нашего города незаметным этим фактом Васька повернул к себе. Попервоначалу Васька один своей вежливостью против течения и выгребал, но пошли, подросла молодежь, повозвращались некоторые из вузов, получилось так, что город наш стал словно рекой, на два берега. Одна — меньшая часть — с ними с молодыми, другая—как прежде, меж собором и каланчей.

Очень прошу простить меня, что отвлекаюсь, но это имеет до моего рассказа значение решающее. Раньше

власть была как бы от бога, управлялась богом, и никому в голову не приходило требовать от власти перину или скажем, самовар, а полагалось быть ею довольным, ибо все в этой божьей власти было предусмотрено: духовные человеческие дела—в евангельской проповеди, земные человеческие дела—в кодексе гражданских законов, который и есть ни что иное, как популярный перевод евангелия с языка убеждения на язык принуждения, чтоб люди сами с проложенных историей рельс не сбивались и другим двигаться по жизни не мешали.

А тут как стала власть наша, земная—навалились мы на нее всеми своими потрохами и подушками...

То утро, поразившее город наш событием неслыханным, выдалось высокое и чистое, только над лесом висели легкие, будто детские покрывала, облачка, и поднимался от земли вкрадчивый звон, каким призывает к себе весеннюю жизнь отдохнувшая земля. Вынес я на двор ульи—досмотреть, что сталось с ними за зиму? (не смейтесь: каждому человеку на земле положена своя страстишка), а они срывают ворота с петель, и лицо у милиционера, тов. Кленкина (фамилия у него была высокая, в рост ему)—натерто как кирпич, и кобур на револьвере отстегнут, что всегда означало большое его волнение. А сзади на плечи ему так и валится понятой в цвелой шапке наперстком, и еще по понятому догадался я, что событие произошло, должно быть, действительно большое. Тогда спрашиваю строго и бесстрастно, как подобает служебному моему положению народного следователя:

— В чем дело, товарищ?

— А в том, – отвечает Кленкин голосом дрогнувшим и пустым, будто сам не смел верить своим словам,— что произошло несчастье, и товарищ Лукреция Сигарева найдена за поповым садом со следами самоубийства...

Держу я рамку с сонными пчелами в руке, дрожи
рамка, и тихо после слов его до того, что звенит в уш
и говорить хочется шопотом, но так уж устроен
тиворечиво человек: дрожит рука, а я смотрю на обла
развешанные по небу, как детские покрывала для
сушки, и вот — по забору яблони стоят, и уж прост
пил на яблонях розовый весенний пот — и вроде смеш
мне, что об яблонях думаю, и страшно — от внутренн
моего смеха этого еще больше, чем от возвещенно
несчастья.

— Ну, что ж, говорю, я — готов! — и пошел в ко
нату за кепкой.

Что могло оборвать молодую эту, прекрасную по
мой молодости своей жизнь? Как живое встало пер
мной ее лицо — было оно юно, так юно, что не вер
лось в двадцать два ее года, и в то, что занимает се
в жизни нашего города место — по народному образов
нию — бóльшее, чем пчелиное мое следовательск
Широкий и бездумный лоб, на лоб вызывающе, уго
ком, взброшены брови, нос прячется под лоб все
по-детски, а от ноздрей падает к губам ямочка, кап
у годовалых детей оттягивает губы кверху в капризн
выражении: губы от того свисали по середине, изги
лись сердечком. Я по своей профессии очень зорок
человеческие лица, а вот такие согнутые в подкову г
помню только на портретах Гёте.

— Но что, в конце концов, одна девушка в чело
ческом улье? — спрашиваю я сам себя, и — чудно мне, ч
спрашиваю. Чудно, что взволнован я, как не смею бы
взволнованным по своей профессии.

Вышел я с кепкой в руке на улицу, день — ясн
и высокий, а мне кажется, что туман лезет, застил
глаза и сердце. И будто несчастная та Катя Сигарева
родное мое дитя. Тронулась печальная наша процесс

по базару: впереди—Кленкин, руку он положил на расстегнутый кобур, за ним—я, а позади—понятой, шапку снял, несет в руках из почтительности к несчастному случаю. А на базаре все уж известно,—народ расступается перед нами, как перед попом в церкви, испуганным овечьим стадом жмутся девушки, матери маленьких детей под себя подгребают, а старухи, отложив горшки, по донышкам которых только что выстукивали костлявыми пальцами, щурят вслед слюнявые свои глаза. Ничего у человека к самоубийце не остается—ни жалости, ни прощения ему, а только зло, гадливая жестокость какая-то: так, мол, тебе и надо! Подвигаемся печальной нашей процессией, понимаю я: одолевает народом раздражение против самоубийцы за то, что нарушила понятливость весеннего прекрасного дня, и женщины—первый при этом знак—кутают подбородки в платки, будто им холодно, а только гляжу—потихонечку начинает народ подвигаться за ними, идут как во сне: нехотя, а идут, а мужик один (по праву пола своего) даже поровнялся со мной, с отчаянием, наплюснув шапку на глаза. И что вы скажете?—полбазара стронулось, пришлось даже Кленкину в кладбищенских воротах осадить публику назад—развел он свои загребистые руки, и публика, как уперлась в них, словно и в самом деле поверила, что дальше—некуда, подалась в стороны, начала талять. Но был это лишь хитроумный маневр—не иначе до месторасположения трупа добегут задами, даже упредят нас с Кленкиным. Попридержав у ворот незаконный напор толпы, двинулись мы по кладбищу, и вот—вижу я—прохлаждается около церкви поп Афанасий, и первый (к этому он приобык) снимает шляпу: «здравствуйте, Алексей Алексеевич». Конечно, и я вежливо ответил на поклон, но для разговора не задерживался: привлекала меня к исполнению обязанностей служба,

и хоть знал я по опыту, что ничего не тронут на мертвом теле (никогда человек не тронет мертвого, если только не он—убийца), но все таки...

— Далеко ли?—спрашиваю Кленкина.

— Сейчас,—отвечает,—враз за своротом...

— Когда,—спрашиваю,—обнаружен труп, и при каких обстоятельствах произошло обнаружение?

Кленкин всегда очень путался, оссекался в выражениях, если приходилось ему объяснять что-нибудь не по военному односложное, а пообстоятельнее. Завращал он вспотевшими своими глазами и начал доказывать, что обнаружено мертвое тело сегодня утром, когда несли бабы молоко на базар, и чья-то старушка, зайдя на кладбище для естественных надобностей, со страху чуть не окачурилась, напоровшись на ботинки, задранные на могильный купеческий холм.

— Жарко,—говорю,—вам, товарищ Кленкин, сними картуз...

Тогда смешался он окончательно, испугавшись, что в столь страшный момент говорю я словами простой человеческой речи. И тут приметил я, что мы остановились и разговариваем потому, что итти туда нам не хочется. И опять, словно болотный озноб, захватил меня непонятный страх, и от страха оглянулся я кругом, ища в окружающем поддержки, и вижу: кругом—солнце, жирные, синие от жира своего кладбищенские деревья, вспотевшие весенним потом тяжелого купеческого мрамора кресты, птица какая то громко кричала (непристойно громко кричат птицы на кладбищах), а в отдалении поп Афанасий; как сквозь шляпу, чтоб со мной поздороваться, так и держит ее в руках, а сейчас, как заметил, что обернулись мы (и Кленкин за мной обернулся в растерянности—взгляд его соскользнул с наших спин, побежал

трусцой по солнечной дорожке, осторожно обходившей могилы.

— Идем,—говорю я Кленкину.—И шапку, будь любезен, надень...

Как ожидал я, так оно и вышло. Над трупом, в приличном однако отдалении (заметил я, что никогда не подходит человек к мертвому телу вплотную, сдерживает его, должно быть, холод от мертвого тела—даже в очень жаркий день идет в ноги холодный дух) стоят мои бабочки и, подпершись руками в подбородки, не могут оторвать завороженных глаз. Только тогда человеческие глаза и не моргают, когда глядят на мертвеца. И лица, заметьте, только тогда и бывают до конца естественны, когда перед глазами—непреложная смерть; тогда лица теряют всегдашнюю житейскую напряженность, и сами становятся похожи на лики усопших: губы сжаты, брови сдвинуты, как крылья, а в глазах—просветленность, преодолевшая страх. Матери детей своих маленьких ухватили за руки, как на берегу реки. Жаден взор старух, пытающих и свое близкое. Холодно и напряженно мужское молчание, которое как бы отгораживается мужским своим достоинством. А тот мужик, что по праву пола своего шагал рядом с нами по базару, завидев меня с Кленкиным, равнодушно сплюнул, точно ему все—все равно, и на все наплевать,—но меня не обманешь, нет!—вижу я: страшно ему до того, что хочется смеяться. А меня в таких случаях всегда разбирает зло—то ли стыдно мне за собственную слабость, то ли праздное любопытство раздражает? (А оно, если вдуматься,—отнюдь не праздное). Раздвинул я толпу руками и, прежде чем приступить к обследованию трупа, приказал:

— Назад! Прошу назад! Не на базар собрались.

И Кленкин, подстегнутый решительными моими словами, бросился в самую гущу, и от только что прошедшей

своей растерянности особенно воодушевился исполнением служебных обязанностей.

— Назад!—заорал он басом.

Ну-с, приступили мы к обследованию трупа. Те же губы, согнутые в капризную подковку, улыбка на них все та же—по необходимости прощающая улыбка очевидного превосходства, глаза—прикрытые сейчас очень ровными, будто выутюженными веками. Правая рука оказалась подвернутой под туловище, а тело завалилось в сторону—стреляла она, должно быть, стоя на могиле купца. Картина очевидная именно для самоубийства, но по причине своей профессии, воспрещающей уверенность даже в очевидности, я все же произвел обследование возможности преступления. Прикинул положение револьвера, освидетельствовал рану,—на ней заскорузли пятна ожогов, по причине, видимо, того, что револьвер был приставлен вплотную к груди. Указательный палец на правой руке девушки был согнут—попробовав собачку револьвера обыкновенного типа Нагана, убедился, что действительно спускалась она туго.

А в скорости подошел наш уездный доктор Антон Петрович, обязанный подписать акт.

— Картина очевидная,—говорю ему.

— Очень определенная картина,—отвечает доктор.

— Как вы насчет вскрытия,—спрашиваю я Антона Петровича,—мне погребение не помешает,—говорю,—произвести необходимое расследование печального факта...

За спиной моей кто-то вздохнул, и чувствую я, что молчание за нами становится тягостным, вот-вот прервется, начнутся тогда предположения, догадки, осуждение, ибо одного не может стерпеть человек—таинственности смерти, даже не смерти, а таинственности обстановки и причин. Начнут сейчас над самым трупом всем хором рыться в причинах! А что отвратительнее этого

Я распорядился немедленно перенести труп в покойницкую при больничке, а также известить родственников покойной.

— Есть ли у нее кто-нибудь?—спрашиваю Кленкина.

И опять—как часто бывает, когда скользнет в сбитое страхом человеческое сознание житейски-обиходная речь—не понял Кленкин простых моих слов и заморгал глазами.

— Мать, я тебя спрашиваю, или отец?—повторил я строже.

Спрашиваю так, а себя ловлю на том, что спрашиваю напрасно: всем в городе известно, что ни отца, ни матери у нее нет,—а спрашиваю я, должно быть, от того, что то свое и человеческое, что давеча вспомнилось яблонями,—страшно мне человеческое это выпустить наружу, и прячу я его в строгую формулу служебного долга.

В тот же день перевезли труп в больничку, а после полудня, когда крестьяне окрестных деревень поехали с базара по домам,—получил я от Антона Петровича записочку, приглашавшую на вскрытие. Но я не любитель такого рода ощущений. Мне хоть и положено законом присутствовать, но редко пользовался я столь незавидным преимуществом, да и что может объяснить взыскающему разуму распотрошенный человеческий живот? Так поступил я и в этот раз, но сознаюсь, что в этот раз не пошел еще и потому, что хотелось мне удержать в памяти облик ее таким, каким запомнился он в живой жизни — чуточку надменный, очень, до невозможности, юный, и в то же время как бы узнавший жизнь до дна: такие прозрачные, всезнающие были у нее глаза. Ее плечи выступали прямыми углами—по мужски; она вздергивала ими с мужской нестесненностью, вдруг сутулилась, будто вспоминала, что между плечами—

грудь, отличительный женский признак, которого она и стеснялась, и боялась. Она с гневом взбрасывала глаза на мужчину, если взор его ищуще упирался в ее грудь. И сейчас же вслед за оскорбленностью, разливавшейся по лицу ее желтизной тонкой раздражительности, она будто спохватывалась, сама выпячивала грудь, подчеркивая очевидную свою женственность. При этом она смеялась — с той странной настойчивой зазывчатостью, с какой смеется женщина, которая не только окружающих, но и самое себя старается убедить, что она — женщина. Да, в общем странная была девушка.

Много раздумывал я над печальным фактом самоубийства Лукреции Сигаревой. И вот два месяца прошли с тех пор, два месяца эти вывернули меня как прошлогодний корень, а тихий город наш заставили жить напряженной жизнью,—а у меня все нет ответа на этот вопрос. В тот день пчелы мои так и остались без вечернего досмотра. Что-ж поделать? Я—человек русский, всю жизнь до старости обучался думать, и никогда не умел этой думой жить. Я пришел домой, и жена уже ждала меня с обедом.

— Вот,—сказала она, опуская глаза в тарелку с супом, которую наливала,—распустили молодежь... (тут выловила она морковь)... если не досолен—досоли по вкусу, удержу на них никакого нет...

Знал я, что скажет она о девушках, что «гуляют сразу с тремя, об абортах «почем зря», о том, что не осталось в жизни ничего святого и спутаться с чужим мужиком теперешней бабе легче, чем напиться воды—знал я и то, что, говоря, будет она прятать потемневшие свои глаза, а в глазах этих—злая зависть осуждающей праведницы.

— Не наливай,—говорю,—обедать я не буду...

Знал я и то, что отказ мой испугает ее сильнее грубости и брани, ибо в нашей жизни может перевернуться земля, или родиться новая истина, а обедать человек должен, и если он обедать отказывается—катастрофа. Она поставила тарелку, посмотрела на меня, как на пустое место, и опять понял я, что не жалость ко мне, а обида за то, что суп отвергаю, раздвинула ее губы в улыбку. Где-ж ей было понять, что гнала меня из дома мысль, и эта мысль была так велика, что не умещался я с нею под душными потолками вспотевшего от суповых испарений своего жилья! Я надел кепку, взял трость от собак—много их в городе нашем—и вышел.

Дали мы знать в УОНО, в местком, товарищ Кленкин донес по прямому начальству в милицию, а я отправился к Василию Петровичу Гудилину и заявил, что хоть и не в интересах следствия торопиться с погребением, однако я не препятствую скорейшему преданию праха Сигаревой земле, и даже прошу об этом. И в самом деле—ушел человек, призванный созидать новую жизнь, ушел человек, который вкупе с другими вырвал у отца Афанасия право состоять совестью нашего города. А почему ушел? Ну, пусть бы ее прижал по службе бюрократ какой нибудь, или парень какой нибудь обманул любовью, изнасиловали, наконец, что ли!—Тут нашлось бы оправдание, во всей красоте предстал бы перед нами протест сознательного существа против пережитков старого быта, и мы не только с честью вышли бы из положения, а раздули бы бумистое дело, до столичных газет докатились бы .. Доктор Антон Петрович актом судебно-медицинского вскрытия удостоверил, что умерла тов. Сигарева девственницей. Товарищи по работе относились к ней отлично, хоть и была она беспартийной, ни волокитством, ни бюрократизмом никто ее не прижимал, ревизия дел по охране материнства и младенчества

в нашем уезде обнаружила полный порядок, а плоды ее тр-
дов—и теперь еще на глазах у нас: своими руками создал-
она первые в городе ясли, чтоб бабы, уходя на полевы-
работы, могли оставлять детей под надежным присмотром

Как же тут поступить? Ведь ее хоронить надо. Г-
род наш—маленький, не только ответственные работ-
ники,—все жители на перечет, однако и мы, вслед з-
столицей, привыкли хоронить наших граждан как геро-
с речами, с музыкой, и в красном гробу. У нас да-
свой канон выработался: сначала выставим тело в клу-
1-го мая, и к нему почетный караул, и в том карау-
перестоит весь служилый элемент, а потом оркестр п-
жарной дружины под управлением брандмейстера Ма-
боженко исполнит похоронный марш Шопена, и с по-
ронным маршем провожаем на кладбище, а над раскр-
той могилой—речи, и местный наш поэт уездно-
масштаба тов. Павел Артюшкин нараспев читает стих-
«Прощай, борец труда и воли!»—а тов. Швой прогр-
мит, как трубой, речью о том, что «негодяйка—смер-
которая и поныне еще не разгадана, выдернула из ни-
обороны и труда еще одного незаменимого борца». Ми-
гих мы ухитрялись хоронить и с музыкой, и в церкв-
сначала даем отпеть несознательным родственника-
а как вынесут из церкви, тут сознательная час-
города принимает гроб, устраивает гражданские пох-
роны, и на могиле глагольствуют о замечательных з-
слугах усопшего, а мы стоим вокруг раскрытой я-
и только диву даемся: как это мы такого замечательног-
человека проглядели? А вот поди-ж ты—с виду ничо-
не отличался от нас грешных!

В исполкомской ячейке было по этому поводу д-
заседания.

— Вот что, товарищи,—посоветовал я им,—как в-
надумаете—ваше дело, раньше,—говорю,—было наоборот

молодежь слушалась стариков; но, может быть, для жизни вернее, чтоб старики слушались молодежь, только надумывайте поскорее, и так слушки всякие поползли, и отец Афанасий улыбается загадочно, и старухи отравленное свое кружево плетут... А это и есть самое скверное... С неожиданной стороны подошла к вам житейская жизнь, но я вам—помощник, а не враг...

— Нет,— отвечает мне тов. Швой,—другое самое скверное в этой истории: она — дезертир, бежавший с поста... вот что самое скверное!.. А почему бежала? Оторвалась! Примат личного,—тут он погрозил мне пальцем, и сознаюсь—это меня смутило,—она не растворила в общественном, ибо наше личное и есть наше общественное, а противопоставила ему. Однако тут же вынесли они постановление: хоронить по граждански, но в гробу белом, без оркестра, речей на могиле не произносить и стихов Павлу Артюшкину не читать, а самое главное—похоронить пораньше утром, и все к похоронам предварительно подготовить, чтоб на самый погребальный процесс ушло как можно меньше времени.

Так мы и поступили. И вот что поразило меня в самое сердце: ненависть, ненависть меня поразила, с которой проводил наш город бренные ее останки. Произошло это на другой день, действительно очень рано, когда на Сенную площадь только-только потянулись окрестные крестьяне с мукой, с картофелем, с луком, и чайная «Свет Европы» еще не открылась, и в окна видно было, как проснувшийся половой с сонным, обдрянным в скверный пух рылом накрывал столики скоробленными, негнущимися скатертями. К больничке подъехал в этот час на дровнях без бочки исполкомовский водовоз, чтоб не нести гроб по городу на руках, как делали это с борцами, усопшими на посту. И вот движимый странным чувством жалости пошел я к боль-

ничке, думаю—помогу, пойду за гробом, отдам ей после-
ний долг, хоть и не просят меня об этом, и при жиз-
я с ней, может быть, и ста слов не сказал. Вижу—в
приступках больницы сидит доктор Антон Петрович
лохматая его голова горит как щетка в негреющем
апрельском солнце. В руках у него стебелек солом
копается он стебельком в носке ботинка, грязь вы
выривает, и вид у него такой, словно он один винов
во всех несправедливостях мира. Я, не поздоровавшись
будто мы только что расстались, присел рядом, и
не поднимая головы, как бы продолжая начатый раз
вор, заговорил с запальчивым раздражением застен
вого человека, которого принудили высказаться.

— Всегда при вскрытиях стараюсь я наблюдать
какая у человека конституция? И давно пришел к в
воду, что объявились сейчас две формы строения чел
веческого тела,—одна вырождается, все меньше и мень
встречается у покойников, особенно городских, а дру
очень удивляет меня своим сложением...

— Какие же,—спрашиваю,—формы разглядели
Антон Петрович?

— Возьмем,—говорит,—нос, лоб и подбородок. Ко
на земле присущи они? Только человеку они присущ
И вот по носу и по лбу вывожу я теорию, что пол
земле стирается, и недалеко время, когда мы, мужчи
смешаемся с женщиной, а женщины переймут и
мужские черты...

Слыхал я от него и раньше такие суждения, но
придавал им особенного значения—мало ли чего не
мает человек от уездной нашей тоски, от скуки ви
пыльной, от которой не только человеку, а и кур
задохнуться впору.

— Взять хоть Лукрецию...—продолжал доктор.—В
ее и ловлю себя на мысли: да полно! девушка ли

Волосы сняты, шея по-мужски коротка и упряма, плечи—тоже мужские, и таз—узенький, такому тазу никак не разродиться... Даже стопа мужская—женщины, заметьте, всегда более плоскостопы, чем мужчины. Как ей произвести потомство? Как можно, чтоб человек с таким тазом успокоился на привычном человеческом долге: живите, трудитесь и размножайтесь?.. Всякая философия, Алексей Алексеевич, а с ней и правда жизни, покоится на непреложных материяльных базисах, а как такому телу снести материнство? Решительно заверяю вас: иная правда вложена в эти женские мужеподобные тела...

Разгоряченный собственными словами он засмеялся глухо, словно закашлял.

«Чудак ты,—думаю,—чудак». Заметьте,—всякая профессия накладывает на человека неизгладимый блеск, который носит он на себе, как штемпель на паспорте. Кондукторши вот у вас в Москве—по природе своей работы должны быть грубы, и потому, что не хватает им нежности в работе, кондукторши и есть самые нежные матери. Или педагоги, что целый день возятся с ребятами, и целый день на лице у них—любовь и улыбка, если даже живот болит,—у педагогов, наоборот—нежности в домашней обстановке никак не должно хватить. А доктору—материалисту по работе—не хватало в жизни мечты, которая как бы затуманивала открытый ему во всех тайнах материальный мир. Да и то сказать—в нашей уездной жизни без мечты не прожить, сопьешься, и чем сильнее мечта, тем больше шансов не спиться. Высосал себе такую мечту и доктор, и даже проговорился однажды, что пишет замечательное сочинение об интерсексуальности молодого поколения.

— Допустим,—отвечал я ему отнимая у него соломку, потому что очень не люблю, когда человек, говоря,

не глядит в лицо, мне нужно, чтоб человек, говор
в мои глаза смотрел, чтоб мог я по глазам его доч
тывать то, что он мне скажет.—Допустим,—говорю,—
какая же тогда причина столь несчастного выхода
молодой женщины, если, по вашим словам, выходит, ч
биологическая трагедия женщины, как таковая, не сущ
ствует...

Покачал он головой, а голова у него была, знает
как у куницы, взлохмоченная, и глаза в пучках рес
и бровей—слабые, недосоленные, и отвечает мне не
существу вопроса, а в сторону и голосом—как всег
у маленького ростом человека—крикливым:

— Если бы знал я это, Алексей Алексеевич,—дам
была бы дописана моя книга, а пока я знаю тол
одно—жизнь сегодняшняя выше наших с вами голов
щет, и очень больно держать все время голову настороже

Тут подошли к нам Василий Петрович Гудилин и
сомолец Мелков. Вы уже готовы спросить, заметил
я что нибудь в тот первый момент, когда увидел Пет
у ее гроба? Ничего не заметил я в этот момент. Бы
лицо его не то что печально, а серо, как после бесс
ной ночи, под глазами—мешки, и взгляд тоже, как по
бессонной ночи—блестящий и скользкий. Он сел
доктора, снял кепку для чего-то и закурил с молча
вой степенностью человека, который знает, что
рить, в сущности, не о чем. Меня всегда удивляла от
чительная эта способность нашего юношества—по л
никогда не поймешь, о чем он думает; откуда у них
каменные, не свойственные русскому лицу черты?
куда у них эта уверенность в жесте, эдакая хозяйск
походка по земле? Русский человек, заметьте, ходи
жизни на носках, осторожно, словно в чужом
словно виноват он перед всеми за то, что посмел
диться и живет.

С нами он не сказал ни слова, как бы не удостоивая нас разговором. Но к этому я привык.

Зато Василий Петрович волновался очень. Он торопливо пожал нам с доктором руки, закурил, сломал папиросу, с досадой бросил ее, выругался:

— Вот чччорт!

Но мы не ответили ему, а Мелков даже не поднял головы.

— И ведь какая хорошая девка!—продолжал Василий Петрович с изумлением,—какая отличная была работница! Ах, какая работница—ну, просто не девка была, а мужик!.. Не пойму! Вот этого не пойму, что в комсомол не записалась, и вот этого—вскрикнул он как бы даже в восторге от изумления своего и кивнул в сторону мертвецкой.

Всунув непослушно замотавшиеся свои руки в карманы, он забегал по узенькой, протоптанной в грязи дорожке. Серенький шлюпик, надвинутый на цвелые его глаза, задвигался в негодовании. Это было негодование хорошего хозяина, бессильного против нелепости.

— Да что же это такое?—вскричал он, сразу останавливаясь против доктора,—да если каждый из нас, а? Кому-ж тогда, а? Как же она посмела, я вас спрашиваю? Да ведь в деревне ни один мужик, если уж такая блажь забредет ему в голову, ни один мужик—я вам говорю—не посмеет повеситься в сенокос или в жатву!.. А ведь мы жнем, жнем,—чорт побери!

— Значит, срок, Василий Петрович,—сказал я.

Но тут окончательно он обозлился, закричал, надувая щеки синевой гнева.

— Нет сроков! Нет! Каждый волос на счету! Я даже сплю на делах, во сне распоряжения отдаю, в бане два месяца не был, и—чорт его знает—как у меня самого дети растут?.. А плакался я вам? Болел хоть раз? В отпуск

ездил? Так как же нам, а? Как же нам, когда кажды
работник у нас на счету, и на каждом пятьдесять ч
тыре дела, потому что вся остальная сволочь в стра
сидит сложа руки, или противоборствует и злорадствует.
как же нам поступать с дезертирами? А? Нет, товарищ
дорогие, взялся за гуж, не говори, что не дюж... Н
наша она, вот что!..

Он замолк сразу, глазами уставился на дорожку, и
видя, должно быть, ничего. Он ждал, чтоб мы ответи
ему, но мы не ответили, да и что ответить, когда в сл
вах его кипела горькая правда.

— Ну, что-ж,—сказал Василий Петрович, вскоч
ваясь сразу, как вспугнутый,—надо тащить... Меня ж
еще дела ждут! Мужики мои ждут!—добавил он с изв
няющейся улыбкой.

Тогда мы поднялись вместе, как по команде, и пошл
к мертвецкой, уступая друг другу дорогу. Впереди ос
зался Мелков, он шел, всем каблуком давя весенн
грязь—прямой и негнущийся, и мне виден был е
крутой неповоротливый затылок, за ним—Василий П
трович, он прыгал по грязи в припрыжку, как стар
обиженный воробей, поминутно поправлял кепку, а зам
кали шествие мы с доктором, и оба, не примечая гря
далеко вокруг разбрызгивали ее. Сторож безмолвно
створил пахнувшее подогретой гнилью нутро, и скольз
по жирному, как бы натертому салом полу мертвец
вытащили мы наглухо забитый глазетовый гроб. Гр
был тяжелый, мне с Василием Петровичем пришел
наиболее тяжелый его конец—в головах покойниц
и, путаясь в шаге, мы чуть не упали на лестнице.
силий Петрович выругался тихо: «вот чччорт!», а
вынесли мы ее к водовозным дровням все же с ос
рожностью, словно боялись повредить ей в большом
горьком недоумении. Тут я нарвал каких-то проросш

по забору цветов —фиолетовых и колючих, положил их на крышку, скупо, как рыбья спина, блестевшую в солнце, и Василий Петрович подал знак вознице.

План похорон,—как после узнал я,—был строго разработан Василием Петровичем, и состоял в том, чтобы как можно позже повернуть на главную улицу, и обойти город обочинкой, что, впрочем, было трудно: город наш состоял всего из одной улицы между собором и пожарной каланчой, которую, куда бы ни пошел, а миновать трудно. Утро было нежаркое, одно из тех парных весенних утр, в которые крестьяне торопятся засеять яровое, в такие дни, по примете, брошенное в землю зерно дает скорый рост. Деревья только что по весеннему, наспех оделись, но как всегда в сыром утре—радостная зелень их казалась тускловатой. И вот подвигаемся мы пустыми задами домишек, мимо сараев и погребов, мимо проросших бревен и всякой дряни, что сваливают жители наши позади своих жилищ, мимо крапивы и белья, распятого по заборам, мимо мочалок каких-то и крынок, надетых на колья, как головы мертвецов. Очень хозяйственный и в этой державной своей хозяйственности заносчивый вид имеют дома нашего города, если приблизиться к ним с задворок. И было мне очень грустно при мысли, что человека, совершающего последний свой путь, тащим мы по черному ходу жизни, которую спрятал человек от глаза, в которой живет он для себя—без крылечек, без петухов на флюгерах, без коников, украшающих окна нашего города с фасадной стороны.

Но только напрасен был наш обходный маневр. Люди в нашем городе живут не чем-нибудь—заметьте—а кем-нибудь, и когда с кем-нибудь случается такое вот непредвиденное—как же укрыть непредвиденное это от общего глаза? И видел я, как выглядывали из-за заборов,

из щелок в сараях, из окошечек, из полуотворенных сеней—глаза, синевшие от ненависти за то непонятное, что принесла с собою смерть Сигаревой. Глаза старух провожали нас темным гневом, знавшим свои истоки; многие старухи плевали нам вслед. Глаза молодых замужних женщин светились сожалением, их глаза голубели, как цвет утреннего неба над нашим городом, и тотчас же—как бы стыдясь невольной своей жалости—лиловели укором, и руки, державшие крышку или детское белье, или лохань с картофельной шелухой, начинали двигаться с остервенением. И только глаза девушек блестели странным торжествующим каким-то испугом, каким блестит река, покорившаяся грозе; но никто не присоединился к печальной нашей процессии—нет!

На свороте с задворок гроб качнуло, и букетик, который положил я на блестящую его глазетовую крышку, соскользнул вниз, упал в тяжелую утреннюю грязь,—и я, сам не знаю почему, не нагнулся, чтоб поднять его.

Дня три спустя приступил я к формальному расследованию причин самоубийства заведующей дошкольным образованием уезда тов. Лукреции Сигаревой.

Жила она у начальника пожарной дружины тов. Матебоженко, и комнату ее—тогда же в день обнаружения трупа—я запечатал сургучной печатью, оставив в ней все вещи, несмотря на протесты тов. Матебоженко, требовавшего, чтоб я вернул его самовар.

Тов. Матебоженко и после раза три приходил ко мне, находя странным, что я арестовал самовар.

— Вот, тов. Матебоженко,—сказал я, придя к нему в дом,—скоро начнете пить чай, как прежде...

— Давно пора, — недовольно отвечал он тихонким своим голоском. Надо вам сказать, что внешность его отнюдь не соответствовала пожарной его лихости. Был

он человеком застенчивым, лицо его не горело медно-багровым, как принято изображать в литературе, румянцем, а было в меру украшено хохлацкими усиками, угрястым носом и подбородком, который брил он исправно, и который потому слегка заиндевел шелушащейся кожей. В жизни нашего города был он, за исключением пожаров, — человеком неприметным, но не плохо играл в шашки, особенно в поддавки, и обыгрывал весь шашечный кружок при клубе имени 1-го мая, отчего, я думаю, кружок и не получил дальнейшего развития. Со мной он был всегда приветлив той особенной—на случай — осторожной приветливостью, какой-приветлив русский человек с судебными работниками или с врачами; всегда, бывало, расскажет какой-нибудь веселый анекдот, и первый же засмеется, пряча усы в ладонь. И вот на нем я впервые заметил странное это чувство раздражения, наядливого, как зубная боль, и отвратительного потому, что было оно беспричинным.

Открываю дверь, запечатанную сургучем, а он рядом держит свечу, наблюдая, чтоб не капнуть мне на плечо, и слышу я его дыхание на своем плече, и чувствую, что мои руки дрожат, никак не могут попасть ключем в скважину,—оборачиваюсь к тов. Матебоженко, и тем ощущением, какое у нас, у судебных работников, заставляет безошибочно угадывать преступника,—этим верхним, как у собаки, чутьем, чувствую, что преступник здесь, вот он—капает на пол стеарином. Я поднял руку к лицу и провел ею по лбу, отгоняя чудовищное предположение, и все сознательное во мне воспротивилось этому ощущению, но с тем, с другим-то, с подсознательным, совладать никак не могу, будто собака, попавшая на след: ей не свернуть, след-то сильнее ее, и она против воли мчит по нему.

— Стойте,—говорю,—товарищ Матебоженко, ключ-то я, кажется, не тот захватил...

Чувствую: мне бы только выйти, освежить голову, чтоб рассыпались чудовищные мысли мои.

Вышли мы с ним в сени, а вечер—на дворе хозяйка его с коровой возится, и маленькая девочка где-то плачет, жук майский пролетел над самой головой, резанул воздух жужжанием... Что же это такое? Поднимаю глаза и вижу: глаза у него прячутся в потной пойманной поволоке и скользят от взора моего в землю, словно догадываются о моих мыслях, и усики, защищаясь, приподнимаются, а под ними — мокрый рот: да вот таким человеческим минутам не бывает!

— Я уж,—говорю,—завтра, товарищ Матебоженко... с ключиком-то,—говорю,—завтра... может быть, завтра ключик подойдет...

И верите ли, всю ту ночь глаз не мог свести в ненадежном сне. Словно бездна раскрывалась моему уму. Логически я все отлично понимал: что общего мог иметь уважаемый наш товарищ Матебоженко с девушкой, на юность которой мировая история отдала лучшие свои цветы? Ведь они даже классово были различные люди, и классовая их полезность была не одинаковой, а вот, когда я пришел, наконец, и открыл ключиком дверь и товарищу Матебоженко выдал арестованный его самовар, — перестал ведь из этого самовара чай пить товарищ Матебоженко. Будто в жуткий тот момент, когда дверь со свечкой открывали, прикоснулись мы с ним к чему-то, что не смеет понять человек до конца.

Как и следовало ожидать, вскрытая комната ничего, кроме дневника, засунутого под матрас, к внешним, уже знакомым мне обстоятельствам дела не прибавила. Но я долго, целыми часами сидел в ее комнате, как бы по внешности ее стараясь восстановить неиз-

вестные мне стороны характера покойной. Комната ее таила в себе те же противоречия, что и лицо ее— юношески-старое. Возле окна, чуть прикрытого кисейной желтой от табачного дыма занавеской, стоял столик; фикусы, которыми весь домик тов. Матебоженко был заставлен до чрезвычайности, стояли в углу, и видимо никогда не поливались. В простенке висел детский портрет Ленина, на столике — старые газеты, политграмота Коваленко, томик стихов Есенина и тургеневский роман «Дым». Прорванная пачка дешевых папирос, коробочка пудры «Киска Лемерсье» — эдакое, ведь, подлое название у пудры! И кровать, прикрытая девичьи-белоснежным одеялом, с «возвышенными» подушками. В комнате главенствовала пыль и как бы нарочитое небрежение к уюту: безжалостно отставленные в угол цветы, сор, сметенный туда же, и в нем окурки, но кровать была чистой, и на одеяле — ни одной складки. Я тщательно перерыл ее вещи: майки, рубашки, грубо подштопанные черными нитками по белому, обнаружил одну пару шелковых, любовно завернутых в папиросную бумагу чулок. С волнением разглядывал я рубашки и майки,—ведь всего неделю назад они, эти вещи, жили; согреваясь теплом живой человеческой жизни, они, эти вещи, имели какой-то смысл, и вот сейчас — они потеряли свое значение, и холод их бессмысленности жжет руки. Заметьте, — нет ничего страшнее вещи, потерявшей смысл. Попробуйте встретить в поле шкап, или покрытую пикейным одеялом кровать в пустом доме?

— Цветы!—с удивлением вскричал товарищ Матебоженко.

— В углу,—подтвердил я.

— Но они там гибли без воздуха и солнца,—возмутился он, собрал горшки, покачивая головой, любовно обтер их тряпкой от пыли и вынес.

Эта маленькая деталь послужила ему как бы островком, с которого он смог, наконец, определить свое отношение к покойной Лукреции. В его голосе проступило пренебрежение, и глаза его стали выдерживать мой взгляд, не соскальзывая в пойманном поту на землю. Он рассказал мне о привычках Лукреции, о том, что по утрам она пела, и песни эти, которые она,—как выразился тов. Матебоженко, — «курлыкала себе под нос»,—были революционными, или же так — не разберешь что: один мотив, а слова без всякого значения. Тов. Матебоженко, и сам не плохо игравший на гитаре, попробовал однажды спеть ей «ночи безумные», но Лукреция прослушала песню безучастно, и во второй раз петь при ней он застеснялся.

Мне почему-то припомнились слова тов. Швого о примате личного, о противопоставлении личного общественному. Да, прежде мы, такие как я, запирали личное в терему, а терем этот называли душой, и эти живые для нас и мертвые для всех других, даже соседей, терема—воздвигали города с пупами церкви и пожарной каланчи... Кому-ж нужны оказались наши города? И страшно мне, ох, как страшно догадаться: уж не потому ли и разжалован наш город, не потому ли город наш и обращен ныне в село, что двери домишек его, хватающих в обрез на одну человеческую жизнь, открываются прямо в ничто?

В наше ничто оглянулась тов. Лукреция? На иной, неимеющей никаких исторических прецедентов, стояла она дороге,—и вот на гитару оглянулась, на тов. Матебоженко... Ставь же, товарищ Матебоженко, самовар! Пей чай в могиле и помни, что ты, мертвый, еще пожираешь живых, если они шатаются от усталости.

— И все у нее было как-то не в попад, — сказал тов. Матебоженко, смелея и оттого ухмыляясь.

— А именно?

Но голос мой прозвучал, должно быть, профессионально-пытующе,—он тотчас смешался, словно опять припомнил сцену у запертой двери, и стал рассказывать о ее жизни, о тех фактах, которые (невольно для него) проходили через ее пренебрежение к цветам. Она все делала невпопад. Обедала, когда придется, по большей части ей оставляли холодное, «поклюет как птица, даже не разбирая вкуса», спала, когда «было свободное время»—не было у нее уважения ни к еде, ни ко сну. Уважение ко сну и к еде придают устойчивость человеческой жизни,—именно этой устойчивости, по словам тов. Матебоженко, у нее не было. Цветы очень помогли тов. Матебоженко нарисовать ее портрет. Ведь, и всегда в определении чужого человеческого характера надо только отыскать факт, который для нас самих не безразличен, и такой факт невольно для нас самих окрашивает изображаемого человека в определенный цвет. Кто бывал у Лукреции? Матебоженко назвал мне фамилии всех приметных в нашем городе комсомольцев.

— Я не о том,—сказал я,—вы понимаете: в каком смысле я вас спрашиваю?

— Да кто-ж их разберет?—воскликнул он, в насмешливом удивлении всплескивая руками,— все они—на «ты», все друг дружку лапают, что парни, что девки, да и Катя скорее на парня была похожа... моя жена, знаете,—тут тов. Матебоженко стыдливо скосил глаза,—раздеться при ней стеснялась, ей богу! Очень они, право, бестыдные все какие-то... И вот если, скажем, разобраться, кто у них за кем страдает—это, Алексей Алексеевич, никак невозможно...

Ну-с, что-ж оставалось мне делать? Вещи, письма, дневник ее озаглавленный «Мысли для себя тов. Лукреции Сигаревой» я забрал с собой,—вещественные

доказательства. А уходя от Матебоженко, позволил себе шутку:

— Чай пить, — говорю, — чай пить о-очень даже можно, Матвей Степанович. Смешная вещь, когда человек ни с того, ни с сего перестанет пить чай...

Мысли для себя тов. Лукреции Сиаревой.

1.

30 марта 192" года.

Вести дневник—довольно глупое для сознательного человека занятие. Можно заболеть и, наконец, умереть — и вот остается дневник, который все будут читать, будут знать самые тайные твои мысли. А как произошел этот дневник? Я пошла в кооператив купить тетрадочку, чтобы записывать наблюдения над детьми,— и вдруг вижу: стоит на полке эта самая книжечка в голубом коленкоровом переплете, и на ней вытиснено «Poesie». Спрашиваю тов. продавца: для чего это слово написано? — а он говорит: для стихов и мыслей для себя.

И я невольно подумала, что у меня есть «мысли для себя», и, может быть, мне будет легче, если я буду записывать их? Так я пробовала делать раньше: запишешь мысль на бумаге, поглядишь на нее со стороны, словно она — чужая, и становится легче: чужие мысли можно подвергнуть критике, а свои — никогда.

Даже смешно! Словно я оправдываюсь в том, что завела дневник. Но перед кем оправдываюсь?.. Ведь только перед собой...

И все таки буду! Обязательно буду писать—не пропадать же теперь книжке, на которой исписаны две страницы?..

2.

И так, начинаем с анкеты.

Я окончила девятилетку и медико-педологический институт в Москве. Родители — чистокровного пролетарского происхождения, но я почти не помню их: мать умерла, когда мне было десять лет, а отца, кажется, совсем не было:—мальчишки на московском дворе дразнили меня «байстручкой». Мать с утра до ночи, и с ночи до утра работала поденной прачкой, чтоб дать мне возможность учиться. У нее никогда в жизни не было своих личных радостей, теплой шубы и калош, но меня она одевала как господскую барышню и отдала в прогимназию. После смерти матери я умерла бы с голода, если-б не революция, благодаря которой я попала в детский дом и в девятилетку. Вот где оценила я великую жертву, которую всей своей жизнью принесла мне мать, воспитывая меня из своих поденных полтинников: мне было значительно легче учиться, чем многим моим товарищам, пришедшим в школу от сохи или от станка. После девятилетки я окончила медико-педологический институт, и была назначена в наш город заведывающей дошкольным образованием. Вот и вся моя замечательная биография. Всю свою прошлую жизнь я только подготовлялась к жизни. И потому прошлое вспомнить нечем—жизнь для меня началась всего год назад, когда я попала в П.

Зовут меня Екатерина Сигарева, но я сама, еще в вузе, переменила имя на Лукрецию, чтоб под новым именем начать новую жизнь. Еще я думаю, что должна записаться в комсомол, но что меня держит не делать этого хоть пока, хоть сегодня — не знаю...

3.

Совсем пахнет весной. Текут веселые ручьи с крыш, ветер свистит по весеннему, как озорной мальчишка... и солнца, солнца — целое окно. А, главное, чувствуется весенний аромат в воздухе, и день радостный, как именины. Сижу целый час у раскрытого окна и наслаждаюсь, ни о чем не думая. Оказывается, что можно наслаждаться природой не только на физкультурной площадке или на маевке с товарищами, но совсем одной в своей комнате...

Очень и очень хорошо! Жаль только, что так мало записано в дневнике.

4.

Как это было в первый раз? Однажды он пришел ко мне с книгой Плеханова, чтобы вместе читать. Он стоял в дверях; я сказала, что читать сегодня мне что-то не хочется, но я буду читать, если уж он пришел.

— Нет, Катюша, и не просите...—отвечал он, покачивая головою,—и у меня нет настроения...

Меня это «Катюша» и это «вы» так и обожгли. Но не хочу писать—глупо и глупо. Почему я такая глупая уродилась? Петр для меня — товарищ, прежде всего—товарищ, только всего—товарищ!

5.

Раньше я не задумывалась над этим вопросом, а сейчас мне хочется определить свое отношение к людям. Как я вообще смотрю на людей? Я делю людей на две половины: партийные и беспартийные. Партийные—это

для меня даже не люди, а герои, которым выпала самая тяжелая в жизни задача—строить новую жизнь. А что-ж я? Может быть, я потому и не записываюсь, что трушу, что не по силам мне, а? Но, ведь, и от беспартийных я навсегда оторвалась. Большая часть беспартийных в нашем городе—боссознательная масса, не доросшая до нашего времени. Они — как маленькие дети, которые еще не доросли до взрослых. А еще хуже, чем беспартийные—обыватели, которыми,—как на беду!—заселен весь наш город. Этих ничем не прошибешь, как негров.

6.

Бухарина кончила. Надо еще прочитать «Коммунистическую этику» Преображенского. В саду Матебоженко играет на гитаре, а это с некоторых пор вызывает у меня ожидание чего-то туманного, но приятного. У нас в клубе играют или «интернационал» или «буденовку», и духовые трубы гремят как на первомайском параде.

Раньше я почти не вслушивалась в то, что играет Матебоженко: он какой то чудной и чужой мне, но голос у него хороший.

Поговори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная...

Разве пойти к нему чай пить? Полгода живу, а не нашлось даже полчаса, чтоб посидеть вместе.

7.

П. не видела три дня: уехал на осушку болот.

Разве мне не все равно? Что за безумная вещь—женское сердце! Зачем оно так дико устроено?

8.

Работать! Работать! Работать!

Сегодня весь день провела в яслях, работала прямо с наслаждением. Чем замечательна работа? Когда работаешь—ни о чем не думаешь. Подходит четыре часа, и только удивляешься: как, уже четыре? Из яслей бежала домой вприпрыжку, как девчонка. У меня всегда после работы замечательное настроение.

9.

А к вечеру опять такое же ждущее настроение, как было, когда Матебоженко играл на своей гитаре. Ждут чего-то! Хочется красивых, ярких переживаний, как у пушкинской Татьяны.

О, как хочется жить, наслаждаться, всего хочется! Неужели и в самом деле человеческая жизнь только и есть, что каждодневный труд, каждодневная забота о других? Неужели так-таки и нельзя пожить *для себя*, для меня, для Катеньки?..

10.

Пятница, 17 апреля.

— Вы очень жестокая! — сказал он мне сегодня, встретившись в исполкомовском коридоре. Он держался за ручку двери в кабинет тов. Гудилина, а, сказав, сейчас же скрылся в кабинет.

Вот загадка! Почему я жестокая? И почему у него такое не всегдашнее, а будто раздавленное лицо? Может быть, я в самом деле чем нибудь его обидела? Конечно же, обидела!! П. заходил ко мне, как товарищ, если не по партии, то по работе. Ведь свою работу я дела-

честно и не хуже партийцев. И вот вместо товарищеского привета — надутое лицо и метания (ведь не люблю же я его в самом деле?!) Тогда он перестает заходить. А что же я? Я оказываюсь в огорчении от того, что он перестает заходить. Как сделать так, чтоб опять все было хорошо, чтоб опять я и он почувствовали себя товарищами, перестали говорить друг другу «вы» и опускать глаза при встрече?

Если бы он пришел под каким нибудь предлогом ко мне!!... Ко мне одной!

11.

Сейчас ни с того, ни с сего плакала. Меня самое до такой степени удивили эти слезы, что я растерялась;—я даже не помню, чтоб когда нибудь плакала, и считала, что я неспособна на это занятие для девиц из тургеневских романов.

Почему?—спрашивается. Отчего?

От того, что Петр ушел в «Европу» играть на бильярде? От того, что он сегодня грубо и, должно быть, нарочно, чтоб слышала я, сказал Артюшкину: «а Нинель—отличный бабец!» От того, что несколько дней подряд он не приходил ко мне и словно меня избегает.

Я с ума сошла или больна: да разве ж можно плакать от подобных вещей? Нет, нет, конечно, я больна гриппом, последние дни опять потянуло с болот туманами, и меня целые дни знобит...

Все произошло так: сегодня вечером неожиданно являются Артюшкин и Петр «на огонек». Очень было хорошо. Разговаривали о международном дне юношества. Мне всегда нравится горячность П., когда он говорит о международной роли юношества, и о том, что в наше время юноши должны подать друг другу руки в борьбе

за пролетарское счастье, и стереть границы между отдельными государствами. «Только тогда, — говорит он,—мы и найдем настоящее, не маргариновое счастье, когда найдем его для всех—каждый получит свою долю». А так, по его словам, получается «ерунда на свете»— каждый человек тащит счастье для себя, и если даже находит его, то оно — такое маленькое, «дохлое», как говорит П., что его не хватает человеку не только на жизнь, даже на год. Потому-то люди так часто расходятся, поженившись.

Когда он говорил, я испытывала волнение: мне казалось, что я в чем то не дотягиваю, в чем-то не доросла до него, до них, до комсомольцев.

Потом мы ходили провожать Артюшкина, а обратно шли вдвоем с Петром. Была уже густая ночь, луны не было из-за туманов, и на Сенной площади я чуть не споткнулась. Петр взял меня под руку, сказав, что теперь—ночь, и все равно никто не увидит: ребята считают, что комсомольцу ходить под руку не очень-то прилично.

Мы говорили о любви, я сама первая навела его на этот разговор.

— Как вы смотрите на любовь?—спросила я.

Он усмехнулся:

— А вы как спрашиваете? — для массы или для себя?

— А разве это не все равно?

— Нет, — отвечал он, и мне показалось, отвечал с печалью, — это далеко не одно и то же... Мы с вами читали Залкинда, у него есть определение любви для коллектива... «Допустима лишь такая любовь, которая способствует росту коллективистических чувств, классовой организованности, производственно-творческой боевой активности и остроте познания». Помните?—

«если то или иное половое проявление содействует обособлению человека от класса, уменьшает остроту его научной, т. е. материалистической пытливости, лишает его части производственно-творческой работоспособности, понижает его боевое качество — долой его»... а для себя я не знаю. Может быть, я — исключение и урод... Но мне кажется, что жизнь каждого человека есть все-таки ценность и сама по себе... И вместе с тем я знаю твердо, что вот так,— он показал при этом на смирно заснувшие окна нашего города,—вот так я бы прожить не мог.

А меня, глупую, волновало не то, что он говорил, я даже не вдумывалась в его слова, а волновало то, что мимо всех окон я шла с ним под руку, и на всех людских глазах мы были с ним вдвоем. Но когда я пришла домой и увидела в зеркало свои красные щеки— меня, как сквозняком, охватило такое чувство, что моим товарищеским отношениям с П. скоро придет конец. Мне будет обидно, если на мое хорошее товарищеское отношение он ответит равнодушием. Я привыкла к нему, мне скучно, когда его нет. Разве это не чисто товарищеские отношения? Но почему же он стал говорить мне «вы», как никогда не сказал бы комсомолке?

12.

Среда, утро.

Вчера я была очень несчастна... и теперь ужасно, ужасно несчастна...

Целый день не видела П. Вечером заявилась Нинель, а за ней подошли Артюшкин, Кленкин и П., и началась специфическая нинелевская манера кривлянья. Она принялась рассказывать, как она была на случном пункте. Всякий знает что делается на случном пункте,—

но зачем пересказывать это во всех подробностях? Мне стало не по себе и, должно быть, я покраснела. Нинель прокричала: — «ах, ты, барышня-крестьянка! Что-ж тут стыдного, если бык лезет на корову? Ведь от твоего стыда он не прекратит своего занятия!» Все засмеялись, а Нинель закурила и щелчком бросила спичку к П., который поймал спичку на лету и положил в карман.

Я отошла к окну и не принимала больше участия в разговоре. «Все естественное не смеет быть стыдным», — сказала Нинель. П., заметив мое настроение, подошел ко мне.

— Почему вы такая недовольная? — спросил он. — Или в самом деле вас мог смутить рассказ Нинели?

— Я не недовольная...

— Но я же вижу!

Тогда я отвернулась от него, давая тем понять, что у меня нет желания продолжать подобный разговор. Я вообще заметила, что наши товарищи-мужчины словно нарочно затевают при нас, девушках, разговоры на «рискованные» темы. Нинель не только не краснеет при этом, но еще и наоборот — сама может перещеголять любого мужчину подробностями. Такое ее отношение к «этому» сначала даже нравится мужчинам: они оказываются огорошенными. Но потом они перестают Нинели стесняться, говорят при ней решительно все и — я это очень хорошо заметила — перестают с ней считаться как с женщиной, и она им перестает нравиться. Когда Нинель приехала — за ней стали ухаживать Кленкин Иван, Скороглядов, Артюшкин. Но как только выяснилась ее развязная натура, — они от нее отстали, словно она потеряла для них интерес, как женщина.

Что же заставляет П. присматриваться к ней с таким интересом именно теперь, когда ее натура выявилась

во всей красоте? Не голое же ее бесстыдство? Я заметила, что мужчину больше всего привлекает к женщине женская стыдливость. К нам только что приехала новый товарищ — Груша, которая имеет в городе отца и мать. Он регулярно посещает все заседания, собрания, доклады тов. Швого, она — отличная работница, но все свое свободное время проводит в семье и не принимает участия в наших «кошачьих свадьбах»: мы, молодежь, все наше свободное время проводим вместе, т. е. как сойдемся на работе, так и не расстаемся до глубокой ночи, ни к кому в городе не ходим в гости, и никого, кроме себя, не знаем. Я видела, с каким чисто м у ж с к и м интересом наблюдают наши товарищи-мужчины за Грушей. У них такие неспокойные глаза, словно они стерегут ее один от другого. У нее же — лицо шестнадцатилетней девочки (ей, кажется, восемнадцать), она так беспощадно краснеет, — словно вот-вот расплачется—при каждой «такой» шутке, что товарищи стали невольно сдерживаться при ней. И вот Нинель и Груша—для меня два полюса, между которыми я нахожусь.

Он спрашивает меня: отчего я такая недовольная?

Все мое существо (а ведь у меня есть существо, и оно—только мое) кипело как кипяток от омерзения и протеста к тому, что продолжала рассказывать Нинель. У меня даже какая-то гадливая брезгливость открылась против нее. Теперь я никак не могла бы, например, поцеловать ее. И в то же время было горько от своих мыслей. Какая же я в самом деле новая женщина, если не могу побороть в себе лицемерный стыд при виде естественных вещей? А может быть, я не новая, а? Я—не комсомолка, но я — и не обывательница. Я — беспартийная, советская женщина. Я — девушка, вот кто я...

— Я не люблю пошлостей,—сказала я П.

Он сразу надулся и замолчал. Отошел от окна и целый вечер не проронил со мной ни слова. Но я приметила, что он рассматривает меня с такой озлобленной иронической улыбкой, словно оценивает на вес.

Вечером пошли прогуляться. Я и П. проводили всех; ему, как всегда, нужно было возвращаться со мной по одной дороге — мы живем ведь почти рядом. Последнее время, когда мы ходили вечером, П. брал меня под руку, и мы шли вместе. Сегодня он всю дорогу шел сбоку и молчал. Когда мы проходили через Сенную площадь, он увидел, что Прокофьич еще не запер свою «Европу», и сказал рывком, словно выругался:

— Ну, мне сюда!

И пошел к нему, к Прокофьичу—в пивную, оставив меня одну.

Я шла домой как в могилу, и дома не могла ни читать, ни спать, ни заниматься, а надо было срочно подготовить сводку по записям детского языка.

13.

Сегодня П. был какой-то странный. Сделал не только мне, но и Артюшкину выговор, за стихи, которые тот мне принес.

Но мало Артюшкину, — П. наговорил дерзостей и Скороглядову, когда тот рассказал какой-то, как он их называет,—«детский анекдот». Даже Кленкину за что-то попало.

Словно у П. есть какое-то право на меня. Нет, нет,— на подобное я никогда не соглашусь. И откуда только у мужчин берется это право хозяина? Чуть только пройдется с какой-нибудь девушкой два раза, посидит

с ней, одно-другое слово скажет—и уж купил! Это меня так взорвало, что вечером я даже не пошла в клуб, хоть наверное знала, что П. там будет.

14.

Прочитала в газете рецензию на книжку поэта. Фамилию забыла.

Разбирая стихи, критик говорит, что «индивидуальный героизм нам не нужен»—он не наш, не марксистский. «Недаром,—говорит критик,—слово «герой» рифмуется с «душой». И то, и другое мы можем выкинуть за борт корабля современности, снасти на котором крепит комсомол».

Вот в чем оказывается весь секрет, которого я не понимаю. Значит, я просто должна выкинуть за борт «и то, и другое». Но я что-то не понимаю. С одной стороны, газеты призывают молодежь учиться у классиков, «объясняющих человеческую душу». А с другой—самое душу некоторые наши критики призывают выкинуть, как хлам, на помойку.

15.

Роль Швого? Тов. Швой—докладчик по всем вопросам. Как только выдвинется какой-нибудь вопрос в ударном порядке — тов. Швой делает сейчас же доклад. Так он сделал доклады о хлебозаготовках, о положении в Китае, о борьбе с растратами и неграмотностью, о вреде куренья, об аресте советского золота французскими банками, «что такое любовь», о троцкистской оппозиции...

На докладе о любви было больше всего народу. Чуть было не произошел скандал: на доклад явился поп Афанасий, но его попросили оставить стены клуба...

16.

Если-б только я перестала его так бешено стесняться! Я бы, например, умерла от стыда, если бы он вздумал меня поцеловать...

Самая глупая запись в дневнике. Это потому, что писала ночью...

17.

За последнее время вижусь с П. мало, и в результате прямо падает настроение. Ничего не хочется делать.

Где он сейчас?

Конечно, он сидит у Кленкина, а там Нинель. Как бы я хотела, чтоб у Кленкина сейчас сидел Швой, и пусть даже Нинель, а П. там не было...

Сегодня мне нездоровится. Пришла из своего «цветника» и решила просидеть весь день дома. Лежу, читаю, думаю...

«Брось тоску, брось печаль!» Фу, как не хорошо физически...

Но физическая боль — блаженство по сравнению с нравственной, с этой новой болью, которая словно гроза с неба обрушилась на меня. В сто раз, в миллион раз лучше было терпеть голод в девятнадцатом году, чем мучиться сомнением и ревностью, какими я мучаюсь сейчас. Бедная я женщина!

Может быть, он у Швого? Как было бы отлично, если бы сейчас он был у Швого!

Где он? Где он? Где он?

Матебоженко за стеной блаженствует на гитаре:

Брось тоску, брось печаль,
И смотри смело вдаль...

Скоро ты будешь, ангел мой,
Моею миленькой женой...

Я могу быть только ревнивой и злой женой...

18.

На другое утро.

Если вчерашнее мое состояние продолжилось бы еще хоть один день — я бы с ума сошла. В жизни не приходилось испытывать такой тоски! Было такое ощущение, словно на мою грудь упал весь земной шар. Сейчас я не могу во всех подробностях передать—это ощущение уже прошло, а переживать его еще раз, хотя бы в воспоминании, нет ни малейшего желания. Но самое неприятное то, что вчерашние мои страдания не были вызваны физической причиной (если не считать...), а целиком и полностью принадлежат к тем духовным страданиям, при чтении о которых у Пушкина или у Тургенева я всегда испытывала досаду на писателей: на человека зачем они врут? У Пушкина есть стихотворение:

Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился...

Как можно томиться духовной жаждой? Как можно влачиться по жизни — когда кругом неоглядное поле работы и труда? И кто посмеет влачиться?

У меня валенки подшиты кожей—где ж мне в валенках влачиться по духовным пустыням?

Вечером в тот же день.

Что только со мной творится? Точно качаюсь на качелях: от состояния беспричинной детской радости

в безнадежное (будто я уже — старуха, и все в жизни для меня кончено) отчаяние.

Только что была в клубе на картине «Багдадский вор». Силком заставляла себя следить за картиной и не уноситься мыслью далеко-далеко от чудесной игры Дугласа Фербенкса, — ко всему в мире у меня пропал интерес кроме одного... кроме одного! Меня гораздо меньше интересует и политическая жизнь (пять дней не брала в руки газету!) и в работе с детьми кое-что запустила, и к болотам остыла (а ведь вот-вот наперекор невежеству и косности нашего города придет трактор, и распашем мы новые поля)—и мне даже страшновато стало, будто я—не я.

Я хочу одного... Я хочу, хочу, хочу... (тысячу раз готова написать это слово) я хочу... чтоб и сегодня, и завтра, и всегда, пока я, Катя (она же тов. Лукреция Сигарева, — ах, беспутная Катька!) жива—все в жизни было бы хорошо, хорошо, хо-ро-шо, ххо-рррошооо!!!!

Дальше не пишу: разревусь...

19.

Я и сама отлично вижу, что с таким «настроением» просто невозможно дышать.

Откуда оно у меня? — Этот дневник мой — мое несчастье?

Вот откуда: последнее время я слишком мало работаю. Это безусловно верно: когда мало работаешь — больше думаешь. Меня задавили мысли. А как беззаботно жилось раньше, всего год назад! Как легко дышалось мне, когда не рассуждая, верила я, что все жизненные вопросы разрешены вождями.

Нет! Во что бы то ни стало надо пересилить это свое «настроение» (Швой назвал бы его упадочничеством), потому что если... А что будет, если?..

20.

Я попросила Алексея Алексеевича объяснить мне, что значит слово «интеллигент», и откуда оно происходит? Он говорит, что слово это—не русское, пустил его в русский язык писатель Боборыкин, а происходит оно от латинского глагола «интеллиго» (понимаю).

21.

Старым, высокообразованным партийцам, которые читают и п о н и м а ю т каждое слево Ленина, Маркса и Плеханова—им хорошо, они знают, куда стремятся.

Хорошо и всем неграмотным партийцам от сохи или от станка—они в е р я т и слепо идут за вождями.

Очень тяжело среднему партактиву, который от слепой веры уже оттолкнулся, а понимать каждое слово Ленина и Маркса еще не научился.

Но каково же нам, беспартийным, но советским работникам?

22.

Только что встретилась со Швым. У меня в руках была книга Лермонтова «Герой нашего времени», которую я несла в библиотеку переменить. Он спросил меня:—что это за писатель, и читала ли я эту книгу? Видимо, он не знал Лермонтова. Выслушав краткое содержание, он сказал:

— Да, конечно, это—не герой нашего времени...

Тут он вынул из портфеля «Правду» и прочел отрывок из речи работницы Прохоровой на съезде МОПР'а в Москве:

«Я готова переступить через труп своего ребенка, лишь бы оказать помощь борцам революции».

— Вот,—сказал мне тов. Швой, складывая газету,— одна из настоящих героинь нашего времени!

23.

В данный момент моя жизнь уперлась в житейский тупик.

Во первых — материальные затруднения. Остается всего рубль до первого. На все: на обед, на газету, на хлеб, на керосин, на все-все...

Во вторых—ровно через неделю в клубе мой доклад о дошкольном воспитании, а у меня не только не написано ничего, но и не прочитано ни одной книги по этому вопросу.

В третьих—мне надоело жить у Матебоженко. Предстоит переезжать, укладываться и т. д. — и это все— теперь, когда надо писать доклад.

В четвертых—у П. постоянно дурное настроение.

А выбраться из всего этого надо!

Сегодня целый день занималась, но сейчас неожиданно-дурацкое настроение, совершенно обратное той удовлетворенности, какая у меня, обычно, бывает после работы. Мне очень жалко себя, но в этой жалости я вдруг нахожу даже какое-то удовольствие. Не хочется развлечениями нарушать эту жалость к себе, и потому сегодня в клуб не иду. Может быть, я клевещу на себя? Просто чувствую слабость, нет настроения идти и веселиться. Все—все равно... Даже не хочется видеть П., не жалко пропустить случай, когда могла бы его увидеть...

Сто лет тащиться через весь город, опять Швой, опять Кленкин, Скороглядов, которые обращаются с тобой, словно ты им—сестра родная... Нет, не пойду...

3 часа ночи.

Страшно раскаиваюсь, что не пошла в клуб. Ужасно хочется видеть П. Глупая я, глупая! Убить меня мало...

24.

Вчера П. опять дико пил в «Европе», напился до того, что на площади полез на фонарь прикуривать и обжег себе пальцы. Утром это стало известно тов. Гудилину, и он сказал П., что подобные поступки совершенно недопустимы для комсомольца, и сделал даже предупреждение в том смысле, что П. может потерять билет ВЛКСМ.

П. взволнованный пришел ко мне и сам рассказал об этом. У него был очень растерянный вид, и глаза его не горели, как всегда, огоньками, а были вялыми и очень добрыми.

— Вот видите,—сказал он усмехаясь,—что хорошего в том, что я напился? Если бы я был женат, хоть на на вас что-ли, — я бы не был вчера в «Европе», а мы пошли бы под ручку слушать доклад товарища Швого о хлебозаготовках, или остались бы дома и проиграли весь вечер в шахматы...

Я привыкла к таким его шуткам. Обычно эти шутки он подкреплял нехорошим раздраженным смехом, а вчера он сказал это даже растерянно. И вот эта его необычная растерянность и незлые глаза — тронули меня до того, что хотелось прижать его голову к своей груди и погладить, как голову дорогого, своего ребенка. Я почув-

ствовала, что я — сильнее его, и сильнее не сознательностью или развитием, а тем, что я — женщина. И мне хотелось во весь голос смеяться от счастья...

25.

Видеть, как этот сильный, сознательный человек становится кротким и покоряется твоим желаниям и даже капризам — это совершенно своеобразное наслаждение.

26.

Приходили П. и Кленкин. Я кипятила чай на примусе. П., увидев у меня апельсинные корки, сказал:

— Купите полбутылки горькой, настойте на этих корках и угостите меня.

— Ни за что!—сказала я.—Никому не дам из своих рук хмельного.

— Напрасно!—отвечал П.—Выйдете замуж за человека пьющего, как я,—и сами ему поднесете! Например, представьте себе в проэкте, что вы замужем за мной—бить стану, если не дадите...

Я засмеялась в ответ и сказала:

— Но ведь для этого у вас РКК есть. Отведу вас в вашу РКК за шиворот.

Но он сказал серьезно:

— Вот в это-то я и не верю... Что в РКК отведете.

Когда он ушел—я опять плакала. Это—уже старый припев ко всем моим повествованиям. Но почему? Я вспомнила, какой счастливой и жизнерадостной я была в первые месяцы своего приезда в П. Как много радостей кругом я видела для себя.

Неужели это и есть любовь? Не яркое солнце, о котором пишут в стихах, а слезы украдкой и в одиночку, которых стыдно самой же?

Пусть это глупо, но я не могу больше скрывать от самое себя. Да, я его люблю. Мне его присутствие дороже даже присутствия товарищей.

Что сказали бы мои товарищи, если бы им когда-нибудь попались на глаза эти строки?

27.

27 апреля 192“ года.

Сегодня весь день провела в яслях. Хочу много работать, чтобы заставить себя забыться, заглушить тоску, которая не перестает терзать меня.

Швой говорит, что жену нужно выбирать не по красоте, а по сознательности.

28.

Как ждут влюбленные? Я могу это рассказать. Тогда в тишине раздаются звуки, слышные только влюбленному сердцу. Тогда в каждом шуме, стуке двери, звоне посуды, в каждом шорохе мерещатся шаги любимого. Тогда сердце бешено бьется и совершенно замирает от малейшего шороха. Тогда вся мысль, все существо превращается в ожидание. Мозг способен держать только одну мысль: он идет, он не идет! Тогда каждая минута кажется вечностью.

Хлопнула калитка... Он? Нет... Сердце сейчас выпрыгнет из груди.

Я вся—ожидание.

Вспомнился вальс «Ожидание», который так хорошо играет Матебоженко. Как только придет Матебоженко—попрошу его сыграть.

Десять часов. Буду ждать до 11-ти.

... Без 18 минут десять часов. После десяти буду ждать без надежды. Мне не обидно. Ни капли.

Нет ревности, нет горя, а просто — потребность видеть его.

...Ровно десять. Может быть, он думает, что я пошла сегодня в клуб?

Калитка! Он. Я вся—слух и ожидание.

Опять нет!

Хоть бы скорей 11 часов. Тогда не буду ждать. Лучше бы я пошла в клуб.

Почему у меня так бьется сердце сегодня?

А тов. Мелков? Мне как-то неловко перед самой собой назвать его так. Я знаю, что он—комсомолец, он—тов. Мелков, но для меня он—Петя. Милый, милый Петя, Петр, Петруша, Петенька... От одного представления, что он может назвать меня Катей—кружится голова, и сердце стучит как проклятое.

...Четверть одиннадцатого. Через полчаса можно раздеваться и ложиться спать. Ужасно обидно.

А вдруг он болен?

...Двадцать пять минут одиннадцатого. Я сержусь на него.

Среда, утро.

Он не пришел,—и не надо! Просыпаюсь с неприятным чувством, будто сама себя обворовала.

Сегодня надо кончить сводку о детском языке. Немедленно приступаю к работе.

Среда, полдень.

Сейчас вернулась из яслей. Приступаю к сводке.

29.

Почему любовь причиняет столько страданий? Почему любить так больно и трудно?

Безумные женские души! Они тянутся к смертельному яду и погибают.

30.

Воскресенье вечером.

Я пытаюсь анализировать свое чувство, спрашиваю себя: точно ли это так уж серьезно? Не смогу ли я побороть себя? Я уверена, что если еще некоторое время продолжится его убийственное равнодушие ко мне, (не от того ли он равнодушен ко мне, что я—не комсомолка?)—я понемногу забуду то хорошее, что между нами было, стану к нему равнодушнее, а там и совсем забуду его!! Хотя я никогда не испытывала таких страданий, но думаю, что это еще—не настоящее чувство, а только желание его, и П.—лишь воплощение моего желания. Если это так (а как бы хорошо, если бы это было так—при создавшемся положении вещей), я, может быть, как-нибудь и справлюсь с собой и заставлю себя забыть его. Только одно... только одно особенно трудно забыть! Это тот вечер, когда он пришел ко мне и назвал меня на «вы» и Катей.

А какая мука работать с любимым и нелюбящим человеком в одном деле! Наши комнаты в исполкоме рядом. Я невольно для себя прислушиваюсь к его голосу, к его кашлю, к его шагам. Если бы он переменил свою комнату, или бы надолго уехал на болото—мне, верно, было бы лучше. Я не буду его видеть, я примирюсь с мыслью, что у нас в жизни—разные дороги—вот и все! Если действительно любовь—только мука, сплошное страдание, как это случилось со мной,—я не хочу любви! Ведь если серьезно вдуматься в мое положение—я прямо преступно растрачиваю свое время. Все у меня запущено, все не в порядке. Вчера вызывал к себе заведывающий УОНО и торопил с отчетами, и это меня-то, меня, у которой отчеты представлялись первыми по уезду!!

Как было бы хорошо, если бы он надолго уехал на разработки. Я, выражаясь языком Швого,—обалдела за последние полгода. Буквально ничего не делаю, не думаю, не занимаюсь, а только мучаюсь (для себя) и служу (для всех). Это я-то?—Служу, а?

У меня совершенно нет воли, но это оттого, что она не развита во мне коллективом. Я буду следить за собой, буду укреплять в себе волю. Вот сейчас он идет мимо моего дома с крестьянами, и я слышу, они о чем то его просят. На нем все та же милая, милая серая кепка... Ни за что не подойду к окну!..

Чорт знает, до какой же степени я стала безвольной! Я нарочно придвинула столик к окну, так что мне видна вся улица, и в конце улицы идет он,—вот он остановился, говорит что то крестьянам и показывает рукой вдоль улицы, по направлению к моему дому... Его взгляд пробегает по моему окну, он не замечает, что я притаилась, слежу за каждым его движением... Я просто физически не могу заставить себя отойти от окна, пока знаю, что он на улице...

Что мне в нем нравится? Решительно все. Больше всего его высокая, статная фигура, потом рот, потом глаза, когда он так презрительно (рассердившись) прищуривается... Потом нравится, как он говорит... Я знаю, что то, что он говорит—не оригинально, все это можно прочесть в книгах, в газетах,—но он так зажигательно, с таким пролетарским пафосом цитирует, например, Ленина, что в ленинских цитатах, когда их повторяет П., я слышу умолкнувший голос самого Ленина.

Пусть он меня не любит... Лишь бы он был счастлив, лишь бы ему было хорошо—не тогда, когда всем будет хорошо, а вот теперь, сегодня же!..

Еще мне ужасно нравится, что он еще ни с кем не «жил». Что он смотрит на это не так легко, как

смотрят все его товарищи, и про него никто не знает «похождений».

Еще одно... Я бы совсем заставила себя об нем не думать и окончательно успокоилась бы, даже разлюбила бы его, но меня мучает загадка: почему были дни, когда он был нежен со мной, как ни с кем?

Хуже всего на свете неизвестность. Меня томит и мучает именно неизвестность...

31.

Надо сделать объективную сводку отношений П. ко мне, чтобы разобраться совершенно беспристрастно. Я попробую точно записать все наиболее недвусмысленные «за» и «против»,—т. е. любит он меня или не любит.

ЗА:

1. Сделал хорошую надпись на фотографии.
2. Говорит мне «вы», когда всем говорит «ты».

ПРОТИВ:

1. Говорит с Нинелью о половых вопросах и похлопывает ее по коленке. Сказал Артюшкину: «Нинель—отличный бабец». Поймал брошенную Нинелью спичку и положил в карман.
2. Все время собирается совсем переезжать на болото. От любимой не уезжают.
3. Если предложить выбрать между биллиардом и мной—уйдет играть на биллиарде.
4. Смеялся над словом «любовь», сказал, что он не мог бы его выговорить.
5. Сказал, что не признает ни проституции, ни семьи, а другой формы общения полов люди еще не выдумали.

6. Намекал, что еслиб я вышла за него замуж—заставил бы меня настаивать водку на апельсиновых корках...

32.

11 мая 192" года.

Сегодня П. уехал на болото: пришли два трактора. Он радовался тракторам, как маленький ребенок. И правда, пока они стояли на Сенной, весь город сбежался смотреть на них. Я, когда комсомольцы подошли к тракторам, оказалась почему-то не с ними, а в толпе обывателей. И это ужасно поразило и обидело меня. Но кто же меня обидел? Они? Но они зовут меня и считают своей. Неужели, я сама?..

Это—начало конца. Чувствует мое исстрадавшееся сердце: сегодня—начало конца, в день 11 мая 192" года.

33.

Странная вещь, но мое чувство к П. открыло мне себя. Я почувствовала себя другой, не похожей на ту, какой я привыкла себя считать. Я даже подошла к зеркалу проверить: я ли это? И вдруг мне захотелось раздеться совсем голой, подойти к большому зеркалу, посмотреть на себя—какая я? Я ведь совсем не знаю, какая я—голая? Я никогда не видела себя в зеркале без одежды.

Второе приятное ощущение—спуститься в самое себя. Как-то раньше за работой и за делами я никогда не задумывалась о себе. А если оставалась одна мне даже становилось скучно с собой, и я—наоборот—хотела, чтоб кто-нибудь пришел, и даже в клуб я ходила больше по той причине, что мне одной с самой собою было

скучно и нечего делать. А теперь я часто остаюсь дома одна, и мне нескучно наедине с собой и со своим дневником. Но еслибы меня спросила какая-нибудь молодая девушка, например, Груша:—стоит ли вести дневник?—я бы горячо отсоветовала ей Нет, дневник вести не стоит. Он приучает к мысли в одиночку, он научает думать больше о себе, чем об общем деле. Лучше всего в жизни петь общую песню в согласном хоре и не слышать свой собственный голос.

34.

Сегодня Швой мимоходом сказал:

— Я очень интересуюсь наблюдать за влюбленными. Мне всегда хочется сказать им: ну, чего вы, товарищи, тянете?

35.

Надо примириться с мыслью, что все лучшее—позади...

36.

В клуб идти не хочется.

К дневнику просто боюсь притронуться. Попробовала читать «самое себя»—словно обожглась.

37.

Мне жаль себя, но хочется жалеть себя еще больше.

38.

Как спастись мне? Как убежать от самое себя?

39.

Получила от П. открытку—деловую и холодную как лед: просит передать Швому те свои книги, что оставил у меня. Как будто не верит мне! Чужая, а?

Ничего не надо мне от него:—ни любви, ни ласки, ни «сознательного отношения к жизни».

Кончено!

В тот же день вечером.

На сердце плохо.

Сейчас я очень хотела бы с кем-нибудь расписаться, чтоб он видел, что я—женщина самостоятельная.

Глупая, глупая Катюша!

Как отравила меня подлая его открытка! Лучше бы он совсем ничего не писал! Но ведь и гнуться нельзя без конца. Ведь эдак и сломаться можно!..

40.

Сижу одна в комнате. Душно, накурено, на столе сводки, с которыми я опять опоздала. За окном—поздний весенний вечер, вышли девушки гулять и лузгать семячки. Их смех звенит как гривенники в кармане.

Невольно вспомнилось—три месяца назад он приходил ко мне, нежный, свой, ни на кого не похожий. Не было в нем ни развязности, ни самоуверенности. Приходил, курил, рассказывал, мечтал о будущем, и от слов его голова кружилась, как на качелях...

Нет, нет,—пусть не воображает, что я отвечу ему на открытку, что стоит ему свистнуть, и я как собаченка поползу к нему. Мы еще посмотрим, дорогой товарищ! Твердо решаю: никаких попыток примирения

и продолжения отношений с ним. Если он захочет—пусть делает сам. Не захочет—«катись колбаской»...

Катюшенька, ну, милая... Выполни хоть раз в жизни свое решение,—ты,—тряпка безвольная!

41.

Вечером приходил Артюшкин, сидел до глубокой ночи. Я заметила, что в связи с моими отношениями к П.—Артюшкин стал ко мне относиться теплей и сердечнее. Весь вечер проговорил о любви.

— Никто в целом свете,—сказал он,—еще не доказал, что такое любовь, хоть все книги об ней написаны. Вопрос о любви может разрешить в целом только коммунистическое общество.

— А вам остается терпеливо ожидать счастливого этого времени?—спросила я.

Он покраснел и смешался.

— Но ведь годы,—сказала я,—их не заставишь ждать...

Он пробормотал что-то, что у меня нет комсомольской выдержки, и как-то весь замкнулся в себе, словно вспомнил, что я—не комсомолка. Все таки все они со мной что-то не договаривают. Горе мое заключается в том, что я потеряла свое «я». Я потеряла себя потому, что нашла любовь... Неужели каждая женщина так—и в том новом мире, который мы (я или они) строим?

42.

И все таки любить лучше, чем не любить. Если эти мученья, над которыми я сама посмеялась бы полгода назад, и есть любовь—я принимаю их на все сто процентов...

43.

П. уже четвертую неделю на болотах. Проснувшись сегодня, я совершенно равнодушно подумала об этом. Что же это такое? Ужели любовь может пройти за три недели разлуки, и я сама себе лгу в записи 42? Или это—не есть любовь? За что же тогда я так страдала?

Сегодня с самого утра у меня такое чувство, будто я выздоровела после тяжкой болезни. Все полтора месяца моей любви к нему представляются тяжелым бредом, болезненным сном. Ужасно совестно и даже странно, что я могла так глупо жить все это время. Как могла так ненормально смотреть на весь мир, так относиться к науке, к своей работе?

Весь день работала как вол. Чувствую себя прекрасно... Даже странно и дико представить, что я так мучилась... Невероятно, что все это было... «Это было давно—я не помню, когда это было, может быть, никогда»... Он—чужд, он—далек. Пройдет еще некоторое время, я окончательно справлюсь с собой, может быть, встречу другого... товарища, а?

Вот дурочка! (Это я, я, я, конечно!) Ведь решила, что мне надо перестать даже думать о нем... А думаю все о нем, и пишу только о нем...

Вечером была в клубе. Мне было скучно, и я опять поймала себя на мысли, что скучно мне от того, что нет П.

Компания Кленкина Ивана, Скороглядова и к ним присоединился Артюшкин (с некоторых пор эта компания очень действует мне на нервы), весь вечер изводила Грушу, чтоб она им сказала: девушка она или нет. У Груши было недоумевающее лицо, и на глазах висели слезы. Она, наконец, не выдержала и заплакала. И тогда

все трое так растерялись, что буквально не знали, что делать с Грушей. Она плакала и смотрела во все глаза на них, не стыдясь своих слез... Я ждала, что Кленкин и Скороглядов нагло расхохочутся «над плачущей комсомолкой», а они сейчас же смылись из клуба...

44.

Я начинаю заставлять себя разлюбить П. Заставляю, ломаю себя, давлю, убиваю любовь. Безнадежность всегда убивает любовь. И теперь это вполне ясно для меня. Очень и очень ясно. Не в одной любви—счастье, не всем дается счастье в любви. Делать нечего... Я плохо соображаю сейчас, что пишу, потому что очень взволнована. Пишу, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься... Ну, прощай, моя любовь! Ведь это—моя первая любовь и, верно, последняя... Это очень тяжело, но надо же показать самой себе, что у меня есть самолюбие...

Когда я дошла до этого места, я не могла удержаться от слез. Я хоронила свою надежду на любовь. Слезами я дала выход нестерпимой боли. Пришел конец, пришел конец моей первой, моей единственной любви...

45.

Все опять полетело к чорту! Я дрожу, шатаюсь на ходу, лицо горит как ошпаренное. Опять! Опять начинаются мои мученья: П. *приехал*.

46.

Я ненавижу его!

Ненавижу за насилие, которое совершает он над моей личностью. В его присутствии я становлюсь точно связанной. Не могу свободно говорить, на щеках—жар, который видят все, и от которого мне *стыдно*.

47.

Кончено,—я ни на чем не могу сосредоточиться. Сплошная мука, сплошная язва—вместо души. Частенько, однако, слово «душа» запестрело в моем дневнике. Но никогда за всю жизнь, даже тогда, когда я обожгла обе ноги кипятком из опрокинутого самовара, я никогда так не страдала. Сейчас попробовала закусить руку, на коже выступила кровь, и все таки скажу: это легче!

Если такое состояние будет продолжаться и завтра—я с ума сойду. Больно, больно, больно!.. Кричать хочется от страшной боли...

48.

Решаюсь во что бы то ни стало объясниться с ним, и чем скорей, тем лучше.

Если он не захочет говорить со мной—я сама...

49.

Мне до того больно, что я и сказать не могу. Все вокруг меня покрыто мраком и отчаянием. Он прошел мимо. Он мимо меня прошел!!!

Что же я—не женщина? Вот я подхожу к зеркалу, смотрюсь в него. Серое лицо с провалившимися в тумане глазами и табачными подтеками на щеках. Руки, как у солдата...

Напиться, что ли? Как пьет он... Глупая я, правда. Я и не знала, что я—такая глупая, и не узнала бы, если бы не завела дневник.

И вот картина: в зеркале напротив—лицо глупой девушки, а в дневнике—глупой девушки душа.

50.

Нет никакой охоты делать-что нибудь в жизни дальше. К чему влачить жалкое состояние? «В пустыне ярчной я влачился»... Вот она пустыня-то! Как будто я предрекла ее себе в записи 19.

Мне хочется только невозможного... Глупая, как я раньше не подумала, что смерть—единственный выход. Если действительно верно, что в переходное время у нас не может быть личного счастья, а мы своим горбом зарабатываем его для других—я не хочу жить в такое время... Без счастья нет жизни...

Так вот...

Скупы и неохотны были показания товарищей Лукреции, ее ближайших соратников по работе на ниве труда и обороны. Теперь, когда пытаюсь я припомнить их показания, слить во едино, чтоб явить вам образ отошедшей девушки—вижу я: во многом прав доктор—жизнь бьет выше старческих наших голов, и больно держать голову приподнятой.

Я пригласил к себе в первую очередь товарища Швого, и он пришел ко мне запросто, как на заседание, сел на стул, раскрыл портфель, вынул из него бумаги. Может быть,—это глупо, но я привык, чтоб к моей профессии относились с боязнью, чтоб люди чувствовали, что есть нечто большее, чем они, их же коллективная воля—закон. Именно у нас, у русских, сильно развито чувство страха перед законом, который смеет выхватить человека из гущи обжитой жизни, и бросить его в страдания. Не отсюда ли—столь присущее русскому человеку ощущение своей виноватости,

виноватости по одному тому, что он живет,—ведь в простой жизни, не объясненной никакими философскими системами, один человек другому—навсегда волк. Дикарский страх перед непонятными проявлениями природы христианство переключило в страх перед самой жизнью, в страх перед грехом:—живя, постоянно грешишь, нарушаешь канон праведной жизни, который именно тебе, и притом одному тебе неизвестен. И в долгой следовательской своей работе я привык к безотчетному этому страху к моей работе, которая как бы знала канон праведной жизни, призывала к себе людей, когда нарушали они этот канон. И надо сказать по правде—я не плохо изучил формы человеческого страха и привык к внешним его проявлениям. Я привык к мертвенной, как бы эмалированной бледности лиц, к холодному поту на лбах, к обледенелым пальцам, которые лежат на столе, скрючиваясь и подгибаясь. Я даже уважал манеру людей стоять передо мной, чуточку подавшись назад—именно от внезапной этой мышечной слабости идущего на казнь поддерживают. Я научился разбираться в выражении глаз—голубых, карих, серых и многоцветных, но всегда одинаково неверных, ибо выражение отпечатлевало лишь формы страха: была ли это боязнь того чеканно-точного, что есть закон, и по самой своей точности неизвестного людям, было ли это ожидание возмездия, тревога, пугливость или трусость, даже ужас—эта высшая человеческая форма страха, пучащая глаза и отпирающая рот? Ключ к разрешению был у меня в руке.

Товарищ Швой разложил бумаги и с выжидающей терпеливостью человека привыкшего слушать поднял на меня глаза, очень уверенные и ясные до того, что казалось, у них нет никаких воспоминаний. Его наклоненная вперед голова словно высовывалась между при-

поднятых плечей; нижняя нависшая вперед челюсть вдруг захлопнулась с пустым звуком запираемой щеколды. Этим звуком он как бы давал мне знак, что готов меня выслушать. И я растерялся, мне представилось, что мы поменялись ролями, и я как бы оказываюсь в положении Матвея Степановича Матебоженко в знаменитом случае со свечкой.

— Вам известно,—начал я,—что в ночь на среду за поповым садом найдено мертвое тело?...

— Это мне известно,—перебил тов. Швой.

Он с подчеркнутым достоинством, словно на выставку, положил на стол руки; длинные пальцы их висели, как обмякшие малярные кисти.

— Вам известно,—в свою очередь перебил его я, раздражаясь,—что смерть тов. Сигаревой несколько преждевременна, и что следы самоубийства в данном...

— Да, мне это известно.

Я очень хорошо понимаю, что в наше время люди очень заняты, и тысячи нужных дел ждут тов. Швого, но ведь есть дела, для которых останавливается само время. Такими делами я привык считать рождение и смерть человека. И в самом деле—у иного человека во всю жизнь так и не находится времени подумать о себе, и жизнь его расходится на очень нужные, неотложные дела, а стоит ему заболеть, и оказывается, что все дела можно отложить, и неотложным, самым важным делом оказывается сама человеческая жизнь, неощутимая в человеческих делах.

— Вы, конечно, понимаете, товарищ,—продолжал я с недужным и—что ж поделать!—старческим, должно быть, раздражением,—советская общественность не может пройти мимо факта самоубийства молодой, полной здоровья и сил девушки, общественной работницы! Каковы бы ни были личные,—я нарочно подчеркнул

это слово,—личные причины, побудившие ее покончить с собой—в условиях строительства нового быта эти причины не могут быть только личными...

— Совершенно верно!—согласился он, встряхивая руками, и кисти рук его, падая на стол, ударились глухо.

— Что ж вы лично предполагаете?

— У меня нет личного мнения,—отвечал тов. Швой,—но я должен сказать вам, что едва было получено известие о самоубийстве товарища Сигаревой, я предложил проверить личные ее дела и кассу. Иногда случается, что некоторые наши товарищи, запутавшись в личных своих делах, не находят иного выхода, как покончить с собой...

— А какой же другой выход?—спросил я.

— Я не знаю этого конкретно,—продолжал тов. Швой, останавливая на мне бездонный свой (в нем я как бы тонул) взгляд.—Впрочем, я не сомневался, что участок культурного фронта, порученный товарищу Сигаревой, окажется в отличном состоянии.

— Но тем хуже...

— ...и в образцовом порядке, так что вступившему на ее место товарищу остается только продолжать начатое товарищем Сигаревой дело.

Он кончил фразу и рот его захлопнулся сразу, словно кошелек. Я понял, что тов. Швой ожидает нового, следующего вопроса.

— Отлично!—воскликнул я—меня начинала забавлять эта способность превращать судебное следствие в заседание.—Тем непонятнее самый факт самоубийства, если целиком встать на вашу точку зрения... В таком случае что же могло явиться причиной?

— Я этого не знаю!—отвечал он холодно.

— Я допускаю, что вы этого не знаете!—опять не сдержался я.—Если бы вы знали это—следствие было бы

закончено... Но в данном случае я спрашиваю вас не как товарища Швого, а как Ивана... Ивана, кажется, Петровича... Ведь вы же знали ее не только как работника, но и как человека...

— Как человека?—переспросил он тихо. Его кистеобразные руки зашевелились на столе, и вдруг он стал собирать свои в порядке разложенные бумаги. Его глаза соскользнули в сторону,—и я уже насторожился как охотник, ибо опытом всей своей жизни знал, что сейчас то и начинается самое главное, то, что как будто не имеет прямого отношения к расследованию, но по большей части является тем светом, который вдруг проливается на все дело. Это состояние в практике своей я даже окрестил мало понятным вам словом: боковой свет. Чорт его знает!—оно не имеет никакого логического значения, но «боковой свет» не раз наводил меня на верный след в самых запутанных человеческих преступлениях.

— Может быть, у нее была какая нибудь страсть?..— помог я ему.

— Страсть?—повторил он в изумлении.

— Страсть, которая часто сильнее воли...

— Нет,—твердо сказал он,—мы не можем допустить этого предположения—в общем и целом она была отличным товарищем...

— Но разве одно исключает другое? Можно быть отличным товарищем и незаменимым работником и в то же время иметь страсть, которая незаметно, помимо воли ее обладателя, приведет его на скамью подсудимых или в могилу... Не правда ли? Тут могла быть неудачная любовь (и я подчеркнул это), скрытый какой-нибудь порок, несоответствие между хотениями и возможностями, тупик, в который часто, иногда играя, заводит людей по своей горячности цветущая пора

юношества... Вот причины, о которых я вас спрашиваю.

Он с медленным достоинством уверенного в себе человека покачал головой. Бумаги его были собраны, он замкнул портфель, и руки его легли сейчас поверх портфеля, будто неотступно стерегли его содержимое.

— Нет, не могу допустить,—сказал тов. Швой решительно.—Я могу лишь пожалеть, что она во время не вступила в комсомол...

— Вот, вот!—вскричал я. Я начинал волноваться, и в то же время понимал, что волноваться мне нельзя, что стоит мне в разговоре с ним перейти с каких-то граней о б щ е с т в е н н о г о на грань личную, не только рот его, он замкнется весь, на губах его повиснет улыбка, разве из вежливости обронит он еще две-три фразы, чтоб закончить неприятный (потому что он пуст и бесцелен) разговор. О, эта улыбка! И на губах Лукреции висела она—эта улыбка очевидного, лишь по необходимости прощающего превосходства. Да что же это такое, наконец? Значит, для него и в самом деле все в мире решено, никаких нерешенных вопросов в жизни нет? В волнении привстал я со стула и подошел к окну, в котором висела улица, лихие—срезанные закатом на бекрень—крыши, вечерняя молчаливость деревьев. Жизнь в окне светилась простая и понятная,—своими, прямыми законами и ровными путями. Это ощущение прямой линии—иначе никак не могу я назвать страха, который бросил меня в озноб—было до того реально, что я прикрыл окно.

— Сквозит,—сказал я, ловя налитые его глаза на своем рукаве.

Воспользовавшись тем, что я встал, встал и он,—официальная часть следствия была кончена, но я надеялся, что, может быть, он задержится, как часто

задерживается русский человек уходя, чтоб сказать главное напоследок, вдогонку, потому что в длинной беседе главное забылось. И опять я хотел помочь ему маленькой этой русской особенностью.

— Значит, по вашему, рядовой борец не имеет права на личную страсть?..

Он пожал плечами, как бы не удостаивая меня прямого ответа.

— Или это—частное дело?

— Это—частное дело,—согласился он.

— И это частное дело не смеет стать общим?

— Не смеет стать общим!—повторил он с невольной радостью человека, которому другой удачным выражением подсказал собственную мысль.—Если частное в товарище начинает перевешивать общее—товарищ сходит с дороги как слабый, как дезертир... Тут не приходится даже жалеть об этом...

Он поднял со стола портфель, ловко вскинул его под мышку и спросил:

— Я вам нужен еще, товарищ, или могу идти?

— Вы можете идти,—отвечал я учтиво. И он вышел, не оглядываясь. В прихожей простучали его шаги и короткий, падающий звон—должно быть, он зацепил ногой за ульи, забытые мною в сенях.

Я взял чистый лист бумаги и написал на нем:

«Тов. Швой показал, что вверенный покойной участок культурной работы и касса после ее смерти найдены в образцовом порядке».

Короткая фраза эта показалась мне угрозой. В тот день я вынес ульи и растворил их. Ослепленные солнцем пчелы гудели в них, как слезы в моей груди, но наружу не шли.

А к вечернему чаю подошел Матебоженко и молча остановился у окна, положил руки на подоконник и на

руки подбородок, и глаза его блестели прозрачным блеском глаз повинующейся собаки, преданно спрашивали, будто оба мы носили большую, не по плечам нам тайну. Он рассказал мне, что гуляя, забрел на кладбище, и там за общей оградой видел могилу Лукреции, что холм на ней начал оседать, и после первого же дождя она провалится, зарастет травой.

— Я думаю,—прокушенным (он сам боялся своих слов) шопотом сказал он—надо бы все таки поставить крест... Что ж из того, что была она безбожницей...

— Для нее ли крест?—спрашиваю.

— А если и для нас?—понимающе отозвался он,—нам нужен от человека след на земле...

— Кресты сгниют еще скорее, чем наши домишки!—ответил я ему. Но он, не дослушав, будто вспомнил неотложное, побежал вверх по улице мелкими своими быстрыми, как у спасающейся птицы, шажками.

Она была подругой Лукреции. Дважды, в случайных встречах на улице, я просил ее придти к себе, но она, отводя в сторону свое чуточку усталое, необъяснимо надменное лицо, отвечала односложным «а—ай!»—и не приходила. Тогда я вызывал ее повесткой, на обороте которой значилось—если она не явится в указанное время я подвергну ее приводу. Звали ее Надеждой Соколовой, но она именовалась Нинелью, у нас многие юноши и девушки, достигнув совершеннолетия, переменили свои имена, и самые популярные женские имена в нашем загсе: Идея, Лукреция, Нинель, Майя, Аннлина, Радость, Гильотина, Октябрина, Ноябрия. Юноши назывались Спартаком, Владиленом, Ильичем, Гениаленом, Демокритом, Радиором, Гелием.

После предупреждения она пришла ко мне—вечером, когда прогнали стадо, и с болот подвигался на город белесоватый, тяжелый туман. Я сидел на лавочке возле

дома, следя как солнце сползает за дальние просторы леса. Вот-вот скроется солнце совсем, всегда в этот момент—может быть, знаете вы про это?—всегда в этот момент, даже в очень тихий день вдруг подувает ветер, трогает пропыленную за день листву, и листва словно отряхивается от пыльных впечатлений отшумевшего трудового дня. Час этот в жизни города нашего пустой и никчемный: работы кончены, а ужинать еще рано,— в такой час острее всего думаешь о жизни. Для чего она? Зачем люди живут? Какой смысл вложила жизнь в наш город, если на пять лет вперед можем мы нарисовать красоты ее прелестной совокупности?

Она подошла к лавочке и села рядом. Я встретил ее молча и не поднимая глаз: видны мне были только ее руки,—большие, с широкими, расплющенными физической работой ногтями.

— Я звал вас не по личному желанию, — сказал я строго,—вы нужны в интересах правосудия.

Подхватывая мое раздражение с чисто пчелиной восприимчивостью, она отвечала грубовато:

— Вы звали меня, чтоб спросить о том, что было, а мне—некогда: я работаю над тем, что будет...

— Стыдитесь!—сказала я с укором,—Лукреция была вашей подругой... Неужели вам все равно, что ее нет?

— Сожалением я не могу ее воскресить...

— Жаль или не жаль, это—ваше личное дело. Но советской общественности не безразлична причина смерти прекрасного, ничем неопороченного работника, каким была тов. Сигарева. И мне, сторожу этой общественности, вы, Нинель Васильевна, обязаны сказать все, что вам известно...

Я выкинул суровую фразу залпом, как флаг. Я торопился проговорить ее, ибо и с ней ощутил я неловкое беспокойство, какое возникло во мне во время

разговора с тов. Швым: беспокойство это шло не от внешнего права моего задавать такие вопросы—внешним правом был облечен я целиком и полностью, и ничем не опорочил права своего перед республикой, а от права внутреннего, от внутренней какой-то неустойчивости, томившей меня... Неужели,—думаю,—и в самом деле—правее те, что имеют небольшую, но крепкую, уверенность в жизнь, и от этой уверенности своей подвигаются по земле, как от надежной печки?

— Я знаю о ней мало,—заговорила она,—но зовите меня просто Нинель... человеку достаточно и одного имени... Родители ее были честными, настоящими пролетариями,—впрочем, настоящий пролетарий не может быть нечестным. Она воспитывалась в детском доме имени пятой годовщины революции в Москве, потом в педологическом институте, где я с ней и познакомилась... Мы дружили, хотя я и не понимаю этого слова, с ней я была одинакова в отношениях, как со всеми... При распределении вакансий я уговорила ее поехать в наш город,—у меня живут здесь родители—удобнее и проще в житейском отношении, когда приезжаешь в город, где тебя хотя немного знают... Именно это вам нужно знать?

— Говорите!

— По приезде сюда она была назначена заведывающей дошкольным образованием. Вы знаете, что при нашем малолюдьи редко какому работнику приходится нести одну работу, часто различные нагрузки не только отнимают больше времени, но и в общественном смысле имеют больше значения... Я не удивляюсь, что и ее, хотя и была она беспартийной, выбрали в комитет общественного осушения болот, в котором мы заинтересованы, как работницы просвещения: дети нашего города болеют лишаями, малярией, ревматизмом...

— Это не имеет отношения к личности покойной—мягко и в то же время как бы с нащупывающей дальнейшее наступление иронией сказал я.

Она не удивилась пробному шару моей иронии:

— Я думаю, именно это имеет самое большое отношение к ее личности. Суду вряд ли интересно знать, любила она макароны или котлеты с кашей?

— Продолжайте,—сказал я возможно спокойнее, отметив этот момент нашей беседы, как временное стратегическое свое отступление с позиций.

— Конечно,—продолжала Нинель,—она немного понимала в осушении и тому подобных вещах, но она была нужна, как пропагандистка определенной идеи.

— Сколько вам лет?—спросил я внезапно.

— Это также интересно суду? Впрочем, извольте... Мне—двадцать три года... Столько же было товарищу Сигаревой...

— Вам больше,—сказал я,—вам по меньшей мере сто лет, но это не имеет отношения к существу дела... Однако, позвольте мне задать вам еще один вопрос макаронного свойства... Итак, Сигаревой было двадцать три года...

— Двадцать три,—подтвердила она.

— Она была женщиной... Женщине в таком возрасте свойственны...—я хотел сказать:—чувства, но почему-то поостерегся:—переживания. Вы понимаете, о чем я говорю... Медицинское вскрытие установило ее девственность, но...

Она перебила меня с внезапным нетерпением:

— Но, товарищ, вы же сами говорите, что она была девственницей... Значит этот вопрос не играл для нее большой роли...

— Но, может быть, вы приметили,—настойчиво продолжал я,—у нее такое состояние, какое прежде мы называли, скажем, любовью...

— Любовью?—переспросила она.

— Страстью... чувством... влюбленностью—назовите, как хотите... Я спрашиваю вас о чувстве, которое выбивает человека из привычной колеи, и вот даже до этого... до рокового конца... до бездны...

— Н-не думаю,—отвечала она, не разжимая губ,—не представляю:—зачем человеку нужно иметь бездны?.. Все в жизни просто и законно, что подчиняется общей нашей цели, и все незаконно и безнравственно, что общей нашей цели не подчиняется... И она бы не поскользнулась, если бы до конца была с нами... Об этом всем беспартийным подумать надо...

Разговор начинал тяготить ее, но я ничего не сказал ей про дневник. Я словно берег его. Я понимал, что немного добьюсь от нее, не потому, что она не хочет говорить, а потому, что многое, о чем я спрашиваю ее,—ей непонятно. Ее мыслями и делами (а каждое ее движение было делом) управлял рассудок, и этому хозяину ее жизни был не только органически противен, но и непонятен поступок Сигаревой.

— Ухаживал за ней кто-нибудь?—спросил я.—Простите за пошловатое слово, но у нас еще нет слов для новых понятий... Пушкина нового еще нет, чтоб их придумал...

Но и этому моему подходцу она не удивилась, словно решилась переносить мои «штучки» спокойно.

— Вы хотите спросить,— медлительно покачивая закинутой ногой, сказала она,—не было ли у нее товарища, с которым она предполагала разделить жизнь?..

— Вот именно,—обрадовался я,—человека, с которым она хотела бы разделить жизнь...

— И это имеет отношение к следствию?—холодно спросила она, вставая. Она отвернулась от меня в спокойном презрении—как к чужому, классово-чужому,

Еще секунда,—и она поднимет руку с растопыренными пальцами, прикроет горло, в котором уже закипает, должно быть, спазма тошноты.

— Простите,—сказал я, пытаясь извинением удержать ее,—меня интересует еще лишь незначительная одна деталь... Она была вашей подругой.. Неужели никогда вот так вечером... смотрите,—и я повел рукой по окнам, в румянце упавшего солнца покрасневшим сейчас, как щеки деревенских красавиц, я показал ей на предвечернюю синь, поднимавшуюся за лесом,—неужели даже в такой вечер, когда душа раскрывается, чтоб видеть нутро вещей, она ни разу не пришла к вам, не поделилась девичьей своей тоской, не уронила к вам на руки своих рук, и вы не почувствовали, что она тоскует, что она по-человечески страдает? Вспомните, Нинель Васильевна—она была вашей подругой.

— Что значит подругой?—переспросила она.—Мне она не была даже товарищем... У идущих к определенной цели—нет ни времени, ни воли оглядываться назад для того, чтобы считать потери... На смену упавшим придут другие... Прелесть семьи и очага ей оказались ближе поставленных жизнью задач,—иначе этого не случилось бы...

Я не стал ее удерживать. Она пошла вверх по улице, и я долго следил за ней, за тем, как юбка обхлестывала ее сухие, негнущиеся колени, за тем, как шла она по земле—крепко, по-хозяйски ставя ногу, не оглянулась ни разу, и в голову мне опять лезли смешные мысли о том, что, пожалуй, прав доктор, утверждающий плоскостопость молодого женского поколения...

Допрос остальных товарищей Лукреции ничего не прибавил к данным предварительного следствия. И в них, хоть и в меньшей степени, наткнулся я на глухую стену, которая делала их каменными и глухими, и,

видимо, была сильнее их самих. Они не были такими сознательными, что ли, в их ответах мне не было нарочитости и размеренности, а наоборот—испуганность, боязнь,—какую я замечал у очень молодых комсомольцев, какая была, должно быть, следствием их неуверенности в правильности своих поступков и слов. Эта боязнь—сказать не так, поступить не так—сопрягалась с недоверием ко мне, как к чужому, который может воспользоваться оплошностью.

Артюшкин сидел в моем саду, и краска стыда, проступившая робкими лишайными пятнами на лбу его и на щеках от одного сознания, что ему придется сейчас говорить, поехала вниз—к шее и к ушам. «Что ж ты стыдишься, дорогой мой?» — подумал я, выходя к нему, с бумагой и с карандашом. Должен признаться вам: из всех человеческих ощущений меня занимает больше всего стыд. Чуть светящийся, — и, заметьте, краснеют у человека только открытые взору наблюдателя места,—чуть светящийся, как румянец поспевающего яблока, стыд придает человеческому лицу виноватую миловидность, невольно внушает симпатию, и если присоединить к стыдливому румянцу еще и выражение доброты—предстанет перед вами печать идеальной нравственной прелести. Стыд—отец непорочности, нравственной наивности, невинности, целомудренности (а целомудренность выше наивности на счету пушкинского человека, ибо она есть знание о физической природе и подчинение ее себе), скромности, смущения, застенчивости, сдержанности, нравственной чистоты, чувства нравственного достоинства, то есть как раз всего того, что на пушкинском счету знаменует собой благородство души. Стыд это—смешение грусти и страха, вызываемого смутным чувствованием в себе физической природы. Стыд—так учит нас история земли—

сторож возвышенных сторон души. И заметьте: стыд свойственен только человеку и притом разумному, то есть тронутому культурой, запряженному в законы человеческого общежития, и стыд несвойственен ни скоту, ни дикарю, ни идиоту. И больше: стыд несвойственен нашим же детям, стыдливое покраснение—первый признак стыда—появляется у детей лишь на четвертом, на пятом году. Стыд это—закон, положенный в основу человеческой культуры на самой ее заре. Я хочу сказать, что в начале человеческой эры в фундамент ее из разнообразнейших сторон человеческого духа был положен стыд. Я не знаю, почему так произошло, но первый жест после вкушения от древа познания—был жест стыда. С течением времени стыд и сам стал культом, а виртуозное свое завершение этот культ получил в христианстве, загнавшем в ночь и в грех во имя стыда одну из двух величайших тайн человеческой жизни—рождение. Рождение, а с ним и любовь, стали грехом по закону стыда, и человечеству из двух тайн—рождение и смерть—осталась в поклонение и идеал вторая—тайна смерти. И разве вся наша жизнь—вы только вдумайтесь в эти вечерние слова однажды что-то понявшего старика!—не есть гимн смерти, не есть постоянное самоубийство, которое мы творим над собой ежечасно с такой же житейской постоянностью, как умывание и еда? Мы умираем каждую секунду! Мы умираем потому, что хотим этого! Потому, что отвергли во имя стыда величавую святость рождения! Умираем потому, что мы—недостаточно люди. И в то же время мы ежеминутно чувствуем эту ошибку истории земли. Именно из ощущения этой ошибки своей в нас так сильно ощущение вечности, так необорима жажда заклясть смерть, остановить ее вечностью — гениальными произведениями

искусства, деторождением, жаждой всечеловеческого счастья.

Артюшкину было восемнадцать лет—возраст, когда человеческое лицо приобретает характерные, каждому отдельному лицу присущие черты. Он был светловолос уездной русской светловолосостью, жест имел узкий, застенчивый, и, как все очень застенчивые люди, мог быть резок и груб при понуждении. И стихи писал он, должно быть, больше из застенчивости, чем по природному таланту.

— Вы с ней не жили, тов. Артюшкин?—спросил я внезапно.

— Что вы? Что вы?

— Впрочем, я и сам знаю, что вы с ней не жили... Вы ей стихи писали...

— Нет,—растерялся Артюшкин,—разве каких нибудь два-три стишка...

— То-то вот, товарищ Артюшкин, — сказал я строго,—вы писали стишки, а она от стишков...

Он сразу и очень густо покраснел.

— Понимаете? Была у человека цель в жизни, даже уверенность, шел человек с этой уверенностью своей к определенной цели, а вы своими стишками вырвали уверенность у человека и в жизни, и в цели.... Вы комсомолец?

— Ну, конечно, комсомолец,—воскликнул он даже с некоторой обидой за то, что я мог усомниться.

— А вот подложили ей ножку... Вы и еще Пушкин...

— Пушкин?—он даже испугался.

— Да, Пушкин! Пушкина читали?

— А как же!—отвечал он,—мы должны опираться на классиков...

— Вот-вот, — я перебил его с горечью,—делайте и впредь великое дело освобождения трудящихся всего

мира, опираясь на классиков... Но знайте, что первейшим вашим врагом является Александр Сергеевич Пушкин...

— Ну, что вы, Алексей Алексеевич,—сказал он привставая, и лицо его сразу стало замкнутым и холодным. Я понимал, что сейчас я опять выпускаю из рук следовательское свое превосходство.

— Идите,—говорю ему,—вам нечего добавить к материалам предварительного следствия... Я с удовольствием дал бы вам чаю, или вот (этой мысли я даже обрадовался)—хотите меду? У меня отличный мед...

— Ну, зачем мне мед?—отвечал он растерянно, и пошел прочь из сада, притворив за собой калитку.

Кленкина Ивана и Скороглядова я не стал даже допрашивать. Скороглядов пришел на мой зов с улыбочкой, словно я ему—старый дедушка, которого держат в деревне из не очень любезной милости, который стережет цыплят от ворон и делает вид, что занят важнейшим делом, а дело-то придумано только для того, чтобы в собственном же сознании недаром злополучный этот дедушка ел сыновний хлеб.

Чтобы закончить акт предварительного следствия и передать материал в суд на предмет прекращения дела за бездоказанностью преступления, мне оставалось допросить лишь Петра Мелкова. Допрос его я откладывал умышленно—по следовательской сноровке последними допрашивать наиболее подозреваемых.

И я вызвал его повесткой на завтра к шести часам вечера.

Но что мог добавить он к материалам предварительного следствия? Лукреция любила его, и он не любил Лукрецию! В каком гражданском и уголовном кодексе мира записано это преступление? Я знаю—нет в мире страшнее преступления, чем равнодушие нелюбящего,

но ведь нет в мире ничего преступнее жестокости любви, не останавливающейся даже перед смертью!

Две жестокости были передо мной, и я не знал: какая из них страшнее на счету добра? Ни одна смерть не смеет на счету человеческого глаза остаться загадочной. Загадочность смерти подрывает веру в жизнь, она родит неуважение к самой смерти, а не уважать смерть (как выучились они в христианстве не уважать рождение) люди еще не смеют. Непосильное бремя судии возложила на меня загадочная смерть Лукреции, и примолкший город наш ожидал от меня решения, как от Соломона, которому доверил он думать за себя.

Тот день был радостен и до неба налит солнцем—весной жизнь наша всегда кажется лучше и мысли свежее. Каждую весну мы словно подводим итог прожитому, и вместе с обновлением земли начинаем жизнь еще раз. Я ушел в лес, к болотам. Лес стоял по весеннему настороженный, как заяц, который лежит в это время на слуху, не подпуская к себе. Я бродил по лесу без цели, без дороги—пока идется, упирался в овраги, в лесные ручьи, и поворачивал назад, настойчиво думая об одном—что же правее на земле? В чем тот не написанный закон жизни, который не укладывается ни в кодекс, ни в молитву, но питает соком движение несметных человеческих дней и человеческую правду? В себя ли вбирать все: знания, имущество, деньги, чувства, любовь, все тащить в свою нору, и в норе, как заяц сейчас в лесу, ловить редкую муху счастья? Или вывертывать все из себя, чтоб радость, как весеннее солнце, светила всем в глаза, била в глаза до ослепления? Вот он—основной вопрос новой морали! Маленькая на счету земли девушка за него, за недоумение свое заплатила жизнью... А ведь трудно: ох, как трудно нам, всему городу нашему поворачиваться лицом к но-

вому счастью. Заборы у нас стоят по сорок лет, и строят их крепче домов, и если в революцию стопили заборы за одно с пушкинским книгами в печах,—заборы, а не книги, выстроили заново, едва поуспокоилась жизнь! Чтоб одному от другого отгородиться, чтоб повыше укрыть свою нору от соседей — ни печали, ни радостей своих на глаза ближнего не выносить.

Не осуждайте меня за смелость суждения: стар я чтоб не договаривать. Мне и страшно было, что додумываюсь я до таких мыслей,—был я слепым орудием в руках большой человеческой неправды, и всю жизнь ничал людей, живших против евангелия, помогал возвращать заблудших статьями уголовного кодекса, в котором оное евангелие разработано до мелочей применительно к самым неожиданным проявлениям человеческой стихии.

В шесть часов вечера я был дома, и почти тотчас пришел Мелков. Его лицо было серо и равнодушно, здороваясь,—он протянул мне руку, и присел на крыльцо. День сходил с неба неторопливо, как румянец с лица уездной красавицы. Жена вышла из дома позвать нас пить чай, и по лицу ее я понял, что оставленный мною на столе дневник Сигаревой она прочла, и теперь с тем всполошенным любопытством, с каким об обыкновенном человеке узнаем мы необыкновенные вещи, пришла посмотреть на него, подивиться на самое себя—как это раньше пропустила она столь необыкновенные вещи? Любопытство ее перед лицом драмы, в которой я ощущал себя уже не свидетелем и не судьей, а обвиняемым, было убогим, мне стало стыдно за нее, и я сказал, что чай пить мы не придем. Она тотчас и ушла, а мне от того, что приходила она, день показался теснее и хуже.

— Тов. Сигарева оставила дневник,—сказал я,— эта девушка вас любила товарищ Мелков.

Но он сидел неподвижно, не стронулся, не выдал своего волнения ни одним движением. Он только спросил с недоумением, и по тону его, грубоватого как бы расколотого пылью голоса я почувствовал, что он не рисуется передо мной, и та невольная поза, которая все же всегда присуща даже очень искреннему человеку, сейчас ему не мешает:

— А что такое любовь?

Он спрашивал меня без иронического задора, с каким желая обескуражить противника вековой его неразрешимостью задают этот вопрос многие молодые люди. Он спрашивал просто, как мог бы спросить самого себя. Мне вспомнилась только что ушедшая моя жена, и я ничего не ответил.

— Что такое любовь?—повторил Мелков.

Он поднял глаза, посмотрел вдоль улицы, и за его глазами повлекся взглядом и я, но улица была пыльная, по ней шла собака, и больше я ничего не увидел.

— В «Комсомольской Правде» я видел рисунок,— продолжал он,—за одну руку тянет женщину ребенок, и тут же стоит примус, и на нем—молоко, а за другую руку тянет женщину общественная работа, и женщина разорвалась пополам... Так разорвалась и Сигарева. А ей надо было выбирать единственное... Вот,—он показал на засмиревшие окна нашего города, полыхающие тугим полнокровием весеннего заката,—уйти за эти окна, и там жить, или другое... то, что позвало иной жизнью, даже имени которой я не знаю...

—Так что же это?—спросил я с жадностью, и в жадности своей дотронулся пальцем до его колена, будто касанием этим хотел дослышать то важное, чего не мог расслышать ухом.

— Лукреция, — ответил он глухо,—была хорошим товарищем, но если бы я расписался с ней, и у нас пошли бы дети—по комнате нашей обязательно повисли бы пеленки, и сначала она, а потом и я сам—все меньше и меньше служили бы общему, все больше и больше служили бы своему, новому—детям...

— А дети разве плохо?..

— Не знаю,—перебил он.—Она много говорила мне о детях, часто твердила, что наши отцы-революционеры были лучше нас, и что мы будем лучше своих детей... Но я не думаю, чтоб это было верно...

— Прежде, когда были римляне или греки,—сказал я, опять дотрагиваясь до его колена,—у них были свои монеты, они так же, как наши червонцы и рубли, давали им жизнь и, как монеты, были у них отличные от наших понятия... Эти монеты стерлись, остались только в истории, и вот—я убежден в этом— мы теперь приходим к сроку, когда монеты христианства стерлись так, что на них не видно ярлыков, и их пора менять на иные, как сменили в свое время греческие и римские... А перед выпуском новой валюты,—помните?—как у нас в двадцать втором году перед выпуском червонцев—монетный голод и нищета...

— Может быть, может быть...—согласился он.—Но вот в той же газете рассказана простая и трагическая, как хлеб, история нашей жизни, которой ни одному из нас не избежать. Девушка-активистка вышла замуж за партийца, и через месяц ее не узнать. На свой вид она стала мало обращать внимания, одевается неряшливо, общественной работы не ведет, перестала регулярно ходить на собрания. Затем родился ребенок, и она совершенно перестала вести общественную работу, она перестала следить даже за газетой. А муж продолжает вести работу... Именно так было бы и с Лукрецией,

с Катей Сигаревой, Алексей Алексеевич... В наше время в девушке, пока она—девушка, всегда побеждает общественность; но стоит той же самой девушке выбрать одного и стать матерью—в ней по большей части побеждает жена и мать... Кто решил по настоящему этот сегодняшний наш вопрос? Кто указал путь хотя приблизительно правильный? А ведь миллионы нас ждут ответа как хлеба. Знаете, какой выход посоветовала газета? Я вам прочту, я списал его...

И, вытащив записную книжку, он стал читать:

«Чья здесь вина? Конечно, ее! Она могла работать. Активистке-девушке (которых у нас мало) всегда найдется платная работа, она могла нанять домашнюю работницу и не забрасывать общественную работу, не терять со дня на день своего значения и веса в глазах мужа».

— Прощайте, Алексей Алексеевич... Боюсь, что не многое сумел я рассказать для интересов суда...

Он встал и пошел вверх по улице. Мне незачем было удерживать его, и я долго смотрел ему вслед. За поворотом у каланчи, на самые глаза выпиравшей сейчас в расточительном весеннем закате великолепным пупом, Мелков свернул в переулок и пропал из глаз. И долго еще сидел я на лавочке, не в силах стронуться с места, и утренние мои размышления, в поисках которых я метался по лесу словно затравленный заяц, показались мне стыдными и ненужными. Моим делом было свидетельствовать смерть. Эта смерть была самоубийством,—по чему-ж так жадно искал я виновника, убийцу? Почему каждого готов был заподозреть? Мало ли тростинок ломается под ветром, когда разгудится он по лицу земли? Ведь крепости самих этих домишек, что раскинулись между двумя неколебимыми пупами нашего города—каланчей и собором—хватает

в обрез на одну человеческую жизнь, и когда они развалятся, об них никто и не вспомнит, как никто не вспомнит и о жизнях, в них прожитых.

На город наш шла неторопливая уездная весна. Вот—вороны на крышах распустили веером общипанные хвосты. Им по сту лет, этим видавшим Пушкина воронам, как сегодня, должно быть, мне. По небу—как всегда густому в весеннем закате, плыли первые кучевые облака, а кто, например знает, что кучевые облака поднимаются только с болот? В солнце — прямо передо мной— светились лужи с будто наплеванными пузырьками. И, влачась печальным взором за лужами, поднял я глаза на собор, архитектуры невероятной: не то греческой, не то мавританской, с петушковой, грубоватой, как базарные свистульки, вязью на оконных переплетах, на калапчу, в прокопченных окнах которой уже зажгли лампу, и только тут в первый раз увидел вывеску, повешенную над яслями покойной Лукреции Сигаревой. Нет, нет—пусть не наследуют они ни нашим воронам, ни нашим облакам, ни серым фасадам домишек наших, двери которых открываются прямо в ничто!

КОНСТ. БОЛЬШАКОВ

БЕГСТВО ПЛЕННЫХ

БЕГСТВО ПЛЕННЫХ

РОМАН.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Высочайший смотр лагерного сбора войск гвардии в 1835 году происходил шестого и седьмого июля. Восьмого был произведен примерный против мнимого неприятеля маневр, а девятого вечером курьеры от Главной императорской квартиры уже развозили по штабам копии высочайшего приказа.

В этом году монаршие милости, очевидно в возмещение прошлогоднего неудовольствия, достались почти исключительно кавалерии.

Дежуривший по штабу Петровской бригады, временно исполняющий должность адъютанта (высшее начальство поспешило отбыть вслед за главной квартирой), поручик Самсонов прочел его с довольно кислой гримасой.

Преображенскому полку, мундир которого он носил со дня выхода из школы и интересы которого не могли быть ему безразличными еще и потому, что командовал им родной его дядя и благодетель Николай Але-

ксандрович Исленьев, его Преображенскому полку никакого внимания в приказе выказано не было.

— «Первой легкой гвардейской кавалерийской дивизии, по лейб-гвардии гусарскому полку»,—читал Самсонов, и его лицо принимало все более и более брезгливое выражение,—«за твердое знание службы, исправное состояние людей их взводов и точное понимание маневра объявляется высочайшее благоволение флигель-адъютанту поручику графу Браницкому, корнетам: князю Витгенштейну, князю Вяземскому Александру, князю Вяземскому Николаю и Лермонтову...»

— Лермонтов?

У Самсонова даже брови приподнялись удивленно, как будто он прочел в приказе явную бессмыслицу.

С ленивым зевком он выронил из руки печатный листок.

— Сними копии,—приказал подскочившему поднять его писарю и, зевая и потягиваясь, вышел из помещения.

По природе своей человек аккуратный и исполнительный, Самсонов тем не менее во многом допускал для себя послабления, которых не потерпел бы для других. Откровенное попустительство дядюшки за все время службы в полку и, главным образом, за время последней польской компании, о которой он иначе и не вспоминал, как о самом приятном времяпрепровождении, выпавшем на его долю, внушило ему глубокое убеждение в том, что для него, Самсонова, существуют иные, чем для прочих, мерки и правила.

Лишь только почувствовав мимолетное разочарование и как бы досаду по поводу вкравшейся в царский приказ незначительной фамилии какого-то корнета, он тотчас же заставил себя вспомнить, что за смотром и маневрами он уже целую неделю не был в городе, что не скучать и не бездельничать на таком дежурстве ре-

нительно невозможно; главное, что это неизбежно помешает, как уже мешало целых восемь дней, сосредоточиться и углубиться, с тем, чтобы потом побеседовать с собою в дневнике. Дневнику он придавал исключительное большое значение, считая, что только благодаря ему он может разбираться в сложностях жизни и тем самым вести себя по пути усовершенствования.

Поэтому, сказавшись у дежурного по бригаде больным, он немедленно вслед за этим приказал закладывать коляску и уехал в город.

Перед самой заставой клевавший на козлах носом лакей закричал неестественно высоким со сна голосом:

— Его благородие, лейб-гвардии Преображенского полка, поручик Самсонов!

Караульный преображенец вытянулся во фронт.

Брызнуло короткое:

— Бомвысь!

И цепь у шлагбаума, гремя, опустилась. На фоне белесо-зеленого неба качнулась, с глухим звяканием взмыла кверху длинная полосатая жердь. Кучер подался вперед на козлах. Тройка добрых исленьевских орловцев рванулась и понесла дальше. Звонко, словно скалывая камень, стучали и мешали дремоте копыта. В белом, чуть замутившемся свете дома казались призраками.

Этим летом в городском исленьевском доме шел ремонт. Там оставалась только прислуга. Вся дядина семья еще в мае уехала в Воронежскую деревню, и поэтому Евгений Петрович приказал, не останавливаясь, везти себя на дачу, на Каменный Остров, где обычно имели теперь пребывание в свободное от службы время и дядя, и он.

Еще не было и двенадцати, когда разгоряченные и взмыленные кони, сочно фыркая, остановились у подъ-

езда одноэтажного, огородившегося правильно подстриженной зеленью, дома. Мелькавший за стеклами галереи свет удивил и встревожил Евгения Петровича.

— Кто же это мог быть? Неужели дядя успел вернуться из Петергофа? Нет, невозможно.

Он поспешно выскочил из коляски и взбежал на крыльцо.

Уже на ступеньках к нему кинулся его камердинер Владимир, обычно разбитной и веселый, сейчас растерянный и напуганный. За ним в раскрытых дверях с такими же встревоженными лицами толпилась и вся остальная прислуга.

— Евгений Петрович, слава богу, что хоть вы приехали. Несчастие, ведь, у нас случилось.

Самсонов строго посмотрел на окружавших его людей.

— Ну, что такое?

— Да как же. Сегодня, то-есть прошлой-то ночью, весь дом обкрали. Пожалуйте, сами увидите, мы без вас ничего и трогать не решались.

Еще новая неприятность, еще новое препятствие провести остаток и без того утомившего дня согласно желанию и настроению.

— Зачем я уехал из лагеря? Там было бы теперь спокойнее.

— Не иначе, как кто-нибудь из своих, — вертелся около него Владимир.—Вон и сторож ничего не слыхал, и собака не лаяла.

— Чего же вы до сих пор так сидели? — прорывая накопившееся раздражение, закричал Самсонов. — В полицию почему знать не дали? Николая Александровича, меня, почему не известили??

— Как же, как же, Евгений Петрович,—еще больше теряясь, пролепетал Владимир.—С утра и к вам, и к Николаю Александровичу люди в Красное посланы. И в по-

лицию сообщено-с. Розыск делали. Следы до самого забора идут явственно, а за забором—как сгинули.

— Дяде какая неприятность — брезгливо поморщившись, вполголоса проговорил Самсонов. — Скоты, и этого охранить не сумели. Позвать ко мне сторожа.

Пока ходили за сторожом, Евгений Петрович бегло осмотрел обокраденные комнаты.

В гостиной на столе были разбросаны в беспорядке бронзовые и фарфоровые статуэтки, из вскрытой шкатулки были высыпаны на пол письма, и сама она валялась с поломанной крышкой. Серебрянный карточный прибор, подсвечник и ковчежец исчезли. Но здесь, видимо, вор был не долго. Кроме стола ничего не было тронуто, все остальное было на своих местах. Зато в кабинете был полный разгром. Огромное, красного дерева, бюро было разбито, расковырены и выдвинуты все ящики. Тут же на ковре и валялось орудие этого разгрома, — большое столярное долото. Запертый на ключ портфель и копилка с серебром исчезли. На спинке кресла остался прилепленный сальный огарок, салом был закапан и стол.

— Заспались. Стол ломали. А никто даже и не очухался, — сурово нахмуривая брови, проговорил Самсонов.—Свои должно быть старались.

Толпившаяся вокруг него прислуга в один голос заголосила, что «посторонний так не мог», настойчиво требовала общего обыска в доме. Самсонов, махнув рукой, приказал им замолчать. Недавнее раздражение успело погаснуть, уступив место безразличной и сонливой брезгливости. Ему нужно было уже искусственно делать грозный вид, заставлять себя кричать на старика сторожа, повалившегося ему в ноги.

— Виноват, батюшка барин, уснул маленько,—оправдывался тот.

Все-таки приказав на всякий случай его заарестовать, Евгений Петрович с чувством исполненной и отошедшей от него обязанности прошел в свою комнату.

Холодная вода не просвежила мыслей, только стряхнула сонливость. Он подошел к столу, отпер ящик, достал дневник. Поверх уставленного разными безделушками стола, поверх до окна поднимавшихся курчавых шапок кустарника, смотрел Евгений Петрович на мутное, как снятое молоко, небо. В глазах пошла рябь Молочная гладь покрылась прозрачной и быстрой зыбью. Он несколько раз моргнул глазами, тряхнул головой, освобождаясь от этого миража. Взял перо и раскрыл дневник. Писал долго.

Небо за окном разгорелось и залилось соломенным, желтым блеском. Шумно чирикали, наполняя утро деловитой суетой, птицы, Евгений Петрович бросил перо, отодвинул тетрадь.

В конце страницы было написано:

«... Сегодня по ничтожному, случайному поводу родившаяся мысль долго не могла оставить меня. Как странна и прихотлива судьба человеческая. Рассеянно скользящий, но зоркий взгляд сильных мира сего на мгновение остановился на тебе. Находчивый доброжелатель успел шепнуть твое имя,—и твоя карьера, твоя судьба отныне и разом меняют свое направление, устремляя тебя к успехам и славе».

II

Николай Александрович Исленьев жил на широкую ногу.

Дом на Большой Морской царившим в нем распорядком и заведенным обиходом тянулся и подражал самым лучшим и богатым домам тогдашнего Петербурга.

Помимо дома, помимо дачи на Каменном Острове, в зимнее время предназначавшейся для пикников и малых охот, постоянно снимались от владельцев две или три квартиры по месту летних и осенних стоянок батальонов Преображенского полка. Все это обслуживалось постоянным огромным штатом крепостной прислуги. Но барские замашки и сугубая требовательность, выработавшаяся в Николае Александровиче девятилетним командованием первым полком русской гвардии, находили эту прислугу совершенно неудовлетворительной; национальный патриотизм, который доходил у него до того, что в доме никак не терпелась французская кухня, и которым в хорошую минуту Николай Александрович любил похвастаться, не позволял ему взять вольнонаемного дворецкого-иностранца, как это стало тогда входить в моду в столицах; воспитать же такого, достаточно ревнивого и строгого, а главное—понимающего все его требования из своих же людей он решительно не надеялся.

Поэтому в прошлом, тридцать четвертом году, смотря в полку выходивших в отставку солдат, он по какому-то внезапному вдохновению — впрочем он все делал таким образом — предложил одному из них старшему унтер-офицеру Батурину поступить к нему на эту должность.

Батурин выходил в бессрочную с неопороченной славой толкового и умного служаки. Но вероятно, не одно это заставило Николая Александровича остановить на нем свой выбор.

Выглядел Батурин необычайно моложаво даже для своих сорока восьми лет. Жгучий брюнет, без одного седого волоса в плотных кольцах коротко подстриженных волос и в курчавых бакенбардах, он чем-то,—брезгливой ли складкой редко улыбавшихся губ или при-

стальным прямым и холодным взглядом,—невольно вызывал в памяти представление о портрете одной высокой особы. Вот это-то, вместе с бравой осанкой преображенца и решило в мыслях Николая Александровича его судьбу.

Он предложил ему сто рублей в месяц жалования при полном господском содержании, и Батурин, одетый с иголочки, с солдатским георгием—за Лейпциг—в петлице, вступил в управление многочисленным штатом исленьевской прислуги. Николай Александрович был от него в восторге.

Летом этого года Батурину, как пользовавшемуся у барина безграничным доверием, были поручены все хлопоты, равно, как и расчеты с мастеровыми по ремонту городского дома. Поэтому на даче он почти не бывал, появляясь там только для докладов барину; и у Самсонова, всегда в своих привязанностях и симпатиях неизменно следовавшего дяде, еще вечером мелькнула мысль—поручить дальнейшее расследование неприятного происшествия Батурину.

Но утром Евгений Петрович проснулся поздно, в одиннадцатом часу. Вероятно, от долгого писания накануне он чувствовал головную боль, хотелось курить, но если позвать казачка, — придется проститься с такими приятными, так дружно заселившими это утро мечтаниями. Он лежал, заложив на подушку под голову руку, мечтательно, не отрываясь смотрел на переливавшуюся на потолке игру света. От того ли, что оставшееся от светлого молодого сна томление неизбежно вызывало представление о какой-то никогда не существовавшей и необыкновенной женщине, и вокруг этого образа, тревожно замирая, толпились мечты, или наоборот, это томление только потому и явилось, что он мечтал о женщине, но состояние, которое переживал

Евгений Петрович, было приятным и волнующим и было бы очень досадно, если что-либо прервало его.

Владимир, очевидно, в дверях карауливший его пробужденпе, на легкий вздох ответил осторожным кашлем, поспешая осведомиться:

— Прикажете умываться, Евгений Петрович?!

Мгновение было желание раскричаться и в брани излить свою досаду на сунувшегося без времени с умыванием Владимира, но Евгений Петрович удержался.

Дневник, научивший его мыслить в манере решительно не походившей на дядю, содержал в себе не так давно сделанную запись.

«Первейшая и главная обязанность каждого честного управителя знать прежде всего всю правду в кругу дел порученных его ведению. Слепая доверенность подчиненным равна тягчайшему преступлению против отечества и государя, и оправдание такому легкомыслию найти невозможно».

Спуская с кровати ноги, он уже думал, что его вчерашнее небрежение к происшествию есть тоже преступление с его стороны по отношению к дяде и благодетелю, добро которого было разграблено, а кроме того здесь налицо было и уголовное деяние, значит он, Самсонов, пренебрегал и своей прямой обязанностью верноподданного и военного.

— Ну, есть что-нибудь новое? — сурово скосил он глаза на подававшего ему платье Владимира.

— Никак нет-с. Все в прежнем положении.

Позавтракав,—к этому времени уже успели окончить обыск, ни чего и ни у кого из дворовых не обнаруживший,—он приказал закладывать себе коляску.

— Эти мерзавцы, конечно, из ненависти не поторопились известить обо всем Батурина. А вот единственно кто мог бы помочь сейчас.

В город с собой он захватил помимо Владимира еще двоих дворовых. Сам он решил отправиться прямо на Морскую, чтобы переговорить с Батуриным, дворовые же должны были отправиться на толкучий рынок, так как Евгений Петрович полагал, что украденные вещи так или иначе, но появиться там должны.

На Морской он застал только работавших там мастеровых, да дворника. Батурин, заходивший только утром, оказывается эту ночь даже и не ночевал дома. Впрочем, по словам дворника, он и вообще последнее время появлялся здесь редко.

Евгений Петрович, несколько раздосадованный этой неудачей, остался ждать посланных на рынок дворовых.

Примерно через час, без звонка, очевидно своим ключом, по черному ходу вернулся Батурин. Он не предполагал застать здесь кого-либо из господ, потому, что в столовую, где сидел Евгений Петрович, вошел, не снимая цилиндра и легонько посвистывая.

Увидев молодого барина, он нисколько не смутился, с никогда не покидавшим его чувством достоинства снял с головы шляпу и молча поклонился.

— Где ты пропадаешь, Батурин?—поднимая на него глаза, спросил Самсонов.

— А вот-с, изволите ли видеть, — не спеша и все с тем же загадочным и насмешливым взглядом отвечал тот.—Знакомого одного в отъезд провожал, так что у него и переночевал.

— А что Николай Александрович сюда не собирались? — спросил он через минуту, переходя к окну и пробуя, очевидно только сегодня повешенные, занавеси.

— Не знаю, — рассеянно отмахнулся Самсонов.— А вот, что у нас на даче произошло, ты разве не слыхал?

Самсонов вкратце рассказал о покраже и испытующе посмотрел на дворецкого.

Тот некоторое время все с тем же невозмутимым видом хранил молчание, потом, очевидно, хорошо взвесив и расценив все сказанное, проговорил:

— Сейчас, конечно, сказать ничего невозможно. Однако, как и вы, я полагаю, Евгений Петрович, — что не иначе как кто-нибудь из своих.

Сказав, перешел он к другому окну, стал пробовать занавеси и на этом.

— Так-с, — проговорил он, окончив осмотр. — Вам я не зачем не потребуюсь?

— Нет, пока мне ты не нужен,—удивленный таким его равнодушием ответил Самсонов. — Я вот людей на толкучку послал посмотреть, не попадется ли там чего-нибудь.

— Это дело, — согласился Батурин. — Так я пойду, Евгений Петрович, а то наверху маляры сегодня работают, взглянуть нужно.

С этими словами он вышел.

Посланные с Владимиром вернулись не скоро. Вошли они тоже каким-то таинственным образом, без звонка и не слышно. У Владимира был таинственный и взволнованный вид, когда он приблизился к барину.

— Ну что, Владимир, ничего не нашли?

— Ничего-с, но имеем сильное подозрение.

— На кого?

— На Михаила Ивановича.

— Никак вы с ума сошли? Из ненависти к Батурину вы готовы, бог знает, что на него придумать. С чего ж вы его подозревать вздумали?

Владимир еще ближе наклонился к барину, заговорил почему-то таинственным шепотом, словно боялся, что его могут подслушать:

— Значит как вы нам приказали, мы живым манером и отправились на толчок. Только туда приходим, как вдруг Михаил Иванович сам своей персоной к нам идет навстречу. «Вы, говорит, что тут делаете?». А мы отвечаем, что так мол прогуливаемся, да кстати пришли посмотреть, не попадутся ли посходнее манишки, вот Алексею нужны. А он нам и говорит: «врете вы все, не манишки вы пришли сюда искать, а у вас покража была. Вы думаете не знаю. Сколько раз вам, дуракам, говорил, были б поосторожней и воровства не случилось».

— Когда это было? — удивленно перебил Самсонов.

— Да час назад, пожалуй, не меньше. Мы потом еще по толчку походили, как вы приказали, только ничего не обнаружили...

— Странно, странно,—задумчиво и вполголоса произнес Евгений Петрович. — Зачем же ему понадобилось делать передо мною вид, что ему ничего не известно.

— И то странно, Евгений Петрович,—живо подхватил Владимир, — ему то-откуда вызналось, что у нас покража: мы, ведь, никому не сказывали. Да и откуда такая великая милость: «чай пить ко мне, говорит, приходите». Никогда, допреж этого не бывало.

— Ну, что ж теперь-то делать думаете? — нетерпеливо спросил Самсонов.

— А вот, вы уж нам дозвольте это. Он у любовницы своей эти дни ночевал. Нам это от дворника известно. Мы ее адрес знаем. Дозвольте у ней обыск сделать,—умоляющими голосами пристали к Самсонову все трое.

Минуту Евгений Петрович колебался.

— Ну, хорошо,—сказал он после краткого раздумья, непонятно самому от чего раздражаясь и злясь.—Я вам не только позволю обыскать квартиру его любовницы, но дам вам в помощь полицейского, которого сейчас

вытребую. Однако, смотрите, если что не по вашему будет, Батурин вас поедом съест за оскорбление. А от меня в таком случае защиты не ждите.

— Ну, что-ж, такова видно судьба наша, только позвольте, Евгений Петрович.

— Ладно, ступайте.

— Как сильно в подлых людях чувство мести, — устало подумал Самсонов после их ухода.

Над головой в верхних комнатах раздались чьи-то спокойные тяжелые шаги.

Владимир, а с ним и другой из дворовых на этот раз появились без всякой осторожности.

— Нашли, нашли, — задыхаясь кричал он еще на пороге.

— Где нашли? Что?

— Все, Евгений Петрович, все. У его любовницы на чердаке было спрятано, да на печке. Она было нас и впускать не хотела, да квартальный приказал, отворила. Ну, уже и кричала, и срамила нас и Михаилом Ивановичем стращала. Но мы все же во всех уголках перешарили—нет ничего. Ну, думаем, плохо наше дело...

— Да, постой, раскажи толком. Как же это так? Неужели Батурин...—все еще не в силах поверить этому, перебил его Самсонов.

— Вор, он самый и есть, грабитель, Евгений Петрович, т. е. Михаил Иванович. Мы сначала и сами было отчаялись. Дрянь, думаем, дело совсем выходит, а делать нечего, уходить нужно, да спасибо Алексею. Дай, говорит, последним делом, на печке покопаюсь. А печка-то всего на четверть от потолка. Влез он на стул, да руку туда запустил, однако, рукой до конца не достает. Дай, говорит, какую ни на есть палочку. Стал он палочкой-то ковырять, что-то и отозвалось. Он пуще, да и вытащил копилку, что в кабинете на столе стояла, только раз-

ломанная она, да и без денег. Ну уж я более ничего и дожидаться не стал, оставил их там с квартальным, а сам скорей к вашей милости.

— Не может быть! — воскликнул пораженный Самсонов.

— Вот вам крест, Евгений Петрович.

И Владимир, выпучив на угол глаза, исступленно закрестился.

— Да, постой ты,—раздраженно отмахнулся от него Евгений Петрович.—Как же это? Не может быть. Батурин, фаворит дяди, всем обеспеченный и облагодетельствованный. Батурин, двадцать пять лет беспорочно прослуживший в полку.

В маленькой проходной буфетной, соединявшей столовую с залом, раздались нескорые спокойные шаги.

Евгений Петрович кинулся к двери.

Батурин, как всегда невозмутимый и серьезный, вошел в столовую.

— А вчера ты где ночевал?—чувствуя, что бешенство душит его, закричал Самсонов.

Он не сразу даже мог дать себе отчет, что привело его в такое исступление. Во всяком случае не рассказ Владимира. С губ Батурина не сходила едва заметная, издевающаяся усмешка. И эта-то усмешка вместе с презрительным спокойствием больше всего и бесила Евгения Петровича.

— Лжешь. В ту ночь ты был и воровал у нас на даче.

— Это не правда-с, — невозмутимо и не отводя взгляда проговорил Батурин. — Кто это вам сказал?

— А вот... — у Евгения Петровича не хватало слов. Бешенство его дошло до последних пределов. Но в дневнике и раздраженности, и несдержанности тоже были посвящены страницы, и он только крикнул глухим

срывающимся голосом: — Запираться нечего. Все украденные вещи найдены у твоей любовницы.

У Батурина усмешка еще шире раздвинула губы.

— Покажете мне их, коли найдены. Где ж они?

В этот самый момент под окном затарахтели извозчьи дрожки. Владимир рванулся к окну.

— Приехали, Евгений Петрович, квартальный с людьми нашими. И все покраденное при них.

Батурин даже не пошевельнулся.

— Ну — что, и теперь запираться будешь? — грозно обратился к нему Евгений Петрович.

— Нет, — отвечал тот, не отводя насмешливого и пристального взгляда. — Теперь уж запираться нечего. Украл, так украл.

— Да что ты, каменный что ли? — не сдерживая уж больше себя, бросился с нему Самсонов. — Совесть, совесть, куда ты дел, мерзавец. Своего же благодетеля обобрать решился. Командира, с которым служил. Да, знаешь ли ты, что теперь пойдешь на каторгу, и службу, и крест, и доброе имя не пожалел. — Долой с него все господское платье, — затопал он ногами, и шпоры, как бубенчики, залились несмолкающим звоном.— Наденьте на него какой-нибудь армяк, да отведите в часть.

Дворовые, до сих пор стоявшие молча, как будто только и ждали этого.

— Вот, Михаил Иванович, каких камердинеров себе заслужили,—издевались они срывая с него сюртук и жилет.

Батурин с презрительной и недоброй усмешкой оглянулся кругом, пошевелил губами, как будто собирался что сказать, но так ничего и не сказал. Покорно позволил снять с себя платье, покорно дал связать руки и так же, как всегда, только может высокомернее и презрительнее поклонившись, со связанными руками «на веревочке» позволил увести себя из комнаты.

Вся эта история расстроила и утомила Евгения Петровича.

Голова, казалось, болела еще сильнее, чем утром. В комнате пахло краской и клеем. В других ремонт еще не был закончен, и только одна эта столовая успела приобрести свой постоянный вид. Евгений Петрович приказал шире открыть окна и перенести сюда кушетку, не раздеваясь прилег на ней.

Проснулся он поздно, когда за занавесами мерцали уже короткие и светлые петербургские сумерки. Дневной сон не освежил, а только, как после долгой дороги, тяжестью налил тело. По бодрым шагам, сопровождающимся звоном шпор, и резкому слегка хрипловатому (сорван командой) голосу, доносившемуся из дальних комнат, догадался, что приехал дядя... Застегивая сюртук, пошел на эти звуки.

— Ах, mon cher,—закричал еще издали, увидев его, Николай Александрович.—Ты проснулся. А то я не хотел тебя тревожить, потише стараюсь. Ну, как находишь?—По моему не плохо? А?

И он широким жестом прошелся по еще не просохшим шпалерам только сегодня законченной гостиной.

— Вам уже доложили о покраже? Как вам нравится эта история? Ваш протеже - то каков? — здороваясь с щеки на щеку, спросил племянник.

— Да, да. Чорт знает, какая пакость. И это, представь себе, чуть ли не самый образцовый мой унтер. Каков репремант для твоего дядюшки. Теперь, ведь, государю всякую грязь докладывают. Вот, недавно, можешь себе представить, какая произошла история. Прямо подумать невозможно. Ну, да я тебе расскажу, а сейчас должен прямо сказать,—я тобою не доволен. К чему ты поспешил вмешать в это дело полицию?

— А как же можно было поступить иначе?

— Как? — Очень просто. Домашним способом на конюшню отправить, а потом — «иди, милый, на все четыре стороны». Поверь, что никакого бы шума не было. А теперь, представь, каково будет мое положение, если это дойдет до государя.

И Николай Александрович брезгливо поморщился.

Племянник, очевидно не сочувствуя, покачал головой.

— Ну, ну,—заспешил опять Исленьев—что сделано, то сделано, а впрочем, все это пустое, не стоит и разговора. Ты, как думаешь, что бы поужинать?

— Как хотите, дядя,—кисло поморщился Самсонов.— Хотя я тоже сегодня с этой историей даже не обедал.

— Ну и отлично, авось буфета-то здесь не разграбили. Что нибудь, да найдется.

За столом, прихлебывая подогретое бургондское и чувствуя, как возвращается к нему его обычное домашнее, благодушное настроение, Николай Александрович вспомнил:

— Да, я хотел рассказать тебе про Долгорукова, чорт знает, в какую отвратительную историю влопался бедный князь. И главное, ни сном, ни духом не виноват.

Евгений Петрович довольно рассеянно прослушал историю.

За окнами, такая же красная, как розлитое по стаканам, вино, догарала заря. Ветер, ослабевший, словно изнемогая, проникал сквозь щели тяжелых занавесей, и приятная прохлада касалась лица.

Евгений Петрович, приподняв в руке стакан, прищурившись долго смотрел на наполнявшую его рубиновую влагу, потом осторожно опуская его на стол, с глубоким и тихим вздохом сказал:

— А я думаю, что вы, дядя, не правы. Государю должно быть все известно, да и каждый из нас,— в доме ли у себя, в своем ли ведомстве,—должен знать

решительно все. В этом корень благодетельной и мудрой власти. Батурин—это, конечно, частность. Я не по поводу этого, а так в принципе смотреть не должно...

— Парламент! Нижняя палата! Или нет, отдельный корпус жандармов, — расхохотался Исленьев. — Ах, вы молодые, молодые...

И остановился. Закончил только через минуту и с грустной задумчивостью:

— Вот смотрю я на вас, нынешнюю молодежь, и грустно становится. И либералы-то вы какие-то непонятные. За такой либерализм каждому бы следовало чин действительного статского и место в сенате. Нет, из вашего поколения декабристам не выйти.

III

В Гостином дворе опечатывали книжные лавки.

Мелкий, как пыль, октябрьский дождь матовым блеском оседал на жандармских касках. Сальный огарок задувало ветром, и мокрый сургуч ни за что не хотел разгораться. Жандарм неуклюже возился возле двери, стараясь приклеить печать. На подводе ни чем не накрытые и сваленные в беспорядке мокли пачки книг. С почтительного расстояния наблюдавшая за всем этим небольшая кучка гостинодворских молодцов и просто случайных прохожих обсуждала и то и другое.

— Как раз — грамотный: в книжках разобрался, а печати никак не приладит.

— Разбирались другие. Их дело — схватить, да доставить.

— Кого?

— Да хушь книжку. Вон на дождике вперед помочут, а потом сечь будут и в Сибирь пошлют, раз ты не так написана.

— Это как есть. Только книжки, говорят, все не наши: немецкие.

— И то правда. Там напечатают, а у нас припечатают.

— Ишь дело какое, купцу, чай, убытки от этого большие.

— А поделом: не торгуй, чем не надо.

— Ну, слава тебе господи: управились. С богом, вези вам не растрясти.

Жандарм, возившийся у двери, наконец, приложил печать. Его начальник внимательно осмотрел ее и, кутаясь в шинель, взгромоздился на дрожки. Загромыхала по камням подвода. Толпа, явно огорченная незначительностью и краткостью зрелища, стала расходиться.

— А вот, братцы, что говорят,—неизвестно к кому обращаясь сказал какой-то парнишка, по виду приказчик из бакалейной.—Будто теперь переодетые жандармы в самом разном народе вертятся и все что-то подслушивают, куда надо доносят. Может быть по вашему, или нет?

— Брехня. Теперь у них вот как положено. Берется какой-нибудь человек, ну хотя бы ты к примеру, и строго-настрого ему приказывают, чтоб об этом даже попу на исповеди слово не промолвили. А велят тебе тереться среди людей своего звания и разные разговоры подслушивать, а что подслушал — сейчас же доложи, и за это тебе деньги платят. А ты как был, так и остаешься при своем месте и никому, кроме тебя да их, неизвестно, в какую службу ты у них определился.

— Так, так,—одобрительно подтвердили слушатели.— Вот и то говорят, что теперь слово сказать опасно, заберут.

— Ну, это не всякое. Лишнего только не болтай, а так разговаривать можно.

— Да, можно: вон намедни солдат какой-то из тех, кому теперь в отставку срок вышел, стал хвастать, как их в службе обидели. Так что-ж ты думаешь: сидит теперь под арестом, а в кабаке-то никого и постороннего не было. Да еще теперь, говорят, такое ему будет, что и выдумать страшно.

— А ты почем знаешь?

— Мне это, как его... крестный мой сказывал. Он в сторожах служит в этом самом отделении, что у Цепного моста помещается.

— Ну, так может и правда.

Это и на самом деле было почти правдой. Вечером того же дня в Михайловском манеже был обычный царский смотр бессрочно отпускным из гвардейских полков.

Царь прибыл только в восьмом часу.

Густой, как запекающаяся кровь, отблеск смоляных факелов неверным светом колебался и отступал перед мохнатыми и темными сумерками.

Царь, как вошел порывистым широким шагом, так и замаршировал вдоль фронта и поздоровался только пройдя уже половину не громко, отрывисто и сердито. На минуту остановился выслушать ответ, ногой по песку отсчитал такт и, выслушав, опять продолжал обход. На левом фланге круто повернул обратно, отошел от неподвижно застывших с устремленными на него глазами людей.

— Ребята,—раздался в мертвой тишине его грудной и низкий голос,—ребята, солдат русского царя не может быть негодяем. Моя гвардия таких среди себя не потерпит. Так, или нет, ребята?

— Точно так, ваше императорское величество,— гулко и слитно по слогам, как будто кто дирижировал из-за спины царя, пронеслось по сводам.

— А вот нашёлся один, — продолжал Николай, все повышая и повышая голос. — Он был среди вас, он и сейчас с вами...

Голос все возрастал и твердел. Отдельные ноты, словно они стали металлом, не таяли, вибрировали и гудели, уходя под самые своды манежа.

— Ребята, я вам отдаю его на суд. Вы лучше меня присудите ему наказание.

Вдруг голос оборвался, низким и гулким клокотанием припал к земле.

— Кто вздумал болтать, что я незаконно держу по второму сроку? Кто?! Три шага вперед! Марш!!!

Один миг царю показалось, что вся, неподвижной стеной замершая масса дрогнет, сжимающее кольцо поползет на него. Но нет, только один,—высокий павловец с посеребренными бакенбардами прямым печатающим шагом вышел из фронта.

— Ты!..

Император приближался к нему медленно, большими, надолго приставшими к земле, шагами. Свита почтительно и осторожно старалась отстать.

— Ты.

Рука поднялась ударить, но взгляда не выдержал император, быстро отвел глаза, ими успел поймать на груди серебряный равноконечный крестик, рванулся, сорвал его, бросил на земь.

— Говорил, что против закона, говорил?

— Так точно, говорил,—раздельно и четко прозвучал ответ.

Император вскинул голову, глазами обводя фронт, опять певуче и звонко прогремел:

— Вы судите. Что присудите, так и будет.

Молчание.

Николай выждал паузу. Потом опять еще повысив голос, спросил:

— Что делать с ним, говорите. Вас спрашиваю.

Ответа ждать не стал, рванулся к одиноко стоявшему перед фронтом солдату, потрясая кулаком, прохрипел:

— Против закона!.. Закона не узнал за тридцать лет!.. Я выучу! Службу! Опять! Без срока на выслугу!

Павловец стоял неподвижно.

— Не в гвардию, — кричал царь, — паршивую овцу из стада вон. В гарнизон! В Сибирь! Правильно это, ребята?

— Точно так, ваше императорское величество, — не сразу и глухо, как-будто чем-то тяжелым придавленное, раздалось под сводами.

IV

Этой зимой Самсонов впервые по настоящему ощутил потребность серьезно подумать о своем будущем.

Адъютантство в бригаде даже к роте не облегчало и не укорачивало пути. А у Исленьева подростали дети, к ним должны будут перейти не только дядюшкины богатства, но и все влияние и вес его имени, что останется тогда на долю небогатого и незнатного родственника? А, оставаясь в строю, даже при самой большой выдержке и терпении, дождаться денег и положения можно будет только тогда, когда и голова будет уже седой. Нужно было думать об иной карьере, выбирать службу, которая не потребует, а сама будет давать доходы, нужно искать места, где и одной старательной ревнительностью можно будет завоевать себе положение.

Но к трезвым рассудительным размышлениям о будущем примешивались нелепые, путавшие их мечтания.

До сих пор той беспечной жизни, которую вел, благодаря дяде, Евгений Петрович, не доставало чего-то самого главного, самого важного.

Как от сна, во рту оставался густой и неприятный привкус от воспоминания прожитого. Он пробовал перебрать в памяти свои прошлые увлечения,—ему делалось противно и скучно. Все они, дворовые ли девушки, польские ли панны, не устоявшие перед молодым и красивым представителем победоносного русского оружия, провинциальные ли скучающие красавицы, от тех же самых качеств терявшие голову, цыганки из Новой деревни и подарившая своей мимолетной благосклонностью одна светская дама, все они, одинаково хранимые памятью рассудка и не хранимые памятью сердца, представлялись теперь почти ненавистными.

«Можно ли верить,—писал он в дневнике,—женщинам, с такой легкостью, в результате ничтожных усилий, достающимся тебе. Я оказался бы в собственных глазах презренным, если бы одной из них открыл все тайники своих чувствований, позволил бы безудержно излиться кипящему во мне. Завтра, так же легко, как ко мне, придет она к другому, и то, что ревниво хранил от всего мира, станет предметом насмешки и унижения от нового любовника»...

С мечтами о той, которой будет открыта сохраненная самолюбивой подозрительностью от ее предшественниц страсть, засыпал Самсонов. Смутная тоска о неизведанном и невозможном наслаждении приходила вместе с пробуждением. Ревнивую зависть и страдание будил один только вид счастливой супружеской пары, и каждый раз, невольно или намеренно делаясь соучастником обмана любящего и счастливого мужа, он ощущал в себе горькую злобную радость. Тоска о невозможной—(он не верил, что таковая возможна)—безраздельной

любовной преданности отравляла мечты, портила характер.

— Евгений Петрович, а Евгений Петрович.

За дверью настойчиво и осторожно, уже не в первый раз, окликнули его по имени.

Он не отозвался.

— Евгений Петрович, а Евгений Петрович, наказывали вас разбудить в восьмом, а сейчас девятый.

— Чего ж ты раньше думал!.. — сразу раздражаясь, крикнул Самсонов.

— Да я поди более часу около вас стою, никак не добужусь только—проговорил Владимир, входя в спальню. Шторки поднять прикажате?

И он отдернул занавес.

За стеклами висела плотная завеса густого тумана. По стеклу причудливым узором разметался мороз. Серые жидкие тени поползли в комнату, сделали ее неуютной и холодной. Поеживаясь, Евгений Петрович медлил скинуть с себя одеяло. Владимир стоял у постели с халатом и носками в руках. Ухмыляясь и с напускным равнодушием проговорил:

— Михаил Ивановича-то нашего, дворецкого знаменитого, сегодня в Сибирь отправляют. Сбили, говорять, наконец, партию. Наши ребята смотреть бегали. Смешно-с, Евгений Петрович.

— Что смешно-то?

— Да, как же,—полюбовница-то его, Михаила Ивановича то-есть. Чай помните, тогда же все и покраденное у ней нашлось. И красивая же баба, скажу я вам, Евгений Петрович, смотреть прямо невозможно, а вот, подите, на каторгу за ним идет. Какая приверженность.

Самсонов только криво усмехнулся, опуская ноги в подставленные туфли. Что-то похожее на зависть

к этому уличенному, ошельмованному, ссылаемому в Сибирь солдату кольнуло в сердце.

— Сама? По своей охоте?—спросил он, и голос показался глухим и не похожим.

— Сама, Евгений Петрович, Дарьей ее зовут, а по отцу Антоновна. Видная баба, то ли из мещан, то ли солдатка: белье она на чиновников стирала и деньги у ней, говорят, водились. Ну, да в Сибири их живо потрясет. А нашему-то Михаилу Ивановичу хоть бы что: все таким же волком на людей смотрит, хоть и волголовы обрили...

— Давай скорей умываться. Проспал по твоей милости,—нетерпеливо и сердито перебил его Самсонов. Как раз сегодня он обещал дяде получить из главного штаба необходимую тому справку. Сайчас подумал, что добиться ее будет не так-то легко. Потом он уговорился встретиться с Полем Мезенцовым, товарищем еще по школе. Мезенцев превратностями судьбы еще в прапорщичьем чине, послан был в армейское захолустье и сейчас только на несколько дней и случайно вырвался в Петербург. Кто его знает,—может подумает, что им брезгуют, если пропустить свидание. Евгений Петрович почувствовал скуку и отвращение, но тем не менее не переставал сердиться и торопить Владимира с одеванием. Через час Исленьевские кровные рысаки с места подхватили и помчали Самсонова по Большой Морской. Меньше чем через три минуты, чуть слышно звякая цепляющимися за полу шинели шпорами, он выскочил из саней и, бросив кучеру: «жди», вошел в подъезд главного штаба.

Там после долгих блужданий по бесконечным, похожим на лабиринт, корридорам, после десятка не по адресу и без пользы вопросов и обращений, ему, наконец, удалось добиться указания, что лучше всего пере-

говорить об его деле с делопроизводителем какого-то там отделения Владимиром Петровичем Бурнашевым.

Евгений Петрович приготовился говорить с нелюбезным и хамоватым чиновником, довольным случаем пронеглижировать обращающегося к нему гвардейца. Навстречу ему из-за стола поднялся румяный и полный господин с таким лицом, как будто оно без всякого контура была намечено одними только красками, и теперь эти краски слились и смешались.

— Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас, присядьте. Через пятнадцать минут будет вам справочка. Никак больше задержать не посмеем,—суетливо сыпал он словами и почему-то ужасно краснел при этом...

Евгений Петрович успел разглядеть у Бурнашева меленькие, но довольно живые глазки, густые, круто и пышно вьющиеся, как это бывает только у природных поповичей, волосы и крохотный по смешному вздернутый носик. Все это вместе с довольно нескладно сидевшим мундиром, потными руками, которые он беспрерывно потирал, и слащавыми манерами вызвало к этому человеку брезгливую снисходительность. Он рассеянно слушал, как без умолку болтал Бурнашев.

— Вы племянничек-с почтеннейшего Николая Александровича, как же, как же-с, очень наслышан. Я сам, извините, человек не светский.

При этих словах Самсонов не смог скрыть на лице невольную улыбку. Бурнашев называл по имени и отчеству людей, с которыми он никаких не мог быть знакомым, и все они у него оказывались «почтеннейшими», «милейшими», «добрейшими», «уважаемыми». Как будто он хвастался емкостью своей памяти, сумевшей сохранить не только имена, но даже какие-то сведения об особенностях характера и привычек их носителей.

— Я изволите ли видеть, слегка пописываю,—вкрадчиво докладывал он.—Что прикажете делать,—непреодолимое влечение к изящной словесности. Но сам-то я, боже сохрани, отнюдь не дерзаю,—так, журнальные заметочки, статейку какую-нибудь в крайнем случае, но только не больше. Я даже свое маранье в «Северной Пчеле» помещал. Там псевдоним у меня был весьма забавный: Пче-ло-вод. Тонко и верно. Стихи, стихи я главным образом обожаю. Вот-с, недавно еще какой у нас поэт обнаружился. Не слыхали? Огромнейшее дарование. Многие даже с Александром Сергеевичем сравнить решаются. Но только я думаю,—это слишком. Талант безусловный, но все же до Александра Сергеевича, конечно, далеко. В «Библиотеке для чтения» поэмки такой «Гаджи Абрек» читать не изволили? Некоего корнета по фамилии Лермонтов называют ее сочинителем. Большое будущее у человека, скажу я вам, если это так.

— Лермонтов!

Что-то неприятное было связано с этим именем, но что, Евгений Петрович так и не мог вспомнить.

— Скажите,—прервал он излияния Бурнашева.—Вам так хорошо известны все подробности, касающиеся любой приметной особы. Может вам было бы проще дать желаемую мною справку на память, нежели искать ее в архивах?

Против ожидания Бурнашев не оскорбился нисколько, наоборот он только ужасно смутился и покраснел еще больше.

— Сейчас, сейчас, одну минуточку,—засуетился он, привскакивая с места. — Вот изволите ли видеть, уже несут. Ну, теперь все в порядке, я для вас специально на подпись к начальнику отделения сбегаю. Одну минуточку.

Через пять минут в руках у Евгения Петровича была желаемая справка. Он сухо поблагодарил словоохотливого чиновника и поспешил откланяться.

— Очень рад-с, очень рад, что мог быть полезен,— пожимая ему руку, повторял тот.—Весьма польщен знакомством. Весьма.

— Чего доброго еще приедет с визитом,—досадливо подумал Евгений Петрович и, освободив свою руку, вышел из комнаты.

Из главного штаба он приказал ехать к Полицейскому мосту, где в кондитерской у Вольфа он обещал встретиться с Мезенцевым.

Не назначать свидания дома у Евгения Петровича были свои соображения. Он очень опасался, что за долгий срок пребывания в провинции Мезенцев потерял то понимание требований хорошего тона, которое позволяло бы им остаться на короткой ноге. И он не ошибся. Мезенцев чуть ли не с первых слов поспешил сообщить, что у него есть положительное обещание об обратном переводе в гвардию, стал чуть ли не по пальцам перечислять всех, с кем он успел повидаться, и кто по-прежнему остался к нему благожелательным.

— Как это мне интересно, — поморщившись, подумал Евгений Петрович,—нет, он решительно похож на того говорливого чиновника.

— Да вот еще, — вспомнил, когда они уже прощались, Мезенцев, нисколько не смущаясь скучающим видом своего друга. — Я имею на тебя виды. В одном близком мне доме готовится праздник,—маскарад с оперным представлением и разные там шутки. Какое-то семейное торжество, кажется, серебрянная свадьба. точно не знаю. Так вот у младшей дочки заболел кавалер, а она должна была танцевать с ним в каком-то характерном танце. Я хочу ввести тебя с тем, чтобы

заменить заболевшего. Ну, что ты думаешь? Уверяю, раскаиваться не будешь. Дом исключительно приятный, а дочка прелесть. По совести сказать, я уже обещался за тебя. Мне, понимаешь ли, не совсем удобно, как разжалованному, особо выделяться на этом бале, где будут, вероятно, члены императорской фамилии.

— А что это за дом? — рассеянно спросил Евгений Петрович.

— Львовы. Отец — член государственного совета, директор певческой капеллы. А сыновей ты вероятно знаешь. Один скрипач, ну, тот самый начальник канцелярии Бенкендорфа, другой служит, кажется, в Павловском полку.

Евгению Петровичу, не хуже, чем Бурнашеву, были известны связи всех петербургских фамилий. Семейство Львовых, помимо службы старшего сына, было связано с всесильным шефом корпуса жандармов и командующим императорской главной квартиры еще и давней дружественной приязнью... Он улыбнулся и с той высокомерной снисходительностью, которую он еще до встречи определил в себе по отношению к бывшему приятелю, сказал:

— Ну, что-ж. Пожалуй, представь. Я согласен.

V.

Концертную программу в доме Львовых готовили с большим усердием. Репетиции продолжались почти уже месяц и были достаточно частыми, однако, Евгений Петрович вскоре стал пользоваться любым случаем, чтобы и помимо них побывать там. Поль Мезенцев, как-то, встретившись с ним, воскликнул не без торжества:

— Что!.. Я не ошибся!..

Самсонов только лениво улыбнулся.

— Да, люди действительно весьма достойные. У них мне приятно, но и только.

— Ах, лицемер! А Надин. Надежда Федоровна. Это что!..

Евгений Петрович покривился скучливой и безразличной гримасой.

Надежда Федоровна, младшая Львова, с которой он должен был выступить на празднике, в каком-то характерном танце, уже вторую зиму выезжала в свет. Но тем не менее, ни на лице ее, ни в манерах никто не обнаружил бы даже намека на то, что так решительно и быстро спешит усвоить себе любая барышня ее возраста. В обильном и разнообразном арсенале, который природой и светским мнением предоставлен для легких и бальных флиртов, для почти обязательнаго кокетства, как будто для нее не нашлось никакого оружия. Она и с кавалерами разговаривала, как с товарищами детских и невинных шалостей, и улыбалась она так, как будто ее совершенно не интересует — к лицу или не к лицу эта улыбка. Евгений Петрович заметил, что она очень осторожна, сторонится людей с установившейся репутацией волокит и повес, без преувеличенного лицемерия или зависти отзывается об успехах подруг, и это-то вероятно и вызвало в нем нечто похожее на почтительное восхищение.

— Да, да. Вот такая именно, такая может быть по-настоящему преданной,—думал он не раз, возвращаясь от Львовых.—Такой бы я не побоялся открыть и себя, если бы...

До конца он не решался выговорить даже и себе.

Невыразительность и бледность черт его дамы шокировала Самсонова. Не хватало еще чего-то, помимо преклонения пред ее добродетелью, чтобы, хотя в мечтах, без колебаний назвать ее своей избранницей. Про-

тив воли на память приходила великорослая Одзейка, женихом которой он чуть было не сделался во время зимней стоянки в Риге после польского похода. Вспоминались ее руки, большие и некрасивые, перчатки всегда в пятнах от проступившего пота. Почему-то эти руки неизбежно связывались в памяти с застенчивым и смущенным взглядом Надежды Федоровны, с ее по детски невидной фигурой. Назвать ее женой, даже в мыслях, не казалось возможным.

Праздник открылся торжественной кантатой, специально написанной к этому дню Алексеем Львовым, тогда уже прославленным автором русского гимна. Кантату исполняли певчие придворной капелы, и их мастерское исполнение сразу сообщило какой-то холодок и официальность празднику. Той беспечности и дружественной простоты, с которой проходили для Евгения Петровича часы репетиций, не осталось и следа. Уже костюмированный стоял он у дверей боковой комнаты, ожидая своего выхода. Зал, превращенный на этот раз в концертный, блистал сотнями свечей. В рядах блестели почтенные лысины, играли бриллианты и горели золотом мундиры. В первом ряду, между Бенкендорфом и хозяином, сидел Михаил Павлович. У великого князя был рассеянный, скучающий вид. Играя лорнеткой, он чуть склонил на бок голову, снисходительно слушая, что говорил ему на ухо хозяин. Едва прогремела последняя нота кантаты, он поднялся с места. Тотчас же встал и весь зал. Старик Львов, почтительно изогнувшись, засеменил вслед за ним.

— Сейчас наш выход, — прошептала Надежда Федоровна.

— Хорошо-с.

Самсонов смотрел, не отрываясь, на то место, где только что сидел великий князь.

— Пожалуйте-с, ваш выход, молодые друзья,—шепнул слегка подталкивая их к двери, Алексей Львов, распоряжавшийся концертом.

В школе, в юнкерском мундирчике, выступая перед высокими посетителями, переживал Евгений Петрович нечто подобное.

Зал с эстрады показался измененным и незнакомым. Десятки устремленных на нее взглядов мешали найти и увидеть тот, который он так старательно ловил. Как на экзамене, казалось,—только в нем можно будет прочесть свою судьбу.

У Бенкендорфа шея не держала больше головы. Серо-пепельная от седины грива, казалось, росла прямо из золотого шитья эполет. Рядом лысый череп старика Львова блестел, отражая игру свечей. Сложные и медлительные па какого-то необыкновенного восточного танца, специально выдуманного для этого вечера домашним балетмейстером, все же позволили что-то заметить из происходившего в зале.

Два раза быстро перебежал от колен Бенкендорфа к ним на сцену взгляд старика Львова. Евгений Петрович успел заметить угодливую веселую улыбку, с которой Львов склонился к уху генерала. Тот на мгновение вскинул голову. Бесцветный тяжелый взгляд медленно потянулся к сцене, чуть задержался на Надежде Федоровне и пропал. Кивая утвердительно, закачалась серопепельная копна волос и упала опять на увешенную орденами грудь. Евгению Петровичу показалось, что он разгадал значение этого взгляда. Сердце вдруг сорвалось встревоженным и частым стуком.

Перенося через свое плечо руку Надежды Федоровны, он незаметно и мгновенно прикоснулся губами к кончикам ее пальцев. Ее глаза были почти рядом, голубые,

по-детски удивленные, сейчас они,—или это только показалось,—подернулись темной пеленой.

После, часто вспоминая это мгновение, Евгений Петрович был почти убежден, что его судьба только потому и решилась тогда, что ответом на этот поцелуй было безмолвное короткое пожатье.

Разгримированной и сменившей на обычный бальный наряд свой маскарадный костюм Надежды Федоровны он не узнал. Она показалась совсем другой, сразу похорошевшей и возмужавшей.

— Вы все танцуете со мной,—торопливо шепнул он несказанное перед концертом приглашение.

Ответом была нежная и благодарная улыбка.

В вальсе проходя по внешнему кругу зала, Евгений Петрович почувствовал, что на него смотрят пристально и насмешливо.

— Кто этот маленький гусар в углу?—настораживаясь, спросил он.

Надежда Федоровна засмеялась.

— Ах, я не знаю, зачем только его принимают у нас. Этот кривоногий уродец, вероятно по этой причине только и мнящий себя Лордом Байроном всем говорит ужасные дерзости. Говорят, он пишет стихи. Наверное жалкий вздор.

Маленький гусар не танцевал весь вечер. Проводил он Самсонова все тем же насмешливым и ленивым взглядом. Потом, подавляя зевок, и только придерживая рукой свой громыхающий палаш, не прицепленный на крючок, как это делали все светские кавалеристы, он неровным, припадающим шагом, по-английски ни с кем не прощаясь прошел к выходу.

Лакей в передней накинул ему на плечи серую с капюшоном шинель, и он сразу стал еще более сутулым и неуклюжим. Белый султан затрепетал в дверях от

струи морозного воздуха. Не придерживаемые полы шинели хлюпали на шагу.

— Сани корнета Лермонтова! — гаркнул жандарм у подъезда.

С противоположной стороны, от стоявших там экипажей, отделились и поплыли на свет две серые конские головы. Полозья с раскату ударились о каменный тротуар.

— Домой прикажете, Михаил Юрьевич?—откидывая полу, спросил кучер.

— Нет... А, впрочем, впрочем пошел домой, — махнул рукой Лермонтов, и, запахивая шинель, стал садиться в сани.

На Мойке, в доме Ланского, занимаемом «гвардии поручицей Елизаветой Алексеевной Арсеньевой», в верних окнах был свет.

Лермонтов осторожно, стараясь не шуметь, сбросил в передней шинель, отодвинул палаш, спросил вполголоса: «Легла ли бабушка?» и поднялся по лестнице наверх.

За дверью, из под которой узкой полоской проникал свет, слышалось монотонное бормотанье. Лермонтов толкнул дверь.

— Аким, ты почему дома?

Белокурый юноша в юнкерском мундире артиллерийской школы обрадованно и живо отбросил от себя книжку, вскочил с дивана.

— Мишель! — воскликнул он радостно. — Какой ты чудак, где же мне быть? Ведь сегодня суббота, а в понедельник у нас репетиция по химии.

— А.

Лермонтов повидимому был занят своими мыслями. Не глядя на юношу, он подошел к столу, тронул лежавшую книжку.

— Что это? Химия. Тебе не надоело? Хочешь перед сном одну партию в шахматы?

Юнкер, поспешно соглашаясь, кивнул головой. Он сдвинул на столе в одну кучу карандаши, бумаги и перья и расставляя на столе фигуры, проговорил с легким упреком.

— А ты где пропадал до сих пор? Бабушка долго не хотела ложиться, все ждала тебя.

По лицу Лермонтова пробежала печальная и жалобная улыбка.

— Бабушка очень огорчилась. Это очень не хорошо, Аким, с моей стороны доставлять ей огорченья. Ну что-ж поделаешь, видно такой уж я потерянный человек.

И тяжело вздохнул.

— Ну давай, твои черные.

Он опустился на диван к столу, отстегнул и сбросил с плеча ментик, расстегнул шнуры доломана.

— Святослав дома? Вероятно, занимается—не знаешь?— проговорил рассеянно, придвигая к себе доску с расставленными фигурами. — Андрюшка, должно быть, дрыхнет?

— Нет, кажется, не спит. По крайней мере он только что был тут, спрашивал, не приезжал ли ты.

Черная, пешка была взята в молчании. Еще последовало несколько ходов, и они не обменялись ни словом. Перевес определенно был на стороне белых.

Дверь осторожно приоткрылась. Рослый лакей в денщичьей форме лейб-гусарского полка появился на пороге. Лермонтов поглядел на него строго.

— Вас нешто укараулишь, Михаил Юрьевич, — ухмыльнулся тот, видимо ни капли не смущаясь. — Вы вон, как кошка, по дому ходите.

Лермонтов погрозил ему пальцем.

— А это что у тебя? Письмо?

Он с поспешностью выхватил письмо, разорвал конверт.

— Ну, ну, Аким, можешь думать, сколько тебе угодно,—бросил, углубляясь в чтение.

— Шах вашему королю,— торжествуя, воскликнул Аким и вдруг осекся.

Лицо его партнера вдруг страшно переменилось. С татарских выдающихся скул слетел весь румянец, побелевшие губы непрестанно подергивались.

— На вот, прочти,— бросил он на стол письмо и, с шумом отодвинув стол, выбежал из комнаты. На доске зашатались фигуры. Белый король, откатившись, словно в нерешительности секунду держался на краю стола и полетел на пол.

Аким не успел дочитать и до половины, когда в комнату с встревоженным видом вбежал бледный молодой человек в синем чиновничьем фраке.

— Что тут случилось?—воскликнул он взволнованно.—Мишель приехал?

Юнкер вместо ответа с грустным выражением протянул ему письмо.

— И знаешь что, Святослав,—сказал он, волнуясь.— Я и сам потрясен не меньше Мишеля. Это одна его знакомая пишет, что Варенька Лопухина выходит замуж. Едва он прочел это письмо, как вскочил из-за стола с таким лицом, как будто ему сообщали о смерти самого близкого человека. А ты знаешь, мы еще недавно ссорились с ним из-за нее. Я думал юнкерская фанфаронада заставляет его презирать, называть ребячеством все чистое и хорошее. Нет, нет, теперь-то я вижу, что все это только напускное. Чувство его к Вареньке неизменно, оно велико и серьезно.

Святослав молча покачал головой.

В доме старухи Арсеньевой Мишель был кумиром не только одной бабушки. Его решительно боготворили, на него молились и все остальные, жившие там. Но между детским восторгом и обожанием младшего кузена Лермонтова Акима Шан-Герея и безграничной какой-то фанатической преданностью Святослава Александровича Раевского лежала непроходимая пропасть. Внешне Раевский как бы стыдился этого преклонения. В тайне он почти с болью не раз спрашивал себя: может ли он хоть в чем-нибудь отказать чего-либо не сделать ради Мишеля? Откуда-то из самых глубин его сердца поднималось, как вздох:

— Нет, не могу.

Это был не по годам серьезный молчаливый молодой человек. Был он беден, вместе с матерью, дальней родственницей Арсеньевой, проживал в ее доме, чуть-ли не из милости. Юношеское самолюбие жестоко страдало, подвергаясь постоянным испытаниям. К богатым и беззаботным привилась прочная, ни чем не вытравляемая ненависть, а в Мишеле его восхищала даже гусарская бравада, даже любая, грубая и скабрезная шутка. Любой жест, любой его поступок имел для Раевского какую-то особую значительность. Он легко забывал обиды, в любую минуту готов был пойти на помощь из дружбы к этому беспрестанному своему обидчику.

И сейчас, ничего не ответив Шан-Герею, только сокрушенно покачав головой, он пошел к комнате Мишеля. Раевскому казалось, что тот должен очень страдать, ему нужен друг и утешитель. Умилительное чувство жалости и сочувствия переполняло сердце.

За дверями раздавались мерные настойчивые шаги, мягко—на ковре—звенели шпоры.

Раевский открыл дверь.

— А, Святослав,—останавливаясь посреди комнаты, воскликнул Лермонтов.—Входи, входи.

Он смотрел на Раевского веселыми, смеющимися глазами. Потом, словно вспомнив что-то, с отчаянным смехом бросился на отоманку.

— Слушай,—катаясь по ней и задыхаясь от хохота, кричал Лермонтов.—Я сейчас представил себе, как ты будешь выглядеть, если влюбишься. Это будет нестерпимо глупо, уверяю тебя. Я сегодня был на одном вечере... Нет, это я должен тебе рассказать. Представь себе пехотного адъютанта, который не может оторваться взглядом от своего аскельбанта. Ну, вот, у этого адъютанта морда, как будто он подходит к причастию. Погоди, погоди, Святослав... Он танцевал. У его дамы такой вид, будто с ней сейчас произойдет какой-нибудь флотский казус. Это значит,—ты знаешь, что это значит.—Это значит, что они только что объяснились. Вероятно, это очень тяжелое состояние пробыть весь вечер с такой мордой. Впрочем, я убежден, что адъютант прямо с бала поедет на Васильевский или к Московской заставе, если только у него дома не пристроено для этой цели какого-нибудь громоотвода. А его предмет,—нет, это замечательно,—я могу тебе рассказать, что будет с ней. Это очень добропорядочный дом, живут по-старинке, следовательно горничная у девицы должна быть рябой и толстой, платье на ней домашнее с четырехугольной талией, внизу уже, чем вверху, ноги хлопают в грубых башмаках без ленточек. Вот такая-то горничная с сонными глазами и придет, зевая, раздевать свою барышню. Когда она будет снимать с нее туфли, та, наконец, не выдержит,—нужно же кому-нибудь излиться в чувствах,—и начнет воспевать пехотного адъютанта. Горничная, конечно, икнет и скажет при этом: «простите барышня». Барышня на нее разгневается, у барышни пропадет ее

мечтательное настроение, но сны,—уверяю тебя, Святослав,—она будет видеть в эту ночь такие исключительно приятные сны. Никогда не влюбляйся, Святослав.

— Чем ты так раздражен?—тихо спросил Раевский.

— Я? Ты смеешься: я весел, как никогда. А впрочем...—лицо Лермонтова сразу перестало смеяться, сделалось грустным и беспокойным. Я сейчас пытался сесть за своего «Оршу». И вот, ничего, решительно ничего не выходит. Нет, нужно заболеть, хоть на месяц, иначе от этих порханий я совсем разучусь писать.

— Да, правда, за этой светской жизнью, ты совсем бросил стихи,—живо подхватил Раевский.

— Ну, ты уж обрадовался. Не стихи, Святослав, важны, даже и не стихи. Важно чувствование. А впрочем, чорт знает, что важно. Я и сам не могу понять того.

VI.

Имелось постановление, вынесенное кабинетом министров еще при Александре, что «партии уголовные в Сибирь надлежит направлять с таким расчетом, чтобы большая часть пути протекала во время летнее». Но... «у казенного гвоздя и шляпка денежка, сумей только выплатить».

В зимние короткие дни переходы должны быть по крайней мере вполовину короче летних.

Как ни скуден арестантский рацион, но и с него, как с гвоздя шляпка, должен быть доход неминуемо. Арестантские партии всегда норовили составить к отправке зимой, либо осенью.

Мутное — в тумане и морозной пыли — утро никак не могло продрать глаз. Словно сквозь слипшиеся от тяжкого сна веки, смотрело оно на белую унылую землю.

На крыше Зимнего Дворца уже работал рукастый телеграф. Черная плоская доска, то вскидывалась, разрубая сумрак, то, словно в плече у нее оборвалась связка, бессильно висела вдоль мачты. От главного штаба скакали к заставе фельдъегерские сани. В казармах глухой рокочущей трубой звали «на молитву». На улицах появились первые заспанные извозчики, зевая вылезали из своих будок будочники. У лавок снимали ставни.

За заставой Московский тракт оглашался глухим непрестанным звоном. Под сотней давивших его ног скрипел снег. Скрип с каждого шага подхватывало бряцание кандалов. Закованным шли только приговоренные к каторжной работе и арестантской роте. Таких в партии было человек тридцать. Впереди них в ямских санях шагом ехал конвойный офицер. За ним, окруженные цепью солдат, гремели бряцающим шагом кандальные. Дальше конвой редел, шли ссыльные, тянулись обывательские пошевни со скарбом, детьми, слабосильными и «вольнослеДующими». Вдали расплывчатым серым силуэтом отходил и отставал город.

Пока шли городом, редкие прохожие, попадавшиеся навстречу, сбегали с тротуаров, поспешно совали в руку конвойному грошик, шепча:

— Несчастненьким христа ради.

И торопливо отбегали прочь.

За заставой в шесть троек укатанный тракт по раннему часу был еще пустынен, изредка, заглушаемое звоном кандалов, летело «поди закрой». Взмыленные в клубах пара навстречу, сухие в облаках снежной пыли, догоняя, проносились фельдъегерские тройки. Реже попадались крытые барские возки, в ямских раскидных санях дремали те, кто был победнее или ехал по делам службы. Снежная, выбеленная морозом, дорога лежала, как чистая скатерть, растеленная вровень с полями,—

чалыми скелетами темнели лишь полосатые верстовые столбы.

В последних пошевнях обоза, среди груды арестантского скарба, сидели три женщины. У двух на руках были дети, третья, занимавшая самое удобное место, держала в руках только связанный в ковровый платок узел. Первые две, старообрядки, целой семьей отправляемые в ссылку, поглядывали на нее порой не то с робостью, не то с завистью. Только седой, как лунь, старик, пристроившийся рядом с возницей, смотрел неодобрительно и сурово.

Конвойный унтер-офицер, притулившийся с краю саней потянуть трубочку, говорил ни к кому не обращаясь:

— Наше дело служивое. Был, служил. В отставку стал выходить, языком что-то не так наработал. Ан, царя-то и рассердил. Вот и выходит—человека как не бывало, все начинай сначала.

Он помолчал, улыбаясь благодушно и незлобиво. Потом заговорил опять все с той же улыбочкой:

— Тридцать два года в службе из тебя шкуру барабанную делали, а тут на послед отодрали по гвардейскому, по-настоящему, да в гарнизон. Спасибо, хоть лычки оставили. Промеж мужиков и бурмистр барин. Вот так-то.

Он в горсти высек огня, стал раскуривать трубку, а раскурив, продолжал, не меняя тона:

— Жаловаться еще пока что нечего: хуже бывало, только вот в чем обида и несправедливость страшная— и лицо у него вдруг нахмурилось, глаза стали смотреть по серьезному. Обращаясь к сидевшему в санях старику, заговорил уже другим тоном.

— Вот, вот, это самое. Крест, за кровь собственную данный крест Егорьевский с грудей сорвал и ногой

затоптал. Лычек не лишил,—иди, мол, на выслугу—это тоже неправильно: разжаловать полагается, если на выслугу. А вот крест, крест как, если даже и не разжаловали? Этого и царь не может.

Старик посмотрел на него сурово, скороговоркой, как бы про себя, заговорил:

— Пустое, пустое. Он дал, он и взял. Все в его власти и крест этот твой без значения, не стоющий. Тут вот какая печаль. Кабы он сам-то был настоящий...

Мгновенно взметнулся на него унтерский взор по начальнически:

— Старик, лишнего не болтай, а то знаешь: дружба дружбой, а табачек врозь.

Старик смолк, отвернулся и сплюнул.

Унтер с минуту молчал тоже, попыхивая трубкой. Потом опять с веселой улыбкой обратился к закутанной в шаль женщине:

— Нам что: рубашку сменишь, постирать подумаешь, а жить и того проще. Лучше только на том свете станется. А вот вы—величать как—не знаю,—на такое дело решились: этого и в толк не возьму.

Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась.

— Звать Дарьей, а по батюшке Антоновна,—проговорила она, растягивая слова.

— Вы-то как, Дарья Антоновна, от хорошей жизни на этакую подлость идете. Аль не гвардейской солдаткой были, что с арестантом пошли?

Женщина посмотрела на него, улыбнулась. Потом, помолчав, сказала (слова у нее выходили мягкие, тягучие, как будто она резала тесто):

— Говорите, тридцать два года службы пробыли, а ума, как посмотрю, не нажили. В людях разобраться не умеете.

Чуть ускоряя речь, она обернулась к сидевшим рядом парообрядкам.

— Вы, бабочки, может и впрямь что подумаете,— при этом она улыбалась опять, под красными влажными губами блестели белые, как снег, ровные зубы.—Ни боже мой, этого со мной не бывало.. Я с барином одним долго жила, а к Михайлу Ивановичу моему такую привязанность имею, что за ним не то, что в каторгу, в самый ад пойду. Очень это редко случается, чтобы человек такое правильное понятие о жизни имел, как Михаил Иванович. Он и на грабеж только ради этого понятия решился. Все равно, говорит, настоящей жизни так быть не может, а он у господ главным двоедцким был, сто рублей жалованья получал. Нужно, говорит, добыть для начала только, а я в походах был, видал, как в заграницах люди живут, могу понимать теперь, через что можно получить настоящее освобождение. Только вон, видишь, как обернулось, и опять— все сам: характер у него властный, да гордый, людей притеснял—они его и выдали.

— Что-ж вас-то помиловали? Ай, никак не признался?—усмехнулся унтер.

Дарья Антоновна поиграла глазами, свысока оглядывая унтера.

В это время впереди раздалась команда. Забил барабан. Унтер проворно соскочил с саней. Оправляя на ходу шинель, побежал вперед. Старик, приподнявшись с места, и шаря подслеповатыми глазами, прошамкал:

— Ай, уже привал. Больно скоро-то.

Но барабан впереди трещал неумолчно, расстраивались ряды арестантов, которые один за другим останавливались. Вдалеке в ранних зимних сумерках чернели мутные очертания жилья.

Подводы по команде свернули влево, объезжая толпу арестантов, направились в деревню.

Худой и высокий, как жердь, офицер суетился перед фронтом, расчитывая и разделяя партию на отдельные группы. На морозе хриплыми и веселыми голосами перекликались, считаясь, арестанты.

Дарья Антоновна вышла из саней, дождалась, пока офицер закончил разбивку, и подошла к нему.

— Ваше благородие,—густые ресницы опустились, закрыли черные блестевшие глаза.—Ваше благородие, дозвольте к вам с просьбой.

У офицера беспокойно заметался взгляд, лицо словно помутнело.

— Ну, в чем дело вольнослеующая? С арестантом переночевать дозволить? А это как?..

Голос офицера, глухой и хриплый, скрипнул над самым ухом. От винного дыхания замутило. Медленный румянец стал заливать лицо Дарьи Антоновны. Еще ниже опустились ресницы.

— Так значит дозволите?—не поднимая глаз, тихо сказала она.

Батурину отвели ночлег вместе с конвойными отдельно от прочих арестантов.

Около штофа вина, поставленного Дарьей Антоновной, хлопотал и разглагольствовал веселый унтер. Батурин хмуро молчал.

— Ты что же, друг? Али доля еще не горька кажется?

Батурин отодвинул от себя стакан.

— Не буду,—сказал он твердо.

— Не будешь, нам больше останется. Пей, ребята, хозяйка придет, другой поставит.

Но хозяйка не приходила долго. Уже и штоф давно был выпит, уже растянувшись под лавкой, хра-

ли конвойные. Дремал, сидя за столом, говорливый
нтер.

Под окном заскрипели на снегу шаги. В замерзшее
кло часто и дробно застучали. Унтер встрепенулся,
отирая кулаками глаза и потягиваясь, пошел открывать.
Накинутый на голову полушалок закрывал почти все
до Дарьи Антоновны, только глаза, черные и боль-
ие, блестели беспокойно и горячо. На щеках играл
ий,—не от мороза,—румянец.

– Не спишь, Михаил Иванович,—спросила она зады-
ясь и скоро.—Мне сказать тебе кое-что надо. Чай
ренька не запретит.

В углу глухо звякнули кандалы. Батурин медленно
нялся с лавки.

– Господин взводный,—выкрикнул он, вытягиваясь
форме перед унтером.—Разрешите ночевать с това-
щами. Как по закону полагается.

И подступая почти вплотную, прохрипел:

– Уведи, тебе говорю, уведи. Не-то здесь беда
ет.

Подвыпивший унтер попятился в испуге. Дарья Анто-
вна бросилась к Батурину.

– Михаил Иванович, аль рехнулся!.. Тут хлопочешь,
раешься. Легко, думаешь, было устроить?..

У Батурина потемнело лицо, глаза налились кровью.
кло звякнули, коротким обрывающимся звуком, кан-
ы. Дарья Антоновна проворно отскочила.

Из угла с улыбкой презрительной и насмешливой,
ачивая головой, проговорила:

– Жисть правильную загадал. Со мной, говоришь
в Сибири не пропадешь. А характер-то куда денешь.
таким-то характером жизнь правильную как раз сде-
ешь. Эх, Михаил Иванович, заела тебя гордость, от
й и погибнешь.

Еще через два перехода, когда партия пристала на ночлег в большом проезжем селе, Дарью Антоновну видели пьющею чай на станции с каким-то усатым офицером.

На утро, когда арестанты уже строились в ряды, замызганный лакей пришел взять из саней ее укладку и узлы. Дальше она уже не следовала за партией.

VII.

Месяца проходили, как однообразные версты сливающегося с белыми полями тракта. Снег жестко хрустел под ногами, и кандальный звон, как притомившаяся птица, только взлетал над дорогой и тотчас же падал и глох.

Потом в деревнях, которыми проходили, белая пелена, укутавшая избы, стала сквозить и расползаться, снег в городах был буро-коричневый, тяжелый и липкий, как мокрая соль. Тракт пожелтел и размяк, темными пятнами проступили на нем кучи смерзшегося навоза, колеи наполнялись ржавою жижой. На полях, как небритая и редкая щетина, показались из-под снега сухие прошлогодние стебли. А воздух делался все легче и тоньше, звуки легко поднимались от земли, мягко и просторно расходились под голубым необъятным куполом. В апреле дороги стали совсем черными, только словно просыпанная проступала на них желтизна непросохшей глины и щебня. В мае партия подходила к Омску.

До острога, до рудников дошли не все. В каком-то уездном городишке, которого и названия не запомнишь, оставили красивую старообрядку, мольчальницу словно по обету. В одну ночь, промаявшись животом, сгиб на привале в поле веселый сапожник-кандальник. Старика

...тившего о весеннем севе, сдали умирающим в город-...ой острог. Пятерых питерских мастеровых и плакси-...ю девку похоронили в дороге. И еще многие не до-...ли до рудников.

Чем ближе подходила партия к ним, конечному пункту ...оего странствования, тем все чаще и чаще порхали ...воздухе ленивые белые мухи, на дороге по смерзшимся ...леям наростала пушистая снеговая плесень.

Но вот дошли. Забор из плотно натыканных за-...стренных в вершинах кольев, как отбитая челюсть, ...ессильно щерился на запушенное вьюгою небо. Звякали ...асовы, перекликались часовые и конвойные,—партия ...о команде остановилась и ждала,—потом опять команда, ...опять ноющее кандальное пенье, запахнулись ворота, ...этап в триста тридцать один день был окончен.

Батурин попал на работу на четвертые сутки. В паре ...ним работал сухощавый кавказец с таким тонким ...гибким телом, будто у него там были не кости, ...ивовые прутья. Кавказец плохо говорил по русски. ...ва года назад его в первый раз взяли в плен. Он бе-...жал. Через три месяца с перебитой пулей ногой попался ...нова. Тогда его сослали на каторгу. Кавказца звали ...линно и трудно, каторжники оставили ему в кличку ...олько самое начало его имени: Багир. Лицо у Багира ...ыло желтое, словно в кожу втерли жидкую охру, кото-...рой красят полы, щеки впали, и когда он кашлял,— ...кашлял он постоянно,—они надувались и втягивались, ...ак зоб у лягушки. По вечерам, когда каторжников при-...гоняли с работы в казарму, он молча ложился всегда ...рядом с Батуриным. Часами лежал с раскрытыми гла-...зами неподвижный, как мертвый.

— Багир, спишь?—окликивал его осторожно Батурин.

Ответ был всегда один и тот же, глухим бурлящим ...шопотом.

— Нэт, нэт, Михал. Мнэ спать нэ надо. Я так видэл, что думал.

Морозы крепчали. Шурфовые ямы выжигали теперь кострами. Колючий ледяной ветер дул словно с двух сторон сразу. Каторжники работали, хотя и в старых и дырявых, но в полушубках и валенках. Конвойные солдаты мерзли в холодных сапогах и легких шинелях. О добрых отношениях, существовавших во время этапа между стражей и арестантами, не было и помину.

Как-то раз, когда команда, возвратившись с работы, гудела перед сном в сумерках разговорами, разнесся неизвестно как попавший сюда слух. Старший унтер-офицер гарнизонной команды, проделавший вместе с партией весь переход от Петербурга до Нерчинска, Илья Потапов, вдруг ни с того ни с сего, проходя в свой отпускной день по городу, перебежал с мостков на улицу и на глазах у прохожих заколол какую-то женщину. Женщина эта, говорили, была местной мещанкой, торговкой, имела деньги, но грабежа тут никакого не было, да и какой мог быть грабеж на глазах, по крайней мере, десятка прохожих. И сам Потапов на допросе показал под присягой, что этой женщины он никогда не знал и не видел, а на все вопросы почему и зачем он убил, неизменно твердил одно и то же:—«так что помутнение нашло. И женщины знать не знаю и зла про нее никакого не имею». Так ничего от него и не добились. Приговорен он был к плетям и каторжным работам бессрочно.

Казарма оживилась, заволновалась:

— С чего бы это он?

Но волнению и разговорам суждено было скоро оборваться. В ту же ночь умер Багир. Умирал он жалостно, и эта смерть заслонила собой и непонятное бессмысленное убийство, и каторжные мутные будни, и страшную

по-особому судьбу. В закопченный, с обледенелыми стенами сарай вошла унылая и щемящая тоска. Словно призвал ее на миг, умирая, Багир, не отходила она от сердца.

Занеможилось ему еще днем, на работе. Вывозя на отвалы вместе с Батуриным мерзлые комья земли, Багир споткнулся, упал, залился судорожно лающим кашлем. Кровь, как лохмотья трухлявого мокрого шелка, летела с губ на снег, на мерзлую корявую глину.

— Багирка, чего ты?.. Надорвался. Присядь, посиди, оно отойдет.

Михаил Иванович под мышки поднял его с земли, посадил на груженую тачку, снегом попробовали растереть ему лоб. Кашель не проходил.

— Расселись, на третьей тачке уж выдохлись.

К ним, перебросив из руки в руку ружье, подходил часовой.

На один миг сверкнули глаза у Батурина, погасли сейчас же, он ничего не сказал и только, поплевав на ладони, снова взялся за тачку.

— Багирка, ты не трудись, так для виду только, шагай наперед,—мягко выговорил он и, напрягая плечи, рванул вперед тачку.

К вечеру у Багира уже закатывались глаза. Пожелтевшие белки тускнели меж не закрывавшихся век. Вся бригада столпилась около него. Кто-то сказал соболезнующе:

— Багирка, дать может тебе чего? Легче будет.

Батурин оборвал сурово:

— Чего дашь-то!.. Дай хоть умереть спокойно. Видишь, отходит.

К ночи Багир заговорил. В перерывах между кашлем, задыхаясь и с трудом ворочая языком, он говорил о каких-то никому не понятных вещах, мешал слова

своего языка с русским. Поняли только одно: просил Багир каких-то ягод, рассказывал, какие они красивые и большие, и одни из них словно налиты мутным и сладким вином, другие темным, как кровь, и к ним, как к реке, пристал вечерний туман. Он упрашивал дать их ему. Просил руками, глазами, просил так жалобно, что у многих навертывались слезы. Глинянный черепок с налитым в него салом чадил, освещая только небольшой круг возле себя. Люди стояли с сумрачными скорбными лицами. Вдруг Батурин, покривившись так, словно он собирался заплакать, проговорил взволнованным шопотом:

— Виноград. Это он про виноград рассказывает,— фрукт такой есть, господа кушают. Его оттуда с Кавказа и привозят. Захотелось родину вспомнить.

И вздохнул тяжело.

В толпе ответили тоже вздохом. Кто-то отвернулся и тихо отошел в сторону. В тишине стонал и метался Багир, бредя о зажженных солнцем виноградниках, о небе золотистом, как парча, и голубом как атлас. Ночью он умер.

А через неделю его место на нарах рядом с Батуриным занял новый жилец, бывший старший унтер-офицер гарнизонной команды, прошедший с ними вместе весь этап, Илья Потапов.

Батурин встретил его недружелюбно и подозрительно, только и спросил с усмешкой:

— Что на ноги скоро поднялся? Ай драли только для вида?

Потапов ответил быстро и весело:

— Должно, что так. Я счастливый. Меня и в армии сам царь разжаловал. Да только лычки содрать забыл. Дошел с удобством. А сейчас, вишь, палачу какому пригодился, из ваших же,—помнишь, в партии с нами шел конокрад, такой низенький? Ну вот, значит, по прошлой

нять и помилосердствовал. А ты что-ж,—от своей бабы беды не забыл, что-ли, что на людей так супишься?

Батурин смолчал.

Ночью они разговорились. В темноте, не видя лица соседа, будто с собой говорил Батурин, и слова у него выходили не такие насмешливые и обрывистые, как утром. Потапов слушал молча, не прерывая, и только когда тот смолк, поспешно, словно боясь упустить время, заговорил:

— Вот и я так-то. Да как же—ты сам посуди: на нас и валенки, и полушубок казенный, а стоим-то на морозе одинаково—что вы, что мы. Опять, возьми арестантский паек и солдатский. Да вы еще на вольную работу ходите, какую копейку себе иной раз зашибете. А у нас, как с караула пришел,—сам служил, чай, знаешь,—тут и одним глазом соснуть у тебя времени не хватит. Словом, по всем статьям выходит—жизнь арестантская выше стоит. Ну, и решился,—как это меня осенило, я уж и сказать тебе не сумею. Месяц думал—все боязно. Только вот иду себе, думаю, пропадать один раз, а жить-то не неделю. Перекрестился, да и пырнул ножом какую-то бабу. Вот, по моему и вышло: вишь, царский гнев ни к чему. А они уж там бились, бились и так, и эдак—отчего, да почему, все им дознаться хочется, от чего это я бабу прирезал, не было ли чего между нами. А я как перед крестом, ничего, дескать, не было, в первый раз ее и увидел. Так и не дознались. Только чудно мне что-то. Ужели понять трудно, что человеку и на каторгу попасть может хотеться.

Рядом с ним в темноте раздался тяжкий вздох. Потапов смолк, ожидая, что скажет сосед. Не дождавшись, заговорил опять, участливо и мягко:

— А это ты, друг, брось. Это и весной прибыли не составит, а сейчас и вовсе в тайгу идти не годится.

Человек человеку—зверь. Этого, брат, забывать не надо. В варнаках хоть и на свободе будешь, а все равно от людей не уйдешь. Без этого никак невозможно, вот то-то и оно.

И опять Батурин ничего не ответил. Прошла по крайней мере минута, когда он тихо, вместе со вздохом сказал:

— Эх, хоть бы письмишко сюда получить можно было, я и о варнаках не задумывался.

VIII.

Харьковского, белого, уланского полка отставной штабс-ротмистр Нигорин, Никодим Васильевич, появился в столице зимой прошлого 1835 года.

Человек он был рослый, видный; густые брови, морща складками лоб, сходились внушительно и грозно. Голос, испитой до самой гущи, гремел независимо и басисто. Но в волосах густых и черных, как смоль, в лихих усах уже завязывалась прочно седина, дряблые морщины бежали по несвежему лицу, часто моргали глаза, и видно было, что человек свое пожил. Вся движимость у него, как приехал, заключалась только в старом черешневом чубуке, изрядно поношенной венгерке, да крепостном человеке Фивке, то-есть Феофилакте. Почему при таком состоянии он решил доживать свои годы в Петербурге. было решительно непонятно; но людей, с которым он свел здесь знакомство, повидимому, это обстоятельство никак не удивляло, и задумываться над тем, откуда черпает средства для своего существования отставной ротмистр Нигорин, и в голову, повидимому, не приходило. А знакомство он свел здесь со многими. Через год его знали по всему Петербургу.

Дом Никодима Васильевича был открыт для всех. Представлен ли ты или не представлен, зван или не

дни, но в любой час дня и ночи там можно было найти веселую компанию, карты, вино, и многое еще такое, ничем не ленились приезжать сюда даже с островов. Гостеприимный хозяин неизменно, в каком бы виде и состоянии его не застали, гремел своим испитым басом:

— Милости прошу. Для веселья и вина готов остаться и без сна.

Евгений Петрович Самсонов обо всем этом только слышал. Незабываемый отныне для него праздник в доме Львовых повлек за собой шесть долгих, полных обременительной суеты месяцев жениховства, медовый затянулся больше, чем на полгода. В полку подсмеивались над влюбленным супругом, щебетаньем Надежды Федоровны заполнялись дни, ночи копились и росли, как тучи в сухой летний полдень. В напряженной тишине спальни вещи становились зоркими, настораживались и слушали. Сквозь занавес узкой полоской проблескивавшаяся синева говорила о наступивших сумерках другого мира.

Так было до декабря. В декабре неожиданно свалился от простуды старик Львов. Болезнь оказалась серьезной. Врачи предупредили домашних о возможности печального исхода. Надежда Федоровна почти не бывала дома, дежуря около больного отца по целым суткам. И для Евгения Петровича настали беспокойные и тоскливые дни.

Декабрьский вечер тянулся невыносимо долго. В вилочей лампе выгорело все масло, и она начинала чадить. Евгений Петрович приказал подать свечу.

— А дальше что?—уже не в первый раз с тоской спрашивал он себя.

Из зеркала отвечала ему кривая и раздраженная усмешка. Было как-то неловко даже мысленно раздражаться на больного тестя.

Чуть ли не с первых дней своей женитьбы, Евгений Петрович поймал себя на том, что он ловит каждое неудачное слово, каждый неловкий жест жены, старательно скапливает их в памяти. Право, данное церковью, законом, родителями, мнением других, позволяло, не терзаясь самолюбивой подозрительностью, мстить за каждое свое раздражение или неудовольствие. Потом это стало неотвратимо, как привычка. Дневника он не писал уже давно. Служба, еще и раньше потерявшая всякую привлекательность, опостылела окончательно. Для спокойствия, для возвращения утраченного душевного равновесия, казалось, нужно было только одно: увериться, что не влюблен, почувствовать себя свободным от этой, впервые так охватившей его страсти. Этой-то уверенности как раз не было.

Евгений Петрович еще ближе подошел к зеркалу. Заколебавшееся пламя двух свечей, как свободно свисавшая ткань, тронуло тени. Из зеркала на Евгения Петровича смотрело незнакомое с лихорадочно блестевшими глазами лицо.

— Тесть умирает,—он покривился, поправляя воротник мундира.—Будут упреки в невнимании, в нелюбви, если меня не найдут дома. Но ей дороже отец, значит, я имею шансы на выигрыш.

Он улыбнулся, открыл бумажник, бегло отсчитал и выбросил на стол пачку ассигнаций, высыпал из кошелька пригоршню золотых, минуту подумал, собрал их обратно и, позванивая шпорами, быстро вышел из комнаты.

— Если пришлют от барыни, скажи, я уехал по службе,— бросил лакею, стоя уже в шинели, и, пряча лицо по самые уши в воротник, вышел на улицу.

За углом взял извощичьи сани. От самодовольной улыбки мех воротника делался нежнее и теплее. Лоб как

иголками покалывало морозом. От зрелища синего, в ярких звездах неба, сани, казалось, тряслись и подпрыгивали на одном месте.

У Нигорина, когда появился Евгений Петрович, игра только начиналась. В облаках табачного дыма, низко плававшего над столом, Самсонов с трудом различил два—три знакомых лица. В нерешительности он остановился на пороге. Хозяин в растегнутой венгерке, под которой была несвежая сорочка, вскочил из-за стола.

— Рекомендую, господа, новый, можно сказать, сотрудник. Долго крепился. Как-с? Бессонов? Виноват, Самсонов. Рекомендую, господа, — Самсонов, Евгений Петрович.

Человек шесть или семь кавалеристов сидели вокруг большого стола, не играя. Белокурый лейб-гусар под веселый смех и шутливые замечания слушателей рассказывал какую-то историю. За другим столом немолодой чиновник, напоминавший собой нечищенный медный подсвечник, держал банк. Понтировало несколько человек, военных и штатских. Но, видно, это была игра еще не настоящая. Три других приготовленных карточных стола пустовали. Хозяин поминутно отрывался от карточного стола, чтобы спросить:

— Ну, как господа, хватает?

Быстро хватал бутылку и, приговаривая: «Ну вот, и смоленую головку чикнули», необычайно ловко откупоривал ее. Откупорив бутылку, он не забывал каждый раз опрокинуть в себя большой стакан прежде, чем вернуться к карточному столу. Евгений Петрович от нечего делать стал прислушиваться к тому, что рассказывал белокурый гусар.

— ...Любовь эта, должен сказать, совершенно исключительная. Выдав ее замуж, и даже наградив приличным приданым, за своего же троюродного брата, тоже

Сапегу, так что княгиня Пелагея ни титула, ни фамилии не потеряла...

— Добряк. Жену—дяде, а сам сыт и портретом.

— Подождите, подождите,—поднимая руку, воскликнул белокурый гусар.—Это только вступление. Смешное дальше.

— Ну, ну, рассказывай. Пока что занятного мало,—лениво отозвался сутулый и маленький гусар в расстегнутом даламане.

— Черные глаза его горели пронзительно и зло, и Евгению Петровичу показалось, что он уже не первый раз испытывает неприятное чувство от этого взгляда.

— Ну, Маешка, на тебя не угодишь. Только что сам насочинил, то и интересно,—замахали на него руками товарищи.—Дай Браницкому досказать.

— Я и даю, — хотя и не Барятинский, — не меняя позы, лениво процедил Маешка.

— Так слушайте же,—воскликнул Браницкий.—Или я перестану рассказывать.

— Просим,—просим,—раздались голоса.

Опять к столу подскочил проворный хозяин.

— Хватает.

Пробка с шумом выскочила из бутылки.

Браницкий продолжал:

— Через год этот чудак заболел, у него отсохла рука, и он помер...

Маленький гусар, которого называли Маешкой, едва улыбнулся.

— Как это, Тизенгаузен, тебя господь милует? Давно бы пора у тебя языку что ли отсохнуть,—проговорил он, лениво отводя глаза в сторону.

Взрыв хохота подхватил эти слова. Беленький, с девичьим румянцем на щеках, кирасир, нисколько не

мущаясь устремленных к нему со всех сторон взглядов, програсировал:

— Ты, Лермонтов, мне еще со школы все мрачное пророчишь. Завидуешь, должно быть, старина. Так что ли?

Играя глазами, как женщина, он осмотрел Лермонтова с головы до ног.

— Каков гусь, а? — в пьяном восторге закричал какой-то лейб-драгун, лицом похожий на Лермонтова.

— Не гусь, а гусыня, да и та нестись перестала,— лениво поправил его Лермонтов и, поднявшись со стула, перешел к карточному столу.

— А вы, поручик, играть не изволите? — небрежно бросил в сторону Самсонова.

— В таком случае я не имел бы чести вас здесь встретить,— непонятно почему раздражаясь, ответил Евгений Петрович.

— Не слишком это лестно для хозяина. Однако, пожалуйте, если решились.

Самсонов промолчал.

За вторым столом метать банк сел сам хозяин. Евгений Петрович, стараясь не замечать насмешливого и пристального взгляда, с которым смотрел на него Лермонтов, подошел к столу. Рука у него слегка дрожала, когда он распечатывал колоду. Лермонтов, рядом с ним, небрежно развалясь на стуле, покрыл свою карту пачкой ассигнаций. Самсонов поставил сто. Хозяин, прищурив левый глаз, подсчитал и аккуратно записал мелом ставки.

— Бокал вина, поручик,— не глядя на Самсонова, сказал Лермонтов и, не поднимаясь с места, потянулся за бутылкой.

У Самсонова напряженно дрогнул угол рта.

— Не могу принять, не имею возможности ответить тем же.

— Помилуйте, от чего же. Дайте только золотой вон тому неказистому малому, и он вмиг вам подаст.

Евгений Петрович промолчал и на этот раз. Он знаком подозвал к себе необычайно грязного и оборванного лакея, выбросил на стол два золотых и молча пальцем показал на бутылку.

Нигорин метал сосредоточенно и серьезно, не слыша и не замечая происходившего около. Окончив прокидку, поднимал брови и, тараща глаза, осматривал поле сражения. Семерка Самсонова выиграла.

— Вам-с двести, — рассчитанным жестом придвинул ему деньги Нигорин.

Евгений Петрович рассеянно и не глядя взял их со стола.

— От вашей рассеянности, поручик, страдают ваши партнеры,—раздался над его ухом насмешливый голос.

Он вздрогнул. Задыхаясь и не справляясь с голосом, выкрикнул:

— Что вы хотите сказать?

Гусарский корнет смотрел теперь не только насмешливо, но и дерзко.

— Не больше того, что сказал. Извините, но вы загребли к себе и мои деньги.

Самсонов почувствовал, как у него на голове от ужаса поднимаются волосы. Кровь широкой волной ударила в лицо. Он готов был ударить этого наглого корнета. Другие игроки смотрели на него с оскорбительной улыбкой. Он даже не мог себе представить, как это случилось. В руках он держал четыре сторублевых бумажки.

Попробовал выдавить на лице улыбку:

— Надеюсь, вы не подумали, что это намеренно. Ради бога, простите.

— О, конечно, нет.

Лермонтов уже не смотрел на Самсонова, видимо, потеряв к нему всякий интерес.

— Маешка, ты чего нынче бесишься? Тебе же не везет.

— Тебе-то что?

— За тебя радуюсь.

— Чему?

— Должно быть в другом месте повезло. Может у молодого супруга уже рога растут.

И улан грубо захохотал.

Евгений Петрович вдруг почувствовал, что у него похолодели кончики пальцев. Сердце словно на секунду кто-то зажал в кулаке, потом отпустил, и оно забилось прерывисто и часто. Ему казалось, что на него смотрят все, все улыбаются насмешливо и торжествующе. Он нервным жестом вытряхнул из кошелька на карту все бывшие в нем золотые, бросил зажатые в руке бумажки. Нигорин покосился многозначительно.

— Все равно, я должен проиграть,—подумал Самсонов в каком-то странном возбуждении.

Нигорин начал метать новую талию. Бубновый туз лег направо. Тоскливое отчаяние, с каким он начал игру, сменилось у Евгения Петровича тревожным волнением. Деньги были его. Он удвоил ставку.

— Играет горячо,—услышал он за спиной чей-то каменный голос.

Через три часа перед ним лежала на столе груда выигранного золота и бумажек. Стараясь подавить непроходившее волнение, он пил и пил бокал за бокалом. В голове стучали громкие молоточки. Комната разделилась на две части. В одной, уже покрашенной проползшей сквозь занавесы глубизной рассвета, стояла немая тишина. В другой шумели гусары, водружая над медным окоренком на скрещенных саблях целую голову сахара. Густым и тяжким вздохом вступила гитара.

Разодеты как швейцары,
Царскосельские гусары

затянул у стола «Журавель».

В углу подхватило сразу несколько голосов:

Жура, жура, журавель,
Журавушка молодой.

Окончивший игру хозяин, жестикулируя, приглашал к столу.

Все тот же нечесанный лакей и еще двое, таких же малоопрятных, парня, вкатывали в комнату накрытый стол. Гусары гасили свечи. Голубое пламя над окоренком отодвинулось в глубину. Евгений Петрович, чувствуя, что ноги слушаются плохо, вместе со стулом придвинулся к столу.

— Моя подруга, — Долли Антоновна. Рекомендую— кто не знаком—опять широко разводя руки, провозгласил хозяин.

Высокая, полная женщина в платке и наряде, какие обычно носят зажиточные мещанки или купчихи победнее, непринужденно вошла в комнату.

— Что это все Долли, Долли,—надоело мне так,— лениво играя глазами, проговорила она.—Небось не при людях Дарьюшкой величаешь.

Она, как со старыми знакомыми, поздоровалась с гусарами. Те приветствовали ее рукоплесканием.

Чиновник, похожий на нечищенный подсвечник, сел рядом с Евгением Петровичем. Не дожидаясь никого, он потянулся к водочному графину.

— Пьете-с?—дико скосил он глаза и налил Евгению Петровичу рюмку.

Молоточки не переставали стучать в голове. Ушат со жженкой теперь уже водрузили на стол. Бледное колеблющее пламя искажало лица. Дарья Антоновна с улыбкой посмотрела на Самсонова.

— Что это я вас не знаю. В первый раз вы у нас что ли?

От улыбки, трепетавшей на влажных и ярких губах, кружилась голова.

— Да, в первый. А что?

— Спросить хочу, — кто вы. Я раньше всех преображенских офицеров по фамилии знала.

— Самсонов.

— Самсонов,—протянула она удивленно,—стало быть племянничек Исленьеву Николаю Александровичу будете. Как же, как же, — слыхала. Мне еще мой Михаил Иванович рассказывал.

— Какой Михаил Иванович? Батурин? Да вы что, его любовницей были? Позвольте, вы же в Сибирь с ним пошли.

Ощущение, которое испытывал Евгений Петрович, почему-то напомнило ему бабочку, зажатую в горсти. Все его тело было как бы две огромных, сложившихся одна с другой, ладони. Внутри трепетно и бессильно билось что-то, стараясь освободиться.

Дарья Антоновна повела черными, горячими глазами.

— Любовница ли, сестра ли родная—это наше с ним дело. Никому разбирать не приходится. А вот что вернулась, так это дорога больно дальней показалась.

Вдруг как-то в один короткий миг Самсонову стало ясным и ясным только теперь, что Дарья Антоновна красавица, красавица необыкновенная. От этого открытия противная слабость наполняла тело.

— Наденька тоже дальней дороги испугается,—робко шевельнулось в мозгу.

Через два от него прибора вертлявый верзила в красном кавалергардском мундире, жуя, убеждал кого-то:

— Нет, уж мне верить извольте. Я—Дантесу приятель. Этим летом, когда мы в Новой деревне стояли,

вся эта фарса и вышла. Уверенно говорил, что Наташа за ним бегала.

Звонкого, срывающегося голоса Лермонтова Самсонов не узнал.

— Трубецкой, я требую, чтоб ты прекратил эту грязную болтовню. Она задевает человека, ногтя которого ты весь не стоишь.

— Как?

Словно дернули сонетку, возвещая чье-то прибытие.

Все сразу и вдруг повскакали с мест. Стучали отодвигаемые и опрокидываемые стулья. Кричавшего и требовавшего чего-то Трубецкого держало за руки несколько человек. Сквозь шум и крики до Евгения Петровича донеслись отчетливо, словно резали их, одно за другим слова:

— Трубецкой, тебе я не равный противник. У тебя не хватает самого главного. Ума.

Спавший, уронив на стол голову, лейб-драгун проснулся, пьяными глазами повел кругом и, роняя опять голову, пробурчал:

— Это Костька Булгаков опять булгачит. Чорт с ними, обойдутся.

Вдруг его пьяный взгляд остановился на миг на Самсонове. Он сделал отчаянное усилие окончательно выпрямиться, рявкнул:

— Выпей, преображенец, и все пройдет.

Бокал пылавшего голубым пламенем рома был той последней каплей, которая добила Евгения Петровича. Дальше он ничего не помнил. Очнулся, когда хмурое, зимнее утро мохнатым сумраком уже заполнило комнату. Свесившаяся с дивана голова затекла, и в ней еще бродил хмель. Рядом на креслах, на стульях, на полу спали в самых неудобных позах вчерашние кутилы. На столе среди тарелок, стаканов и бутылок, свернувшись кала-

ником, лежала какая-то худенькая девушка, почти ребенок. Прижавшись к ее лицу щекой, храпел сидя на стуле тот самый лейб-драгун, который споил его. Самсонов, протирая глаза, осмотрелся кругом. В самом дальнем от него углу слышался осторожный шопот. Дарья Антоновна сидела на кресле склонившись. На полу у ее ног в растегнутом доломане сидел Лермонтов. Голова его лежала у нее на коленях, она с нежностью и тихо время от времени проводила по черным кудрям рукой и говорила:

— Вот как это ты давеча сказал. Одних за то не любишь, что дают, а других за то, что не дают. Эх, Юрьевич, гордость все это проклятая, мужиковская гордость, самолюбствование. Как бы меня не обидели. Да сам-то ты— весь свет заберешь, что-ли? Ну за что любить-то тебя, ты сам подумай. Вот она и не любит. Эх, не будет тебе, милый, счастья, никогда не будет.

Евгений Петрович тихонько поднялся с дивана, попатываясь прошел в прихожую, отыскал свою шинель. На улице был уже день. Если не вся, то в какой-то своей части проснулась столица. Тянулись на биржу извозчики, чухонки с Охты несли молоко, по морозу в бег бежали с огромными корзинами мальчишки-булочники.

У Нигорина в доме в боковой комнате горела одинокая свечка. Сам Никодим Васильевич в растегнутой рубашке старательно выводил на четвертушке писчей бумаги:

«Его превосходительству начальнику штаба его сиятельства шефа жандармов генерал-майору Леонтию Васильевичу Дубельту.

От отставного штабс-ротмистра Нигорина доношение.

Лейб-гусарского полка корнет Лермонтов, быв в доме моем...»

IX.

Неделю спустя после похорон тестя Евгений Петрович имел разговор со старшим шурином.

— Я тоже, друг мой, думаю, что тебе не следует искать карьеры в строевой службе,—говорил Львов. На корпус жандармов привыкли смотреть, как на что-то мало достойное благородного человека. Я девять лет числюсь в нем. И что же, скажи мне по совести, я от того проигрываю хоть сколько-нибудь в глазах любого верного подданного государя? Всякая служба на пользу отечеству достойна уважения. Теперь я могу сказать, что мы не раз с покойным батюшкой говорили о тебе. Он даже просил графа Бенкендорфа иметь тебя в виду, если в нашем управлении откроется вакансия.

Самсонов ответил обстоятельно, с тем сдержанным волнением, которое всегда заставляет думать, что человек говорит это не только в порыве чувства.

— Ты, как нельзя лучше, разгадал мои помыслы. Я не сумею даже высказать тебе, дорогой Алексей, как я благодарен тебе и покойному батюшке за ваши заботы. А что касается светского предрассудка, то поверь, жандармский мундир не переделает моей души.

Через неделю состоялся приказ, которым «лейб-гвардии преображенского полка, поручик Самсонов» назначался личным адъютантом шефа отдельного корпуса жандармов и командующего императорской главной квартирой. Новая служба оказалась не более обременительной, чем его штабное ничегонеделанье.

Ежедневно по утрам в дом третьего отделения у Цепного моста съезжались приближенные к графу чины управления. В так называемом «малом кабинете» он имел с ними обыкновенно беседу перед отправлением на

клад к государю. Все самое сокровенное, все наиболее тщательно скрываемое от постороннего взгляда, вся жизнь столицы открывалась в этих беседах. Как будто из большой корзины в веселом беспорядке вытряхивались здесь на ковер происшествия миновавшего дня и ночи. Их можно было рассматривать, вертеть в руках, вглядываться в самую глубину. После такой беседы, длившейся иногда час, а иногда и больше, по молчаливому знаку раскланивались собравшиеся со своим принципалом, и он ехал в дворец с докладом. Очень редко после этого случалось Евгению Петровичу провести в управлении какой-нибудь час или полтора за неожиданно представившимся письменным занятием, еще реже беспокоил его дома жандарм, с коротким:

— Пожалуйте к графу.

Времени для себя оставалось с избытком. Как-будто устроившаяся, наконец, освобожденная от тягостных размышлений последних месяцев его холостячества, жизнь шла равномерным и полным течением. Надежда Федоровна по случаю траура не выезжала никуда. Счастливая уверенность раз достигнутого и уже ничем не нарушимого покоя переполняла сердце счастливого супруга.

Новый 1837 год Евгений Петрович заранее решил встречать дома, вдвоем с женой. Каждая мелочь, каждый пустяк этого скромного вечера были обдуманы со всей возможной тщательностью: не слишком суеверный человек вообще, в данном случае он всем сердцем желал и верил, что так, как он его встретит, так и пройдет весь этот большой и загадочный год.

И вдруг тридцатого декабря, т.-е. за день до встречи, им принесли в конвертах с орленной печатью именные приглашения на придворный бал-маскарад.

Евгений Петрович выронил из рук этот златообрезный кусочек картона с напечатанными на нем словами.

Казалось,—упал не он, упало и оборвалось что-то в сердце, оставив его без мыслей, без чувств. Он не был настолько наивен, чтобы приписывать своему новому положению это приглашение. У Львовых еще не кончился траур, об этом не могли не знать при дворе, но даже не затруднились подумать, стало быть, так велико нетерпение. Один момент было желание к кому-то бежать, просить совета, помощи, защиты.

А если не ехать? Если сказаться больным? У жены траур, она может отклонить приглашение...

Короткая зябкая дрожь пробежала по телу. Все это невозможно.

— Значит, вот сейчас на рубеже этих двух годов, одного счастливого и другого неизвестного и обещающего, разом сломить жизнь...

Надежда Федоровна с покорным вздохом приняла эту весть. Глаза ее сделались печальными и влажными, опуская к земле голову, она проговорила совсем тихо:

— А если не поехать... Нет, нет, бог знает, как это в будущем отзовется на нашей судьбе.

Евгений Петрович молчал. Она подняла голову, заглянула ему в лицо. Голубые, детски доверчивые глаза смотрели с такой верой, с такой любовью, что он подавил в себе вздох, припав долгим поцелуем к ее лбу, и тихо вышел из комнаты.

Во дворце на балу какое-то странное оцепенение сковало его. К нему подходили маски, пытались интриговать. Он отвечал неловко и невпопад, от него отходили разочарованно или с обидным и ироническим замечанием. Надежда Федоровна в полумаске в домино упорхнула захваченная вихрем кружащихся пар, так, как будто она улетела совсем из его жизни.

Дежурный флигель-адъютант, князь Долгорукий, подошел к нему с участливой улыбкой.

— Что с вами? Вы нездоровы?

И не дожидаясь ответа, заговорил с непритворным сочувствием:

— Что поделаешь, такова уж судьба всех вас, мужей хорошеньких женщин. Право, вы должны завидовать нам, холостякам. Я понимаю, как это невыносимо, преодолевая себя, торчать на балу до тех пор, пока ваш маленький деспот не вздумает, наконец, отпустить вас на отдых.

Очевидно, он заметил, какой неприязнью сверкнул взгляд Самсонова, потому что сейчас же, расплываясь в обворожительную улыбку, поспешил проговорить совершенно конфиденциальным тоном:

— Государь заметил ваш удрученный вид, но он решительно не хочет отпускать так рано Надежду Федоровну. Он даже сказал мне, что она и Булгакова — украшение сегодняшнего вечера. Послушайте, не мучьте себя, позвольте мне доставить вашу супругу с бала. Я это почту самой приятной обязанностью.

Даже и полуторанедельных бесед по утрам у Бенкендорфа было достаточно, чтобы понять, что это приказание.

Серый зыбкий туман сдвинувшись вскрыл блестящий зал. Ступая так твердо, словно он был пьян и боялся, что это заметят, спустился Евгений Петрович с лестницы. Улица с легким покалывающим морозом, с яркими, словно их подновили, звездами, с кострами, вокруг которых дремали кучера и жандармы, не отстранила, не облегчила тяжести гнетущих мыслей.

Только издали видел он сегодня государя. Знакомая высокая фигура, при одном виде которой еще с детских лет замирало сердце, не уходила из глаз, как самое ненавистное и мучительное видение.

— Сегодня через час, через два, когда будет принадлежать Наденька...

Он стиснул зубы так, что заломило в висках. От бессильной досады хотелось плакать. Самому себе он казался ничтожным, жалким, обиженным, как ребенок.

— Соперник, — горькой иронией вырвалось вслух у Евгения Петровича.

Две каких-то девушки в низко повязанных платках с разбега налетели на него.

— Как вас зовут?

Он растерялся, ответил честно:

— Евгений.

Они смеясь метнулись в темноту соседнего переулка.

Рядом на паперти звонко застучали в доску. Глухой, словно изнемогающий звон адмиралтейских курантов упал вслед за этим в морозный воздух. И раньше, чем растаял этот звон, глухим, лопающимся звуком ахнула в крепости пушка.

Новый год наступил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Корнета Лермонтова полковые приказы «полагали больным на дому» чаще других.

В лейб-гусарском полку вообще такие «больные» никогда не переводились. Покидая Царское для кутежей или балов в столице, нужно было оставить какое-то основание своему отсутствию,—обычай и время узаконили «болезнь на дому».

Но Лермонтов хворал и не всегда только по обычаю. Иногда, подав рапорт, он по нескольку дней не выходил из дому, больной или здоровый,—не покидал постели. Его сожитель, однополчанин, друг и кузен, Монго-Столыпин, терял терпение от невозмутимого равнодушия, с какое погружался тогда неугомонный Маешка. Никакими амурными приключениями, никакой пирушкой, никаким балом и обществом соблазнить его было невозможно. Бабушка, встревоженная долгим отсутствием своего любимца, присылала кого-нибудь со специальным поручением привезти Мишеля в Петербург. Он лениво и неохотно подчинялся, но и на Мойке шторы в его комнате оставались полуспущенными. Редко—читая, чаще—без книги—он проводил часы, лежа на диване в каком-то молчаливом оцепенении. Кругом тогда все ходили на цыпочках, боялись потревожить Михаила Юрьевича лишний раз вопросом, что он желает к обеду, докладом, кто его спрашивал.

Только одна Елизавета Алексеевна решалась порой осторожно заглянуть в его комнату. Мишель чутко поворачивал тотчас же голову к двери, почтительно нежным взглядом встречал ее взгляд, но и в этом взгляде она читала только нетерпение—когда же наконец оставят меня в покое. Она тихо прикрывала дверь, сокрушенно покачивая головой, отходила прочь.

Не меньше Елизаветы Алексеевны страдал и тревожился этим состоянием своего кумира и Раевский.

Его присутствие в комнате Мишель еще кое-как выносил, но на все попытки заговорить, спросить о чем бы то ни было ответом только была нетерпеливая гримаска. Мишель морщился, со страдальческим видом ждал, пока Раевский кончит,—и тот смолкал.

На столике, рядом с диваном, лежала записная книжка. Иногда Лермонтов брал ее, с задумчивым и невидящим взглядом долго держал в руках, поглаживая карандашем усы, но обычно, так ничего и не написав, раздраженно отбрасывал ее прочь.

Как-то раз Святославу Александровичу попался на глаза клочек бумажки, исписанный в такие минуты. Его охватил ужас. С такой откровенностью, с таким жестоким самобичеванием не говорят о себе вероятно и на исповеди. Бумажка была брошена на пол, безо всякой видимо заботы, что ее могут поднять, прочесть.

После этого случая Раевский не решался даже войти в комнату, когда Мишель с утра оставался в кровати. Ему казалось, что этим он вторгается в самые заветные глубины его души.

Но однажды Раевский был поражен, услышав его нетерпеливый и капризный голос.

— Святослав, Святослав.

Лермонтов, разглаживая карандашем бровь, полулежал на диване. По лицу бродила странная потерянная

ыбка. На коленях на переплете закрытой книги лежал
очек исписанной бумаги.

— Прочти. Вот это.

Глазами показал, откуда надо читать. Это был черно-
ик письма:

«Должен вам признаться,—читал Раевский,—с ка-
ым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда
ичего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечта-
ями и ложными шагами на жизненном пути мне или
е представляется случая или не достает решимости.
Мне говорят, что случай когда нибудь выйдет, а реши-
ость приобретется временем и опытностью... А кто
орукой, что, когда все это будет, я сберегу в себе
оть частицу пламенной молодой души, которою бог
ирил меня весьма некстати, что моя воля не исто-
ится от ожидания, что, наконец, я не разочаруюсь
кончательно во всем том, что в жизни служит двигаю-
им стимулом».

Все время пока Раевский читал, Лермонтов не отво-
л от него внимательного наблюдающего взгляда.

— Ну?

Теперь Раевский растерянно и смятенно смотрел
а него.

— Но ведь, Мишель, ты...

И запнулся.

— Да, да я хотел только узнать, насколько есте-
ственной может выглядеть моя искренность,—поспешил
аговорить Лермонтов.

Раевский сконфуженно и неловко молчал.

Незадолго до того Лермонтов почти теми же самыми
ловами начал ему говорить о себе. По обыкновению
Раевский с воодушевлением подхватил, стал развивать
его мысль. Тогда тот вдруг непринужденно и весело
расхохотался.

— Я пошутил, Святослав, уверяю тебя, пошутил. Я своего добьюсь. А случай,—это к...

Январь 1837 года проходил расточительно и бурно. Больше месяца Лермонтов уже не брал в руки пера. В Царское, в полк, он съездил всего несколько раз и то только на дежурство. Но припадки меланхолии случались теперь все чаще и чаще. Дома он бывал раздраженным, нестерпимо придирчивым. Шан-Гирей, со стороны наблюдавший своего старшего кузена, как-то обмолвился Раевскому:

— Как будто Мишель чего то усиленно добивается, и это ему не удается. Но чего?

— Чего ему добиваться, Аким,— с задумчивой и грустной улыбкой проговорил Раевский.—Он принят везде и всюду даже лучше того, на что мог бы рассчитывать. Чего желал—он всего добился, и... вместе с тем ничего.

Между тем настроение Мишеля не изменялось. К концу месяца, подав очередной рапорт о болезни, он и вовсе перестал появляться где, либо.

Вечером 27 он лежал один в своей обычной позе с заложенными под голову руками, с неподвижно устремленным в одну точку взглядом. Свеча, оплывая, колебала на стенах огромные неуклюжие тени. Часы на письменном столе отчетливо тонким голоском пробили семь. Он зевнул, потянулся поднять упавшую на пол книжку французского журнала. Заложенный в нее разрезательный нож выпал, со звоном скатился за диван. Он лениво переглядел неразрезанные страницы в конце. Зевнул опять и отбросил прочь книжку. Вдруг в корридоре раздались поспешные и резкие шаги. Дверь без вопроса, без предупреждений, с шумом распахнулась. Раевский в бекеше, не сняв даже шляпы, ворвался в комнату.

— Ужасная весть. Пушкин убит. Сегодня. Его раненого привезли домой. Он умер.

Голос у Раевского словно спотыкался: одно слово прокидывало другое.

Лермонтов медленно приподнялся с подушек.

— Убит?—переспросил он глухим раздельным шепотом.

— Да, да убит. Каким то ничтожным бесславным французишкой, тем самым Дантесом, о котором говорил мне ты, о котором говорят...

Он вдруг остановился.

Лермонтов, выпрямившись, сидел на постели. С косых татарских скул слетел обычный румянец. Живые глаза на бледном лице сверкали горячим и беспокойным блеском.

— Вот так всегда в жизни, Святослав! А!.. Ты понимаешь. Арбенин у меня, чтоб погасить свои тревоги, отравляет Нину. А он себя. Под чей пистолет, Святослав! Ты подумай только. Убит, умер, не отомстив, не успокоив своей души. Это страшно, Святослав: в России, если только ты перерастешь воробьиные чувства и желания, тебе нет места. Нас стерегут, чтоб мы не выросли, жандармы, неверные жены, предательницы-любовницы, опекающий своим мнением свет, и пошляки, да, да и пошляки... да ты знаешь, что такое Дантес? Я назову тебе с десяток таких Дантесов. Ты их не знаешь, не видел, а я... помнишь цензурный отзыв на Маскарад? Помнишь? «Вызов костюмерованным в доме Энгельгардов», «Дерзости против дам высшего общества». Они ужаснулись, что их можно презирать... Я убежден, что уже сейчас по городу бегают ревнители Дантесовой чести, старательно пачкают гнусными сплетнями еще не остывший труп. О, Дантес еще будет героем. Поверь мне, его возведут в герои. Да, да, Святослав, мы в плену, нас учат чужим обычаям, нас заставляют подчиняться им, а если нет, если не так ты думаешь, то найдется

Дантес, чтобы призвать мятежника к порядку. А нам и воевать-то не с кем.

Он снова бессильно откинулся на подушки. На бледных щеках медленно разгорался румянец.

— Миша, как это верно, как это страшно,—умиленно и восторженно воскликнул Раевский.

Он подошел к дивану. Огромная тень задвигалась и сползла со стены.

Лермонтов молчал. Мимо Раевского, мимо свечи, в угол смотрел неподвижным и отсутствующим взглядом. Раевскому показалось, что времени уже некуда больше итти, и оно неподвижной давящей тишиной заполнило всю комнату.

Вдруг Лермонтов, как бы освобождаясь от какой-то неотступно-преследовавшей мысли, резко тряхнул головой, по лицу пробежала улыбка.

— О чем ты думал сейчас?—тихо спросил Раевский.

— Ах, да,—Лермонтов потянулся поднять с пола упавшую книжку.—Ты знаешь, что я сейчас здесь вычитал. Это замечательно. В Париже изобрели такие вещи, что теперь никакая венерическая болезнь не страшна уже более.

II.

29 января в 2 ч. 45 м. пополудни Пушкин умер.

На Мойку к дому Волконской стекались огромные толпы стремившихся поклониться праху поэта. Но по распоряжению высших властей доступ в квартиру был воспрещен. Два полицейских и жандармский офицер охраняли подъезд.

В субботу 30-го Бурнашев застал перед домом стечение публики во много раз большее, чем два дня тому назад. По городу ходили самые разноречивые и странные

дни. Говорили, что Пушкина приказано хоронить тайно, ночью, после закрытого отпевания. Многие из собравшихся здесь очевидно дежурили еще со вчерашнего дня. Казалось, толпа напряженно ждала чего-то, что хотели от нее скрыть, утаить.

Владимиру Петровичу все же удалось протискаться к подъезду.

Сегодня он заметил в толпе много жандармов с аксельбантами, какие тогда были присвоены лишь жандармам III-го отделения. В прошлый раз их здесь не было.

День был солнечный и морозный. На занавешенных изнутри окнах солнце играло пыльною позолотой, блестел на карнизах и крышах снег, пожаром горели жандармские каски. Сегодня, пробираясь через толпу, Владимир Петрович не слышал ни разговоров, ни замечаний.

У подъезда жандармский капитан, учтиво наклоняя голову, спросил:

— Вы куда-с?

Вчадимир Петрович растерялся.

— Я собственно поклониться... как русский человек, по обычаю... Я служу-с в военном министерстве, чиновник XII-го класса и вообще... уважаю литературу...

Жандарм сухо прервал:

— Не разрешается. Только самых близких к покойному лиц.

Бурнашев закраснел и неловко попятился.

Выходивший в этот момент из подъезда гвардейский артиллерист с адьютантским эксельбантом посмотрел на него с улыбкой.

— Бурнашев. Вы хотите пройти туда?

У Бурнашева мигом преобразилось лицо. Глаза заморгали угодливо и моляще. Он узнал в артиллеристе адьютанта военного министерства.

— Так точно, ваше сиятельство. Я с лучшими намерениями. Образ моих мыслей хорошо известен вашему сиятельству.

«Сиятельство» небрежно бросило жандарму:

— Пропустите. Я за него ручаюсь.

Какой-то высокий офицер в белом уланском кивере, выступив из толпы, загородил ему дорогу.

— И меня тоже. Меня тоже приказано пропустить,— услышал Владимир Петрович за своей спиной.

Потом на лестнице зазвенели шпоры, загромыхал стукаясь о ступеньки палаш. Владимир Петрович с недовольным лицом обернулся к поднимавшемуся по лестнице улану, но оно сейчас же расплылось в приветливую и любезную улыбку.

— Не с Владимиром ли Сергеевичем Глинкой имею честь?—осторожно осведомился он.

— Совершенно верно-с, ухмыльнулся улан.—Я, можно сказать, фуксом на вас-с сыграл, надул жандарма-то.

— И очень хорошо-с,—хихикнул Владимир Петрович.—По крайней мере Александру Сергеевичу последний долг отдадим. А вас я по журналам знаю-с. Некоторые из ваших стишков у меня даже списанными хранятся.

Глинка самодовольно покрутил усы.

В просторных сенях на вешалке не висело никакого платья. Дремавший на лавке жандармский унтер вытянулся перед Глинкою, принял от них шинели и молча показал на маленькую полуприоткрытую дверь.

Большая комната казалась неестественно просторной: очевидно из нее вынесли всю лишнюю мебель. Темные шторы были спущены. Красноватое мерцающее пламя нескольких десятков восковых свечей в церковных, обитых крепом подсвечниках тускло освещало стоявший против входной двери гроб. В комнате никого не было. Дьячек в черном с серебром стихаре словно по ухабам

лочил гнусавое бормотанье. И Глинка и Бурнашев
тупенно, не зная, что им делать дальше, остановились
зле дверей.

Гроб, обитый темно фиолетовым бархатом, наполо-
ину был закрыт парчевым, спускавшимся до самого
ола покровом. В изголовьи сквозь наброшенную кисею
мутно проступали очертания лица. Лакей в глубоком
трауре неслышно появился из за спины Бурнашева,
ва заметным поклоном пригласил их подойти ближе
гробу. Потом, перекрестившись, он осторожно отки-
ул кисею.

Смуглое восковой желтизны лицо покоилось на боль-
ой выпиравшей из гроба подушке. Бурнашеву сразу
росилось в глаза, что наволочка очевидно мала, за-
тежки сходились туго, из прорех пухло выпирала
олосатая сорочка. Глаза у покойного были плотно и
овно закрыты, чуть, чуть отверстый рот обнажал
рекрасные, ровные один как другой, зубы. Выражение
ичного спокойствия, какой-то нечеловеческой му-
рости, казалось, запечетлевала эта восковая маска.

Дьячек, вырываясь из своего бормотанья, выкликнул:
— Правду твою не скрыл в сердце твоем...

И опять запутался в гнусавых, одолевших его, как
он, звуках.

Бурнашеву стало не по себе, как будто его испугала
эта, вырвавшаяся из монотонного бормотанья, строчка.
Крестясь, он опустился на колени. Перед глазами мель-
кнули, запоминаясь навсегда, восковые с посиневшими
ногтями руки, выпадавший из них образ, лацкан темно-
коричневого поношенного сюртука.

Над головой Владимира Петровича кто-то быстрым
шепотом произносил слова,—ему показалось,—молитвы.
Поднимаясь с колен, он увидел напряженное лицо
Глинки, быстро шевелившиеся губы. Скорее по их

движению, чем по слуху, догадался он, что тот читает стихи, посмотрел на него с испугом и удивлением.

Лакей, открывавший им гроб, приблизился опять так же неслышно, проговорил шепотом:

— Просили-с,—он не сказал кто,—поспешить. Сейчас будет панихида для семейства и близких. Все уже собрались.

Глинка вздохом оборвал свое бормотанье, наклонился, поцеловал в руку покойного и круто повернул. Бурнашев ограничился глубоким поклоном, и перекрестившись еще раз, последовал за ним.

Когда они выходили, какой-то молодой человек в студенческой треуголке, окидывая их презрительным взглядом, процедил сквозь зубы:

— Даже чтоб поклониться мертвому Пушкину, нужна жандармская протекция.

Оба сделали вид, что не слышат.

Пробираясь в толпе, Владимир Петрович по обыкновению искательно поспешил закрепить новое знакомство.

— Чрезвычайно рад, Владимир Сергеевич—разливался он.—Очень, очень приятно, хотя можно сказать и при таких печальных обстоятельствах...

— А я действительно намереваюсь сделать вам приятное,—с улыбкой прервал его Глинка.—Вот здесь у меня,—он хлопнул себя по карману,—лежат поистине прелестные стихи и как раз к памяти, которую мы только что с вами почтили, относящиеся. Стихи не мои, не подумайте что хвастаюсь.

— А чьи же-с?

— Их, говорят, написал только вчера один лейб-гусар по фамилии Лермонтов, а сейчас они уже по всему городу в списках ходят. Хотите прочту.

— Как же, как же-с. Буду покорнейше просить вас, как о величайшем одолжении. Поэт как будто действи-

тельно обещающий. Поэмку его «Гаджи Абрек» в «Библиотеке для чтения» читал-с. Прекрасный поэт, многие даже называют его будущим преемником славы покойного Александра Сергеевича. Да только как же читать-то на морозе? Давайте, пройдем к Вольфу в кондитерскую,— тут два шага,—велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.

— Ловко ли будет,—нерешительно заметил Глинка,— читать их в публичном месте?

— А почему?

— Да, знаете ли, в них мысли несколько смелые высказываются. Стихи эти мне и получить удалось по большой доверительности.

У Бурнашева от этих слов даже глаза заблестели.

— Владимир Сергеевич, миленький, ради бога прочтите. Там ничего. Мы в уголке где нибудь устроимся. А я тот час же и спишу их. Прошу вас.

— Только, чур, условие: спишете ли вы их, наизусть ли заучите, но я тут должен остаться непричем,—мне самому их доверили под величайшим секретом.

— Да что вы, Владимир Сергеевич, за кого вы меня принимаете. Вы-то их сами откуда добыли?

— Совершенно случайно обнаружил у одного моего бывшего однополчанина, харьковского улана, Никадима Васильевича Нигорина, ну и попросил дать списать. А откуда он их добыл, бог его знает,—с неохотой объяснил Глинка.

III.

Эта ночь, как и предыдущие, прошла тяжелым ломающимся бредом.

Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Будто только от внезапного крика или от грохота рассыпавшегося

в двух шагах здания, исчезли на миг упрямые, неотступающие мысли. Было такое ощущение—вот он ходит по комнате, над ковром, всего на каких-нибудь поларшина, протянуты в беспорядке веревки и веревочки,—переступил одну, ноги уже задевают другую, не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная.

Рядом—спальня жены. Через полуприкрытую дверь в комнату проникает запах ее sachet. Этим запахом пахнет ее ночное белье, этот ее собственный незабываемый запах, мешается с запахами, присвоенными его половине: сухим—туалетной воды, горьковатым и вялым,—который оставляет только дыхание, ибо в спальне теперь он не курит. Эти два основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один от другого. Но помимо их есть и пришлые, непостоянные. Причудливо острый La reine Marie Louise парижского парфюмера Hou bi gant, тяжелый, дурманящий,—он скоро пропадет,—от душной ночной тишины.

Евгений Петрович порывисто подошел к туалетному столу, уксусом тер крепко и долго виски. Потом, плеснув из таза в ладонь воды, смочил лоб и волосы. Лицо горело. Ему показалось, что еслиб он был сейчас пьян, он закричал бы:

— Держите меня, друзья.

Тишину как бы накрыли мягким ковром. Ни один звук не прорывался в нее,—даже как дышит во сне Надежда Федоровна, не было слышно. Запах ее личной помады несокрушимо воскрешал в памяти первые ее пробуждения в этом доме. Запахом La reine Marie Louise благоухала лестница в Аничковом, когда они всходили на новогодний маскарад.

— Это было до... до...

Евгений Петрович не решался даже себе произнести, о чего это было.

Вся жизнь разделилась теперь на две неравных половины. Все, что случилось, все, что пережил до этой новогодней ночи, жило бессмертной, как тело, кровью, переполненной чувствами жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, тянулись, давя и сжимая сердце, мучительные, тяжкие мысли.

Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли и кто-либо из знавших его упрекнул в этом. Ни одним словом, ни одним намеком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Федоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотился и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят: оно выдержано там-то, говорят: «оно воспитано». Этот токай был польского воспитания свадебный подарок дяди Исленьева в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят: nisi in Polonia educata. Иначе не совершенно. Зеленая, как листва увядающего букета, влага тяжелой маслянистой струей наполняла рюмку. Вино было крепко, как ликер, но оно не отнимало головы. Мысли ясные и настойчивые, как пульс, пытали его мягким огнем. Надежда Федоровна вошла в столовую. Он поднялся из за стола. Вероятно так воспринимают окружающее глухонемые. Она улыбнулась, у ней шевельнулись губы,—безмолвие и тишина остались неизменными. Казалось, каждый предмет, любая вещь может рухнуть сейчас с оглушительным грохотом.

— С Новым годом, мой милый.

Губами он чувствовал только терпкую сладость токая и мягкие, расслабленно прильнувшие к его рту, губы.

— Ну что ж, хотя и с опозданием, но мы еще сумеем

высказать друг другу свои пожелания. Прости, я прикажу сейчас, чтоб подали шампанское.

Она улыбнулся вопрошающе. От этой улыбки она ответила:

— Не стоит. Налей мне этого вина.

Токай зеленой струей медленно, как масло, наполнил рюмку.

— Ах, я так устала, страшно устала...

Он ждал детских слез, смятенного униженного плача, слов покаяния, мольбы о прощении, в мыслях он уже видел ее кающейся, не смеющей даже коснуться его, жалкой и беспомощной, как жестоко обиженный ребенок.

Надежда Федоровна смотрела на него ясным и спокойным, только слегка утомленным взором. Губы у нее шевелились едва, едва, как будто ей трудно было говорить. Улыбка новая, какой он еще не видел, не сходила с них:

— Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Сразила эта улыбка, из победителя сделала покоренным, смешала, как выходивший пасьянс, все будущее.

Полусонные глаза смотрели пьяно и насмешливо. На губах еще было ощущение поцелуя. Он подошел, наклонился,—оторваться от ее губ было уже нельзя. На руках отнес в спальню.

Теперь днем на беседах у Бенкендорфа, на улице, дома Евгений Петрович часто и всегда по какому-то внезапному и неизвестному побуждению начинал перебирать в памяти тех из своих знакомых, чьи жены, как говорили, были любовницами государя. Острая, как оскорбление, боль поднималась изнутри. Как от пощечины, пылало лицо. Все они не были равны ему: среди них он не знал ни одного изболевшегося самолюбивой

гордостью Самсонова. Он уже не был больше расчётливым и трезвым честолюбцем. Мысль о том, что в таких случаях снисходительность мужа всегда вознаграждалась, была омерзительна. Как-то подумал о пистолете. Железное тяжелое кольцо, сковавшее зловещую черную, как будущее, пустоту, все чаще и чаще стало рисоваться взору. Как-то у одного холостого приятеля целый час подряд палил по зажженой свечке. От выстрела свечка гасла, как сраженная наповал, валилась на пол. Ее зажигали, водружали на прежнее место, он со сладострастным любопытством целился опять в пламя.

Застрелиться помешало тоже воспоминание. В последний момент, уже ощущая виском холодную сталь, вспомнил улыбку Надежды Федоровны.

— Ты хочешь о чем-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Он ссыпал с полки порох, выкатил из дула пулю. Сковавшее загадочную пустоту кольцо больше не тяготило мыслей.

Теперь другое жалило сердце, и хотелось мочить ледяной водой лоб, до боли тереть виски, лишь бы унять эту сумасшедшую сверлящую боль.

— Молчит. Никогда,—ни словом, ни жестом. Даже случайно... А с ним, с ним какова? Как узнать? Как постигнуть? Такая же, как со мной?

Вода и уксус как будто слегка умерили жар. Евгений Петрович перед умывальником сбросил халат, снял сорочку. Тело, растертое холодной водой, горело приятно. Он снова накинул халат и прошел в кабинет. Деньщик уже ждал с одеванием. Через полчаса Самсонов выбритый и в мундире сидел и пил кофе.

— Какой это бурдой ты меня поишь?

У старой Андреевны, выняньчившей когда-то Надежду Федоровну и ей же доставшейся в приданое, от удивления раскрылись глаза.

— Какой бурдой, батюшка! Кофе моккский, по шесть рублев плачено.

Евгений Петрович сердито отодвинул от себя чашку. Он взялся было за захваченные из кабинета бумаги. В столовую вошел деньщик и застыл на пороге.

— Так что ваше благородие требуют.

Досадливо мотнув головой, посмотрел на часы,— было половина восьмого,—и встал из-за стола.

В прихожей вытянувшийся в струнку при его появлении жандарм рявкнул, разрубая по слогам:

— Здравь-же-ла-ю ва-ше родь.

— Ну?

— Так что пожалуйте к графу.

У Бенкендорфа еще в передней камердинер сообщил:

— Пожалуйте. Вас ожидают.

В кабинете не было никого. Дверь в туалетную была плотно притворена. Евгений Петрович осторожно кашлянул.

— Иди, иди сюда, mon cher,—тотчас же раздалось из-за двери.

Он вошел и остановился.

Бенкендорф совершенно голый, без малейшего признака какой бы то ни было стыдливости, степенными мерными шагами расхаживал по комнате.

— Во-первых, mon cher, не взыщи, что я тебя принимаю в таком неглиже. Je prend un bain d'air по совету моего доктора, а во-вторых, потрудись... мг... нужно тебе составить... дело м... совершенно безотлагательно... ну ты знаешь, конечно, какая история вышла...

Евгений Петрович не знал, но дипломатически помолчал, потому что граф не терпел вопросов.

— Ну-с вот... надо составить...

Бенкендорф по обыкновению говорил с паузами чуть ли не после каждого слова. Говоря, он иногда приближался к Самсонову, и тот от ужаса и отвращения, что граф может коснуться его, вытянул по швам руки, до боли напрягал мышцы, чтоб не сдвинуться с места. В этом своем виде его принципал походил на старую с облезлой шерстью обезьяну. Дряблая грязно-коричневого цвета кожа висела на груди и на животе толстыми противными складками, худые с высохшими икрами ноги были слишком тонки для такого туловища, длинные со скрюченными пальцами руки болтались ниже бедер. Иногда они поднимались, сгибаясь, как какие то неисправные рычаги,—граф потирал себе грудь и живот.

— Да... надо составить... это ты умеешь... циркуляр секретный... в цензуру... в Москву и в города и вообще... так... понял вопрос?

Евгений Петрович утвердительно наклонил голову.

— ... Чтобы никаких там м... некрологов... статей... и так говорят слишком много...

Положение Евгения Петровича становилось затруднительным. О ком некролог? И у кого спросить? Чего доброго граф еще заставит писать циркуляр здесь же, не выходя из комнаты.

— Позвольте ваше сиятельство, но ведь он...— решился он наобум.

Граф перебил с поспешностью.

— Ты хочешь сказать пока еще жив... Нет, батенька, уже... уже скончался... И слава богу, и слава богу... С кем другим, а с Пушкиным мы хлопот имели достаточно...

— Пушкин. Пушкин умер,—подумал Евгений Петрович пораженный—тем ли, что он до сих пор не знал

этого, или тем, что человек, которого он видел всего несколько дней назад полным сил и здоровья, уже вычеркнут из списка живых.

Бенкендорф молча шагал из угла в угол.

— Тут, mon cher, история сложная... интриги и сплетни кругом, ты вероятно знаешь, злонамеренные, вредные,—заговорил он, останавливаясь перед Самсоновым. — Не следует и пытаться понять — гадость, грязь...

Сморщенные веки приподнялись, брови были выгнуты напряженно. Бенкендорф старался что-то прочесть во взгляде своего подчиненного.

Незнакомое чувство остро щемящей жалости вкралась в сердце Евгения Петровича. Он вспомнил сплетни, которые слышал, вспомнил, что говорили в свете о Пушкине за последнее время, вспомнил чью-то осторожную и опасливую догадку, которую передавали под величайшим секретом. Пушкин вдруг показался ему близким как брат, как соучастник, сроднившийся с ним одинаковой и страшной судьбой.

Бенкендорф, не отводя глаз говорил:

— Это, mon cher, моя к тебе просьба... Нельзя пренебрегать и сплетнями... направлять, сдерживать... Но у меня никого нет... Не могу же я послать какого нибудь там жандармского штаб-офицера, ведь они все левой ногой сморкаются... Ну вот... надеюсь ты понял. И потом...—здесь последовала пауза, продолжавшаяся очень долго.— ...И потом переписку... нужно будет последить за перепиской...

Если бы за пять минут до того Евгений Петрович не пережил нового и странного для него чувства к умершему Пушкину, если бы оно не всколыхнуло его собственной неотступно преследовавшей муки, если бы этот, сделавшийся содержанием всей его жизни и безот-

ный вопрос не встал перед ним снова, то едва ли он ответил бы так Бенкендорфу. Он сам понимал, что это наивно, что таким путем он все равно ничего не узнает и не раскроет, но что-то наперекор рассудку подмывало и толкало:

— Загляни, только загляни. А может...

— В свое время я просил ваше сиятельство,—проговорил он тоном обычным при разговорах с начальством,—не употреблять меня по секретной части. Но я готов исполнить любое приказание вашего сиятельства, и буду счастлив, зная, что приношу посильную пользу отечеству.

IV.

Отпевание тела Пушкина было назначено в 11 часов 1-го февраля.

Накануне жандармы очистили Мойку от публики. По пустынной безлюдной улице гроб, сопровождаемый только самыми ближайшими друзьями покойного, был перенесен в Конюшенную церковь.

Самсонов нервничал с утра 1 февраля. Отстегивая и застегивая пуговицу мундира, он подходил к зеркалу. Из зеркала устало и с отвращением смотрело желтое измятое лицо. Взгляд потухших глаз был злой и чужой.

— Нет, нет, не шпион. Не доносить же я должен, только направлять, останавливать,—опять раздражаясь и волнуясь, подумал он,—однако пора.

Надушенный платок отдавал запахом смерти и тления. Шинель показалась тяжелой и негнущейся, словно она обледенела. Он всю дорогу погонял извозчика. Сегодня и Мойка, и площадь перед церковью были полны народа. Жандармы, козыряя, очистили Евгению Петровичу дорогу к церкви. Но и церковь была полна.

В церкви Евгению Петровичу сразу же приметились в толпе лица двух министров. Присутствовал почти весь дипломатический корпус, много знати. Самсонов жадными глазами впивался то в ту, то в другую стоявшую вблизи гроба, фигуру. Вдовы среди публики не было.

Хор чистыми, упруго звеневшими голосами пел:

«Надгробное рыдание творяще песнь...»

Ему вдруг стало невыносимо тоскливо. Никогда не расставался он ни с кем из близких, никого не провожал в дальнюю дорогу, но почему-то ему казалось, что именно так бывает, когда провожаешь и расстаешься. Сердце сжалось щемящей болью. — «Зачем, зачем я здесь?» Одну минуту ему было просто невыносимо беспокойно. Потом вдруг сразу стало и понятным, и ясным, почему он беспрестанно погонял извозчика, почему, уже переступая порог церкви, томился предчувствием какого-то открытия. У него горела и заливалась кровью голова. Граф. Что граф! Графа у него не было ни в жизни, ни в мыслях. Вероятно сейчас он не вспомнил бы даже, какое он принял от него поручение. Свое, свое. Он еще раз внимательно ищущим взором впился в толпу. Той, которую он хотел увидеть у гроба, той, по чьим глазам он в этот миг хотел прочесть что-то самое главное, самое важное для себя, в церкви не было. Рассеянно покрестив пуговицы мундира, повернулся к выходу. В дверях почему-то вспомнил, как когда-то, еще юнкером замирал от восторга, стоя в лагерной церкви в Петергофе вблизи государя. Стало противно до тошноты.

— Пошел к Цепному мосту,—толкнул он в спину извозчика и поморщился.

В III отделении на лестнице столкнулся с Дубельтом.

— Господин гвардии штабс-капитан,— как шагом, ...чатая слова заговорил Дубельт.— Известно ли вашему ...соко-благородию, что граф поручить вам изволил?

Евгений Петрович посмотрел на него с удивлением. На углах рта у Дубельта кипела пена, это служило ...изнаком раздражения и волнения, и всегда заставляло ...енкендорфа в таких случаях отодвигаться от него ...торожно.

— Известно ли вам-с,—брызгая этой пеной, рубил Дубельт.—Известно ли вам-с, что в городе ходят уже ...орой, а может и третий, может и третий день ходят возмутительные стихи. Возмите себе-с, расследуйте. Я ...аписал это вам-с. Мне некогда. По высочайшему по...лению я должен разбирать бумаги Пушкина, я дол...ен исследовать... А тут стихи, еще какие стихи! Они ...ума сведут, эти стихотворцы,— закончил он презри...ельно и побежал вниз по лестнице.

Не сбежав и до половины, остановился.

— Господин гвардии штабс-капитан.

Самсонов спустился к нему.

— Да-с. Забыл предупредить. Вы неопытны-с, мо...жете глупость наделать. Так вот-с. Там попадается одно ...мя,—зашептал он, наклоняясь к самому уху.—Отстав...ной штабс-ротмистр Нигорин. Его не трогать. Это по моему поручению, по поручению для пользы службы. А вам заняться сим незамедлительно. Так приказал граф.

Евгений Петрович, сделав недоуменные глаза, сказал только:

— Слушаю-с.

И не прибавив ни слова, стал подниматься наверх.

В канцелярии делопроизводитель секретного стола вручил ему лист с каллиграфически выведенными на нем строчками. В углу была карандашная заметка Дубельта:

«Господину гв. штабс-кап. Самсонову. Граф приказал расследовать вашему высокоблагородию. Г. М. Дубельт».

Евгений Петрович попробовал вчитаться в вырисованные, неровные справа, строчки. Какой-то иной скрытый от всех смысл, страшной своей таинственностью, казалось заключался в них. От строчки:

. . . . . он мучений
Последних вынести не мог.

болезненно и тоскливо сжалось сердце. Он сложил лист пополам, спрятал его в карман.

В приемной графа камердинер опасливо шепнул:

— Сейчас уезжают.

Самсонов настойчиво попросил:

— Доложи.

Рядом, из туалетной, раздался скрипучий, мямлящий голос графа.

— Ну, ну, mon cher, что у тебя там... Входи.

Бенкендорф, стоя у зеркала, щеткой приглаживал торчавшие седые виски.

— Ваше сиятельство приказали мне расследовать происхождение стихов «На смерть поэта».

— Да, да, mon cher,— граф вдруг отвернулся от зеркала, с виноватой улыбкой осторожно дирижируя щеткой:—Да, уж пожалуйста. Сейчас такая кутерьма, что голова кругом идет, поручить некому. Написал-то их Лермонтов, парень в сущности безобидный, только шалопай большой руки. Это ничего. А вот м-м... какой подлец их по городу пустил, так что теперь их чуть-ли не каждый декламирует, это, это выясни.

Он снова наклонился к зеркалу. Растягивая пальцами сморщенную и до блеска пробритую на щеках кожу, внимательно рассматривал какой-то прыщик.

— Да, вот еще, mon cher, полюбуйся. Это твое упу-ение.

Не глядя, левой рукой, бросил Самсонову с туалет-го стола печатный листок.

Это была последняя страница Литературных При-лений к «Русскому Инвалиду».

В черную траурную рамку было заключено:

> Солнце нашей поэзии закатилось: Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!... Более говорить о нем не имеем силы. Да и ненужно; всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин!... Неужели в самом деле нет у нас уже Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!
>
> 29 января, 2 часа 45 мин. пополудни.

— Что это такое, в самом деле?

Граф наконец покончил со своим туалетом. Теперь н стоял посреди комнаты, сердито оправляя ворот ундира.

— Что это за черная рамка вокруг известия о кон-ине человека нечиновного, не занимавшего никакого ложения на государственной службе? Ну, да это еще да бы ни шло... «Пушкин скончался в середине своего ликого поприща!» Какое это такое поприще? то он—полководец, военачальник, министр, государ-твенный муж? Писать стишки не значит еще прохо-ить великое поприще. Строгое замечание, выговор, пре-упреждение... и цензору и редактору. Понял? А с Лер-монтовым это ты разберешься. Ну, прощай. Мне надо ещить к государю.

V.

К Беклемишеву Бурнашева ввел его новый знакомый. Молодой Беклемишев, носивший сейчас золотой аксельбант военной академии, служил раньше в том же, что и Глинка, харьковском уланском полку. По воскресеньям в доме бывали званные обеды. Хлебосольный хозяин неизменно приглашал тогда к столу и всех собиравшихся на половине сына. Таким образом и Владимир Петрович удостоился чести обедать у шталмейстера двора его величества.

До обеда на половине молодого Беклемишева шел оживленный спор.

Конногвардейский поручик Синицын, человек невзрачный, обычно молчаливый и застенчивый, сейчас разсуждал с видом необыкновенно серьезным и значительным. Он был аудитором в военно-судной комиссии над убийцей Пушкина.

— Государь, не отменяя постановления комиссии,— говорил он—по исконному своему милосердию смягчил его, как мог. Высочайшая резолюция по сему делу гласит: «Быть по сему, но рядового Гекерна, как нерусского подданного, выслать с жандармом за границу отобрав офицерские патенты». И то сказать, господа по точному смыслу сто тридцать девятой статьи воинского сухопутного устава, за дуэль, окончившуюся смертоубийством, положено повешение. Закон суров, излишне суров для нашего просвещенного века. И так как поручик Гекерн был сам тяжко оскорблен; комиссия нашла нужным вступиться за него у государя, ходатайствуя только о разжаловании в рядовые...

— Вступиться! Ходатайствовать о смягчении! Вот истинно русские сердца! Господа командиры частей

вардейского корпуса, тлейся в них хоть искра участия нашей славе, к нашей гордости, к нашему Пушкину, должны были не смягчать закон, а наоборот требовать четвертовать вашего Гекерна, убийцу русского гения.

Владимир Петрович с ужасом воззрился на молоденького семеновца с золотым аксельбантом академии.

Синицын, осторожными мелкими шажками прохаживавшийся по комнате, остановился возле Бурнашева. Он смотрел на своего противника иронически прищуренным взглядом, ухмылялся, но ничего не говорил.

— Да, кстати о стихах Лермонтова, — перебивая Линдфорса, воскликнул хозяин.— По рукам ходят уже новые, добавочные к тем, что были. Говорят, эти заключительные еще сильнее и резче. Кто из вас, господа, знает их?

— Я,—поспешил заявить Линдфорс.

К нему сразу бросилось несколько человек.

— Вы знаете... Знаете. Так скажите же их скорее. Ведь их так трудно сейчас получить.

Бурнашев тоже притворно извлек из кармана записную книжку и карандаш.

— Владимир Петрович,—услышал он над ухом.

Синицын тронул его за плечо, глазами приглашая выйти из комнаты.

По мягкости своего характера он не посмел отказаться, со вздохом спрятал обратно в карман записную книжку.

Вокруг Линдфорса столпились все присутствующие. Сбиваясь и нетвердо он читал:

... А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов,
Вы жадною толпою стоящие у трона...

— Идемте, идемте, Владимир Петрович, — шепнул Синицын.—Я вам должен кое-что сказать.

Никто не заметил, как они вышли.

В биллиардной, убедившись, что за дверями никого нет, он взял из стойки кий и, приблизившись вплотную к Бурнашеву, вполголоса заговорил:

— Мы с вами, Владимир Петрович, старые знакомые и оба люди тихие. Так вот проформы ради, чтобы никто не подумал, что мы секретничаем, давайте-ка шарокатствовать, будто играем партию. А я вас, ведь, с намерением удалил от того разговора. Эти молодые люди очевидно, еще не знают, что сталось с тем самым Лермонтовым, которого, как помнится, вы у меня как-то на лестнице встретили. Стихи эти будут у меня сегодня же вечером и в самом верном списке, так что я их могу дать вам списать сегодня же. Только видите ли, как-то они уже раз попали не в добрый час на глаза государю, и над Лермонтовым не хуже, чем над Дантесом, наряжено следствие. Поэтому, вы понимаете, что бравировать знанием их нам с вами, людям тихим, вовсе не годится.

Когда они вышли из биллиардной к столу, какой-то, подагрического вида, старец в ленте и со звездою сокрушенно качал головой и говорил:

— ... Да, да, дерзкие, весьма дерзкие стали. И правительство, и общество поносить решаются. Это, это, батенька мой, разврат... C'est un arrier gôu de la decabrisme de vetust memoire надо бы, надо бы за такие стишки надеть на него белую лямку. Пусть, голубчик, в шкуре рядового попробует к революции призывать. А, пожалуй, еще государь, по неизлечимому милосердию своему, простит и этого сорванца.

— Так-что, ваше высокопревосходительство полагаете,—не утерпел пылкий Линдфорс—что за убийство

Пушкина и за благородный порыв возмущенного рус-
кого сердца кара должна быть одна и та же.

Звездоносец с минуту тяжело прищуренными гла-
зами смотрел на него.

— Да, ты, я вижу, тоже того,—наконец, разрешился
он,—таких же идей набрался. Тоже революции хочешь.

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, в чем
же вы тут видите революцию? Эти стихи самые верноподданнейшие, один к ним эпиграф говорит за это. Да
и эти дополнительные строчки—где же тут можно уви-
деть революцию?

И он опять не удержался, что бы не продеклами-
ровать:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов

Хозяин, и раньше взиравший на него внушительно
и строго, поспешил его прервать.

— Помилуй бог, — воскликнул он по-суворовски: —
стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди
не поэтические, а я люблю, чтобы гости кушали мою
хлеб-соль во здравие. А тут вдруг ты со своими сти-
хами: все заслушаются и никто не узнает вкуса этого
фрикасе из перепелочек. А они, братец мой, из Воро-
нежских степей в замороженном виде присланы.

И он очень обстоятельно и подробно начал объяс-
нять трехзвездному сенатору и дамам преимущество
дичи, ловленной соколами, а не в тенетах. Завязался
разговор о перепелах.

Владимир Петрович по скромности, как своего ха-
рактера, так и общественного положения, за все время
обеда не сказал ни слова.

Но зато всю дорогу домой он переживал этот, столь
льстивший его тщеславию, обед. И несмотря на боль,

которую причиняли мучительно тесные сапоги, улыбался блаженной улыбкой.

Дома еще в прихожей к нему с растерянными и испуганными лицами бросились мать и сестра.

— Володенька, родной, да что же это такое,—захлебываясь словами и слезами, перебивали они друг друга.—Нужно просить, жаловаться. Ведь ты же ничего не сделал...

— Что случилось?—чувствуя как у него подкашиваются ноги, вымолвил Бурнашев.

— Жандарм за тобой. Жандарм ждет тебя.

Владимир Петрович медленно, словно падая, стал опускаться на стул.

Из столовой методичное, как тиканье часов, доносилось звяканье шпор.

— Иду,—неизвестно кому глухим голосом сказал Владимир Петрович и с трудом поднялся со стула.

По залу, заложив руки за спину с терпеливым и равнодушным видом, расхаживал жандармский капитан. Заметив входящего Бурнашева, сказал, чуть наклоняя голову:

— Бурнашев? Владимир Петрович? Приказано немедленно доставить в III отделение собственной его величества канцелярии.

Ранние февральские сумерки густели, оконные квадраты на паркете скосились и багровели, когда Владимира Петровича жандарм, не сказав ни слова, ввел и оставил одного в пустой и огромной комнате.

— Господи, помилуй, спаси меня, господи, не дай погибнуть,—непрестанно шептал Бурнашев.

Сколько прошло времени, он не знал,—во всяком случае за окнами была уже густая тьма, когда, словно сорвавшись, стукнули карабинами дежурившие его жандармы, широко распахнулась и тотчас же захлопнулась

верь. Кто-то быстрым, решительным шагом вошел комнату. Владимир Петрович не разглядел лица, только ундир, блеснувшее золото эполет, да мягкий звон шпор переполнили сердце испугом. У него закружилась голова, го замутило.

— Сидите, сидите, — небрежно бросил вошедший, метив, что арестованный делает тщетную попытку одняться.

Но звук этого голоса пробудил какую-то надежду сердце Бурнашева.

Офицер был в гвардейском преображенском мундире, сок и прям, голубые глаза смотрели холодно и не-движно. Владимир Петрович, заглядывая ему в лицо тарался поймать его взгляд.

— Мы с вами знакомы. Изволите помнить: вы меня справочку для вашего дядюшки брали, — иска-льно лебезил он.—Скажите ж, Евгений Петрович, на илость, что это за кумуфлет такой. Ума приложить не могу—за что меня взяли.

Преображенец, рассеянно и вместе с тем удивленно осмотрел на него. У Владимира Петровича испуганно жалось и упало сердце.

— Неужели, я ошибся! Неужели это не Самсонов! Неужели не узнает! Пропал, пропал совсем.

На него смотрела незнакомая, с резкими осунувши-ися чертами лицо, только вот глаза с серым присталь-ым взглядом все те же, но сейчас они горели тяжелым блеском, будто Самсонов не спал много ночей.

— Знакомый.

— Возможно. Не помню, рассеянно бросал он, выкла-дывая на стол перед собою лист бумаги. — Ваше имя, фамилия, чин. Из кого происходите. Место служения.

Владимир Петрович заплетающимся языком ответил на все вопросы.

— Так. Теперь скажите, от кого вы услыхали или получили в списанном виде впервые стихотворение, называемое «На смерть поэта».

— Попался, кончено,—с отчаянием пронеслось в голове.—Говорил мне Синицын. Никогда больше, никогда больше не буду списывать стихов, не прошедших цензуры.

Против воли, сам не понимая как он их запомнил, он заплетающимся языком повторял слова, которые говорил у Беклемишева за обедом звездоносный сенатор.

— Я сам их осуждаю. Стихи эти суть не что иное, как призыв к революции. Это отрыжка печальной памяти декабризма, это даже опаснее. Единственно из болезненного к литературе любопытства.

Самсонов прервал резко:

— Но вы их давали списывать. Например библиотекарю Цветаеву.

— Точно так-с, но этот человек благонамереннейших мыслей...—Его, казалось, не слушали.

— От кого вы их получили, я вас спрашиваю.

— От Глинки, Владимира Сергеевича Глинки. Он первый мне похвастался, что имеет их в списанном виде. Он всегда тщеславился, что первый достает стихи еще до печати.

— А Глинка, где достал,—вы знаете?

Самсонов говорил усталым равнодушным голосом. Бурнашев заметил, что он не записывает его ответа, и это придало ему мужества.

— Он называл фамилию, только я запамятовал. Отставной ротмистр их, то-есть, харьковского уланского полка—Нигорин, кажется.

У Самсонова по губам скользнула улыбка.

— Вы от Глинки, Глинка от Нигорина... А с самим автором корнетом Лермонтовым вы никогда не встречались? Его лично не знаете?

— Никогда даже не видывал. Честное слово, не знаю. как-то на лестнице у одного моего хорошего зна-ого столкнулся и только потом узнал, что это был рмонтов.

Самсонов опять улыбнулся.

— Отлично. Вас привезли сюда по недоразумению. йчас я распоряжусь, чтобы вас отпустили, но...

Он жестом остановил порывавшегося говорить Бур-шева.

— Потрудитесь запомнить: этот наш разговор и обще ваше пребывание здесь должны остаться в со-ршенном секрете. Поняли? Иначе для вас опять будут риятности.

VI.

В воскресенье на масляной в Аничковой был Soirée cloture. Только в четвертом часу удалось Евгению трровичу и то с большим трудом уговорить жену по-ать домой. Дорогой она нашла повод придраться каким-то, сказанным по крайней мере месяц тому зад, словам. Когда подъезжали к дому, Евгений Пе-рович уже представлял собою полное собрание всех роков, как муж, и недостатков, как Самсонов.

Пост с томительным бездельем, с безвыходным си-ением дома, с туалетами, начинавшимися в полдень незаконченными до вечера, с тоской разбросанных столам и диванам, непрочитанных и до половины нижек, со скукой едва начатых рукоделий, с изводя-им молчанием мужа, если он бывал дома, и неисто-ым раздражением, если уезжал,—пост, знаменовавшийся тсутствием выездов, балов и вечеров, пост с неизменно поздывающими обедами, неумолчной ворчней Андреевны, есНотой собственной квартиры, окончательно убедил

Надежду Федоровну, что она-то и есть самая несчастная на свете женщина, и что в муже, себялюбце и бездушном, никогда и не было ни капельки любви к ней.

На третьей неделе она говела. Хотя бы этот ее подвиг и решение внушили ему жалость. У него попрежнему каменным оставалось лицо, только и радости было видеть, с каким усилием он отводит от нее глаза, как движутся под кожей скулы. Значит, молчание ему не так уж дешево дается.

За столом, украдкой наблюдая за ним, небрежно проговорила:

— Тебя, кажется, можно поздравить. Уже начинают прибегать к твоему влиянию.

Теперь она от вопросительно-холодного взгляда отвела глаза, рассмеялась искусственно и нехорошо.

— Я нашла у тебя на столе письмо какой-то Дарьи Раевской. Прости, но я не устояла, чтобы не узнать, кому я обязана твоим невниманием за последнее время.

Он помолчал. Надежда Федоровна переждала паузу и, все с той же насмешливостью, продолжала:

— Но это оказалась какая-то титулярная советница из Саратова, просит за двадцатишестилетнего сына. Хотя... может и в пятьдесят лет она сумела сохранить свою привлекательность.

Надежда Федоровна очень ждала и желала вспышки раздражения, резкого замечания. На такой случай у нее уже была готовая целая обличительная речь. Заканчиваться она должна была весьма тонким и весьма колким упреком: «вот она ваша гордая самоуверенность, Самсонов, вы даже своего положения использовать не умеете: с просьбами обращаются только титулярные советницы из Саратова». Муж посмотрел на нее столь равнодушно, что она с оскорбленным видом встала из-за стола и ушла к себе.

Звук отодвинутого стула как бы навсегда остался в комнате. Часы осторожным тиканием отдирали тишину, как обои. Завороженный этим молчанием, Евгений Петрович сидел, не двигаясь. Потом от стены медленно отделился и наполнил комнату звоном часовой бой. Он встал и с рассеянной усталой улыбкой прошел к себе в кабинет.

— Василий, трубку.

Наступил час самый приятный в этом беспокойном дне. С кольцами ленивого дыма, казалось, отходили и таяли все тягостные мысли. Самое трудное, самое недосягаемое начинало казаться таким простым, так легко осуществимым.

Вероятно, даже и Бенкендорф подивился бы рвению своего адъютанта, с каким тот выполнил данное ему поручение. «Вслушиваясь и направляя» сплетни и разговоры, ходившие в свете, Евгений Петрович испытывал что-то похожее на обретенный и благодетельный покой. Еще говорили о несчастном Пушкине, еще осуждали или сочувствовали его вдове, еще гадали о причинах неизменно сопутствовавшего Дантесу счастья, и Самсонову казалось, что пересудами, этой воркотливой, уже начинавшей многим надоедать, болтовней с него снимают муку его самолюбивых терзаний. Наступивший великий пост словно глубоким вздохом перебил дыхание. Теперь, когда Надежда Федоровна по целым дням оставалась дома, она сделалась ему почти ненавистной. Будто только ревнивые подозрения и питали его страсть. Даже не раздражали, а просто были противны ее мелочные придирки, колкие слова, нескрываемая неприязнь. Вспоминать ту новогоднюю ночь было мучительно стыдно.

Но сейчас Надежда Федоровна опять заставила вспомнить эту ночь.

Титулярная советница Раевская обращается к нему, чтобы он поддержал ее ходатайство за сына. Евгений Петрович ухмыльнулся. Его, скромного обер-офицера, просят о заступничестве перед престолом. Сколько раз там в Саратове писали и переписывали это письмо, ломали голову над его составлением. Да, знали, значит, что жандармское дознание ведет он, что от него, Самсонова, не меньше, чем от царя, зависит судьба человека. Он покривился самодовольной и пустой усмешкой. Но сейчас же опять в сердце закопошилось привычное беспокойство. Стало не по себе.

Сегодня он должен был снять показание с арестованного за сочинение недозволительных стихов корнета Лермонтова. Он уже три дня откладывал эту поездку. Самый звук этого имени ему был неприятен. Он неизбежно вызывал в памяти мохнатый серый рассвет, заваленную, как мертвыми, пьяными телами, комнату, боль в сердце, поколебленную веру в любовь, наглую улыбку наглого гусара. Это воспоминание не отрывалось от того мучительного и незабываемого о новогодней ночи. Надежда Федоровна, будто зная, что это причинит боль, что он больше всего старается не думать о деле Лермонтова и Раевской, напоминала за столом именно о нем.

Евгений Петрович отставил трубку. Встал, застегнул мундир. Лиловый предзакатный свет густел в окне.

— Хорошо. Поеду. Но вот еще что противно. Граф намекнул, что с ним нужно помягче. Значит, отыграются на одном Раевском. Ох, с какой бы радостью я подвел этого косолапого наглеца под белую лямку.

С чувством неясным и смутным для самого себя ехал Евгений Петрович к главному штабу, где был заключен арестованный Лермонтов.

В маленькой комнатке со стенами, испещренными надписями и рисунками сажей, с кроватью из голых досок, с простым деревянным столом, тускло горела одинокая свеча. Разросшаяся во всю стену, тень сидевшего у стола человека колыхнулась, когда вошел Самсонов, отползла в угол. Лермонтов с поспешностью подвинул от себя клочек серой оберточной бумаги, на которой он только что писал обгорелой лучинкой, привстал с табурета.

— По поручению его сиятельства, господина шефа жандармов и командующего императорской главной квартиры снять показание по делу о непозволительных речах. Гвардии штабс-капитан Самсонов.

Лермонтов с едва заметной усмешкой склонил голову. Свеча освещала сейчас только его подбородок, улыбка пропадала в тени, но и так Евгению Петровичу она показалась жалкой, униженной и виноватой. Он оглянулся, ища места, где бы присесть. Лермонтов придвинул ему табуретку, мягко сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Здесь у стола вам будет удобнее.

Голос Лермонтова показался ему убитым.

— Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшим участием, — говорил Лермонтов, — какими маленькими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, вынужден сделать шаг, противный законам земным и небесным. Защищая честь своей жены в глазах строгого света...

Словно в комнату ворвался порыв свежего ветра, вздрогнул Самсонов, нервно поправил сползшую с плеча шинель.

«Он действительно не то, что о нем думают. Той бабе у Нигорина и вправду открыта его душа» — почти умиленно подумал Самсонов, но сейчас же это

заслонилось и стерлось привычным недоверием к словам.

— Я слушаю. Прошу говорить, пожалуйста, дальше,— сухо сказал он.

— Когда я спрашивал, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали, вероятно, чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения.

У Евгения Петровича по губам скользнула довольная ироническая улыбка.

— Так вы полагаете, что вы высказывали в вашем сочинении мнение правительства? — иронически спросил он.

— Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства.

«Чего он так трусит? — брезгливо поморщился Самсонов.—Неужели не знает, что ему ничего не будет, когда и под арест сажают даже не на гауптвахту».

— Этот опыт был первый и последний в этом роде,— между тем поспешно проговорил Лермонтов,—вредный, как я прежде мыслил и как теперь мыслю, для других еще более, чем для меня. Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина, что к несчастию я сделал слишком скоро, то один мой хороший приятель...— Самсонову показалось, что у него дрогнул голос,—один мой хороший приятель просил меня их списать. Вероятно, он их показал, как новость, другому и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог во время их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому не давал.

«Врет», — решил про себя Самсонов, а вслух, брезгливо поморщившись, спросил:

— А кто этот ваш приятель?

— Раевский, Святослав,—тихо, и еще ниже опуская голову, проговорил Лермонтов.

После ухода Самсонова весело и легко на сердце было только одно мгновение. Словно из темноты протянулась какая-то рука, замахнулась схватить. Он вскрикнул:

— Я! Я! И не запнувшись...

Слова, как рыдания, душили. Их нужно было выскажать, излить, освободиться от них. Он рванулся к столу. На глаза попался клочок бумаги со стихами, раздраженно бросил его на пол.

— Святослав, ты прости,—шептал горячо и порывисто,—я люблю тебя, ты настоящий друг, знаю, знаю... Даже, сидя под арестом, думаешь только обо мне... Хитрился прислать записку, что надо говорить, а я... нет, нет это невозможно.

Обгорелой лучинкой торопливо набрасывал на обрывке:

«Ты не можешь вообразить моего отчаяния... Я сначала не говорил про тебя... Меня допрашивали от государя — жандарм — сказали, что тебе ничего не будет, а я запрусь — меня в солдаты... Я вспомнил бабушку и не смог... Я тебя принес ей в жертву»...

Остановился, с минуту смотрел тупым невидящим взглядом на бумагу, потом схватил, изорвал ее в мелкие клочки. Бросился на голые доски кровати. Слезы бессилия, злобы, раскаяния, стыда, хотел удержать хриплым воплем — и не мог.

Спустя два дня Евгению Петровичу в канцелярии, перед тем как итти на беседу к графу, вручили отношение военного министра.

«Его сиятельству, господину шефу жандармов и командующему императорскою главною квартирою от 25 февраля 1837 года, за № 100.

«Государь император высочайше повелеть соизволил: лейб-гвардии гусарского полка, корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермонтову о сделанном им показании выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию, для употребления на службу под усмотрение тамошнего губернатора.

«О таковом высочайшем повелении уведомляю Вас, милостивый государь, имею честь присовокупить, что должное по оному распоряжению сделано».

Самсонов взял из своего стола синюю папку дело № 43 «О непозволительных стихах корнета Лермонтова» и пошел на доклад.

Граф был уже одет и видимо торопился.

— Ну, что там у тебя?

— Отношение князя Чернышева к вашему сиятельству.

Самсонов протянул бумажку.

Бенкендорф быстро пробежал ее глазами, с уголка, не присаживаясь, пометил карандашем «убрать», и замахал рукой на приготовившегося что-то доложить Самсонова.

— Ну, ладно, ладно, после расскажешь.

VII.

Город просыпался. Отпирались лавки. Из ворот с грохотом выезжали груженные подводы. Возле уличных фонтанов, переругиваясь, гремели ведрами водовозы.

От почтовой станции вверх по Мясницкой неслись, обгоняя, брички и запряженные в четверку кареты, казенная почтовая тележка тарахтела и прыгала по неровной мостовой.

Ослепительно белая, словно вымытая майским солнцем, кинулась стена Китай-города. Под гору лошади поскакали быстрее. От вида надоедно мотавшегося крупа пристяжной клонило ко сну. Утро пахло зеленью и солью, и пыль, поднимавшаяся лениво, тотчас же тяжело ложилась на землю. В прозрачном, как родниковая вода, воздухе открылась серой истрепанной холстиною площадь перед театрами. Минуя ее, обтянутую канатами на чугунных столбах, свернули налево по мощенному проезду. Зелень на белой стене по весеннему выглядела крепко и влажно. У Иверской уже толпился народ, на площади возле гостинного двора с шумом ставлялись подводы, майский шаловливый ветер гонял обрывки бумаги и разный мусор. По едва замощенному Балчугу слетели на мост. Над Москва-рекой главы кремлевских церквей кутались дымкой разгоравшегося дня, и в Замоскворечьи, словно передразниваясь, сразу в нескольких местах звонили к обедне.

Лермонтов выпрямился, поправил кожанную подушку на сиденьи. Открывавшаяся глазам картина, колокольный веселый перезвон неприятно напомнили о почти месячном московском беспутстве, о недописанной поэме, пустых, без вкуса и радости, прожитых днях. Еще раз он поправил за спиной кожанную подушку, удобнее протянул ноги.

Хотелось торопливой деловитости, быстро бегущих мыслей, хотелось, чтобы в голове прочно и ладно складывались оборвавшиеся на бумаге строчки.

Но в памяти проступили так ярко, что их захотелось произнести вслух, другие строчки. Вспомнил ранний

петербургский вечер, горячий спор с кузеном Столыпиным, братом Монго. Столыпин доказывал, что Пушкин не мог, не вправе был требовать от своей жены любви. Пушкин — урод, безобразный ревнивец, Дантес, а может и не Дантес, — красавец, блестящий и занимательный любовник, неравный ему ни положением, ни внешностью. Как тогда от одной мысли, что его невидного, кривоногого Маешку могут презирать, смеяться над его страстями, холодное, сводящее мышцы бешенство подступило к сердцу. Вслух скверно и длинно выругался. Дремавший на облучке Андрюшка встрепенулся.

— Чего изволите, Михаил Юрьевич?

— Ничего. Дурак. Пошел к...

Андрюшка опять дугой выгнул спину, головой ушел в плечи.

Навстречу, с юга, ветер душным, тяжким дыханием пахнул в лицо. Проехали заставу. В густой и яркой зелени прямо и застыло, как лунатик, прошел монастырь с белой высокой колокольней. Ветер на гряды тянувшихся по обе стороны огородов, на кряжистые избушки подмосковских деревень гнал тучи пыли. Солнце, скрываясь в облаках, как раскачиваемый в руке фонарь, перебрасывало с места на место золотые полосы.

— Андрюшка! Как будто дождь собирается.

— Похоже, что так.

— Отстегни фартук.

Лермонтов глубоко, по самые уши надвинул уродливый с огромным козырьком кивер из черного барашка. Кругом все стихло, пропал и ветер. Серая скучная тень легла на землю. Вдалеке, словно за горами, рассыпался первый удар грома. Дорожная пыль покрылась рябинами первых дождевых капель. Ямщик остановил тележку, соскочил с облучка, перебрасывая кнут из руки в руку,

натягивал на плечи кожух. Андрюшка застегивал фар-
ук. От непроходившего чувства жалости к неживому,
нежившему Степану Калашникову, стало обидно про-
ивно. Обида вызывала воспоминания горькие и унизи-
ельные. Если бы не дождь, частой сеткой занавесив-
ший дали, он выпрыгнул бы из тележки, до изнемо-
жения шагал бы по дороге.

Сначала ему было приказано оставить Петербург в течение сорока восьми часов, то-есть во столько времени, во сколько могла бы быть готова новая форма. Бабушка хлопотала всюду, где только могла. Ему разрешили пасху пробыть в столице. Покидать Петербург было жалко, но не менее соблазнительно было рисоваться обреченностью ссылаемого на Кавказ под пули, на погибель. Известность, которую доставила история со стихами, кружила голову. Вероятно, никогда еще до сих пор он не говорил столько дерзостей, не издевался так откровенно над всеми, кто только отваживался подойти к нему с дружелюбием. Экзотический, непривычный для Петербурга, мундир выделял его среди окружающих всюду, где только он появлялся. На одном вечере столкнулся с Самсоновым. Тот с иронической усмешкой оглядел его черную куртку с кушаком, широкие с **краповыми** лампасами шаровары, всю его маленькую фигурку, ставшую от этого наряда еще более невзрачной и неуклюжей.

— Вас смешит эта форма. Неправда ли, она несколько портит фон этого вечера.

— В моих глазах никакой мундир не в состоянии ничего портить, ибо каждый носящий его одинаково служит его величеству, — сухо ответил Самсонов.

У Лермонтова в глазах пробежал торжествующий и злой огонек.

— С той только разницей, что одни несут ее на поле брани, а другие—на паркете гостиных.

— Вероятно, вы и нашли себя недостаточно способным для последнего,—хмуро улыбнулся Самсонов, делая движение уйти.

Лермонтов развязно и быстро бросил ему вслед:

— Э, стоит ли нам в этом пикироваться. Отсюда, если вы не хотите задохнуться, есть только две дороги. Для немногих — Париж, для многих—и меня в том числе—на Кавказ. Впрочем, лично для себя вы разыскали и третью.

И он выразительно посмотрел на его золотой жандармский аксельбант.

Но выхлопотанная бабкой отсрочка близилась к концу. Нужно было готовиться к отъезду.

На третий день праздника поехал к Нигорину.

Это было днем. Сам Никодим Васильевич, очевидно после вчерашней попойки, храпел одетый на диване, Дарья Антоновна в боковой комнате сидела за рукоделием. На полу вокруг нее валялись лоскутки белого полотна, свернутые в клубок носки, какие-то тряпки.

— Чинит Нигоринское белье.

Губы опустились брезгливо. На минуту он и в этом почувствовал для себя какое-то унижение. Поискал глазами стул, не нашел, опустился возле нее на пол, усеянный лоскутками.

Дарья Антоновна внимательно и долго разглядывала его, потом весело расхохоталась.

— Ну, Юрьич, и чуден ты, ну и чуден в этом наряде. Чистый Михайло Топтыгин, как цыгане водят.

Потом разом вдруг перестала смеяться, глаза сделались темные, яркие губы чуть покривила усмешка.

— Все-таки приехал, не выдержал. Все говорили — вот, вот уедет; ну, думаю, и прощаться не хочет. Ан-

нет, приехал-таки. Эх, Юрьич, Юрьич, допрыгался, бедненький, на Кавказ прогоняют.

И вздохнула тяжело. Это воспоминание расплывалось и гасло. Ярким, незабываемым оставался только самый последний момент.

У Дарьи Антоновны лицо потускнело и выглядело равнодушным. Сытая улыбка обмякла на нем. Он неподвижно сидел на полу у ее ног. В окно багровым и желтым полыхал закат. На душе было пусто и тоскливо, и сам он себе был противен до отвращения.

— Нет, Юрьич, нет, миленький, это ты брось, Мишкадимькина любовь и та дороже твоей стоит. А ты вон, что задумал. Нет, ты вот как, если совсем про меня решился. Под венец сведи, да потом именье — есть оно у тебя, али нет. Именья на меня отпиши, чтобы я вполне себя чувствовала, бабушке своей любить меня покажи...

Он возмущенными горячими глазами метнулся по ее лицу.

— Ну, ну, чего вскинулся, ровно бешенный!.. Это не велика хитрость так-то, а ты вот покажи, что людей не постесняешься. Всех вон с плеча поносишь, мизинца твоего, говоришь, не стоят, а их суда вон как испугался. Что!.. И сказать тебе нечего. Молчишь, миленький...

При одном воспоминании об этой фразе вся кровь, как от оскорбления, хлынула к лицу.

Ямщик, оборачиваясь с облучка, спросил:

— Ваше благородие, не переждать ли нам? Ишь, как расходится, так и хлещет.

Действительно, дождь усиливался с каждой минутой. Барашковый кивер намок, вода с него ручьями текла по лицу. Лермонтов молча кивнул головой, соглашаясь.

У первого же по пути двора они остановились.

Лермонтов, войдя в избу, скинул мокрую шинель и кивер, платком вытер лицо, присел к столу. Андрюшка втащил дорожный погребец, начал было его распаковывать. Лермонтов досадливо махнул рукой.

— Не надо. Поди, принеси мой портфель.

Огромный, как чемодан, портфель долго лежал на столе нераскрытым. Злоба, боль унижения и обиды не проходили. Наконец, с лукавой и подозрительной усмешкой он вынул из кармана привязанный к платку ключ, отпер портфель. Тетрадки, пачки писем, стопа белой бумаги, перья выпали на стол. Он выбрал из этой груды увесистый, запечатанный сургучом конверт. На конверте неразборчивой скорописью было написано:

Его благородию
Поручику Мартынову Николаю Соломоновичу
в собственные руки.

Так держат, не решаясь распечатать, посланья любимых и далеких. Улыбка искушенная и недобрая бродила по лицу. С ясным отсутствующим взглядом, смотря куда-то помимо рук, державших пакет, сломал сургуч. Туго набитый конверт пришлось разорвать. Он скомкал и отбросил его прочь, скомкал не читая и сложенный вчетверо лист, исписанный тем же почерком, что и на конверте. Выпавшие три сторублевые ассигнации небрежно сунул в карман шаровар. Лицо осветилось довольной и веселой улыбкой. Разгладил и углубился в огромное чуть ли не на десяти страницах послание. Почерк был тонкий и мелкий—так пишут женщины, готически вырисовывая большие H и L и узкой прямой петлей ставя маленькие.

— Ха, ха, а я думал, меня честят хуже, — произнес вслух, прочитав все до последней строчки.

Довольное и веселое выражение не сходило с лица.

— А все-таки хорошо, что распечатал. Мартышка— драк. Пожалуй чего доброго вздумал бы еще объясняться.

В памяти ускользающим недающимся в руки виде- нием мелькнул образ Натальи Соломоновны. Темные, акие большие, что напоминали яшмовые пепельницы, лаза, руки с тонкими длинными пальцами, с ногтями, ак узкие розовые виноградины.

Он вдруг рассмеялся громко и весело.

— Андрюшка, подай огня!

Андрюшка завозился в сенях, доставая огонь, принес жженную свечку.

Лермонтов смял в один комок прочитанное письмо вместе с конвертом, бросил их на шесток. Потом встал, поднес к бумаге свечку. Комок, расползаясь и развертываясь по листам, запылал легким и быстрым пламенем. Через минуту на шестке лежала только кучка черного трепещущего пепла.

Взгляд сделался вдруг печальным и задумчивым. Лермонтов, не отрываясь, смотрел, как вздрагивали и трепетали черные, покрывающиеся сединой листки жженой бумаги.

С Мартыновым он встретился на следующий же день после своего приезда в Москве. Завтракал у «Яра». Он не выносил одиночества. В трактирах, скуки ради, начал уже придираться к подававшей прислуге, и вдруг в дверях появляется Мартынов. Он знал его еще со школы, хотя тот и был моложе его по выпуску. Это был весьма недалекий и самовлюбленный малый, немного хвастливый, немного заносчивый, но он служил в кавалергардах, обладал красивой и видной наружностью, считался неплохим товарищем, не был назойлив, глупость его не раздражала. Они встретились, как старые и близкие друзья. Сейчас Мартынов отправлялся волонтером на

Кавказ, и это сблизило их еще больше, встречаться стали ежедневно, вместе завтракали у «Яра», вместе на целые ночи укатывали в Ямскую Слободку к цыганам. Мартынову, видимо, очень хотелось ввести приятеля в дом своих родных. Лермонтов почему-то старательно уклонялся от этого, наконец, почти накануне отъезда Мартынова он согласился.

Что-то похожее на смущение, неловкую робость почувствовал он, когда Мартынов представил его своей старшей сестре, Наталье Соломоновне.

— Это, Натали, Лермонтов. Ну да, тот самый Лермонтов, чьи стихи так тебе понравились.

На Лермонтова смотрели испуганно взметнувшимся взором.

Он был поражен. В лице, в движениях, в улыбке у Натальи Соломоновны было какое-то неуловимое, но вместе с тем неопровержимое сходство с любовницей Нигорина. И у этой, когда ей будет под тридцать, губы будут складываться только для хищной улыбки, и она постигнет, какая власть дана этим густым, стыдливо опускающимся ресницам. Нет, нет, таких-то и нужно бояться! Но когда? А сейчас...

На конкурсном состязании, на малознакомом коне, перед барьером охватывает подобное чувство. Неуверенность, страх, отчаяние, досада и жажда — во что бы то ни стало — одолеть препятствие мешались в душе.

Но конь не обманул.

Это случилось уже после отъезда брата. Переходы от пристального нежного внимания к равнодушной холодности, горькие признания в своей обреченности, страстные строчки стихов не оставили равнодушной Наталью Соломоновну. Уже почти точно знал, что можно и что невозможно. Родители, как будто, что-то начали примечать, принимали теперь с холодной подчеркну-

стью, только-что не отказывали от дома. И он все-таки
шился.

Был час обеда. Лакей не пошел провожать домашнего
всегдатая. В темном корридоре, перед буфетом столк-
лся с Натальей Соломоновной. Она слабо вскрикнула.
рочем она всегда вскрикивала, когда ее целовали. Он
ренко сжал ее руки выше кистей. В памяти осталось:
но-то, как тонкий упругий ствол, сопротивляясь в его
тках, склонившееся к земле, острый угол сундука,
который больно ударилось колено, слабый изнемогаю-
ий, как от боли, вскрик. Пустота в собственном успо-
оенном сердце вспоминалась, как что-то отдельное.

Весь обед он говорил безумолку. Наталья Соломоновна,
казавшись больной, к столу не вышла. После обеда,
вместе с отцом Мартынова курили на застекленной,
олько на днях открытой терасе. Заходившее где-то
стороне солнце прямыми полосами прорезывало начи-
авшую зеленеть растительность. Садовники расчищали
рожки, приводили в порядок газоны. Справа, возле
беседки, жгли собранную в одну кучу сухую траву,
прошлогодние сопрелые листья. Густой синий дым стлался
по земле. Иногда одинокие, тоненькие языки огня про-
ивались из кучи. Садовники подкладывали к краям су-
ой травы, тогда огонь охватывал кучу со всех сторон,
ысоко поднимался кверху, дым делался легким и белым.
горала быстро трава, сырая слежавшаяся листва опять
волакивалась тяжелым дымом, медленно тлела по краям.
Лермонтов усмехнулся.

Так и прошлое: нужно сжигать терпеливо и упорно.
И все равно его не сожжешь.

Об этой куче медленно тлеющей листвы вспомнил
ейчас. От вздоха разлетелись остатки пепла на шестке.
В избу вошел ямщик, снимая шапку и почесывая в за-
ылке сказал:

— Похоже, что перестаёт. Теперь и до станции пустое осталось. Едем что-ли, ваше благородие.

Лермонтов послушно вслед за ним вышел из избы.

Дождь перестал, но небо было пасмурно. Мрачно чернела намокшая дорога. Андрюшка платком вытирал в тележке сиденье и укладывал подушки. Сразу охватило какое-то беспокойство и нетерпение.

Ну, ну, пошел!

Андрюшка вскочил на облучек, ямщик подобрал вожжи, цыкнул. Колеса заскрипели по мокрому песку тяжело.

К памяти навязчиво прилипла и не хотела отставать черная курящаяся дымом куча прелой прошлогодней листвы.

После дождя стало прохладно. Он плотнее закутался в бурку, вытянул ноги, еще ниже спустился на сиденье. Сон, разгоняемый толчками тележки, путаница лениво переплетавшихся мыслей подходили, словно крадучись. Самому себе было неловко и не к чему говорить, что он пострадал, что его высылают, что впереди только пустота и смерть. Бабушка, прощаясь, крестилась со слезами и говорила:

— Не отчаивайся, Мишенька, помни, что у тебя есть старая, старая, у которой кроме тебя и на свете нет ничего, твоя бабушка. Все, мой родной, сделаю, никого в покое не оставлю. Авось, уважат старуху. Ведь сказал же Александр Христофорович, что это только на время, только пока. Нужно дать утихнуть этой проклятой пушкинской истории. А там он сумеет доложить во-время, вернуть тебя, милый. Это ты знаешь. Да и там он написал кому надо, в опасное место тебя не пошлют.

Думать о чем-либо было скучно и утомительно. Закрыл глаза. Черная куча прелых слежавшихся листьев тлела не разгораясь и не уменьшаясь в размерах. Дремота одолевала тряску езды и неудобную позу.

Во сне — Варенька Лопухина — почему она замужем, почему ему ничего не известно об этом? — Шла не замечая, не видя его, к какой-то стене. Он видит, ясно видит длинную тонкую иголку воткнутую в стену. Варенька идет прямо на нее, иголка блестит на солнце, но она не замечает, не знает, что она обязательно должна наткнуться на нее. Вот еще только один шаг... У него словно слиплись губы, он не может раскрыть рта, не может предостеречь, остановить ее. В ужасе хочет броситься, схватить ее, удержать. Ноги словно приросли к полу. Крик, мучительно и трудно вырвался из горла. Он проснулся. Первое, что бросилось в глаза, был черный двуглавый орел на здании почтовой станции. Облупившиеся колонны деревянного портика потемнели от дождя. В стороне вываживали взмыленную и тяжело дышавшую тройку. Около громоздкой дорожной кареты, готовой тронуться, суетилась прислуга. Из кареты сквозь опущенное окно слышался сердитый голос. Смотритель стоял на крыльце, держа фуражку в руках. Ямщик, успевший уже соскочить с облучка, кланялся и просил на водку.

— Варенька, Варенька, я еду, меня ссылают, — ему показалось, что это у него вырвалось еще во сне.

Он проворно выскочил из тележки и подбежал к смотрителю. Тот довольно равнодушно развел руками.

— Придется, подождать. Сейчас все лошади в разгоне. Последнюю пару только что отдал.

Лермонтов закричал и затопал на него ногами.

Черная прелая куча все еще тлела, не уменьшаясь и не убывая.

Не сгорела она и на Кавказе.

В Пятигорске старинный его знакомый, товарищ еще по Московскому благородному пансиону Сатин познакомил его с Белинским. Лермонтов даже слегка волновался,

вступая с ним в разговор. Но Белинский с таким жаром говорил обо всем, казалось, совсем или не понимал, или не замечал, с каким видом его слушают. Он напомнил Лермонтову Святослава и это-то неуловимое, но несомненное сходство вернуло спокойную уверенность. Как истый гусар, со снисходительной небрежностью он откликался на любое замечание своего собеседника, изо всех сил старался его вышутить. Серьезность Белинского его раздражала. А тот, как будто не замечал, что над ним смеются, говорил и говорил. Но, наконец, взорвало и его.

— Да, я вот что вам скажу о вашем Вольтере,— с веселым смехом заявил Лермонтов. — Если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Белинский побледнел, остановился, с минуту смотрел на него растерянно и удивленно и тихо сказал: «это не оригинально, также у Грибоедова и Скалозуб выражается».—Схватил свою фуражку и, едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился веселым смехом.

— Недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость, — бросил он Сатину.

На другой день Белинский возмущенно говорил последнему:

— Пошляк, ах, какой пошляк! И чего зазнается, подумаешь. Написать несколько удачных стихов, вот важность, от этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком.

Разумеется, Сатин этого Лермонтову не передавал, но тот и так очевидно подозревал что-то подобное, потому что при первой же случайной встрече с Белинским поклониться ему не нашел нужным.

В полк он прибыл, когда летние военные экспедиции
ли окончены. Зимняя стоянка армейского полка, да
де в такой глуши, конечно, после Царского могла
лько пугать. Он попросился, ему не препятствовали,
за два с половиной месяца он объездил весь Кавказ,
ю линию от Кизляра до Тамани.

Осенью на Кавказ ожидали государя, в сентябре
пришлось вернуться в полк, готовящийся к высочай-
ему смотру.

Четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка
Николай смотрел в Тифлисе и остался ими недоволен.
Бенкендорф сдержал данное старухе Арсеньевой обеща-
ие: на другой же день после смотра, одиннадцатого
ентября, последовал приказ:

> Переводится: в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк прапорщик нижегородского драгунского полка Лермонтов корнетом.

Прошлогодняя перепрелая листва дымилась и не
горала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Первый раз забеременела Надежда Федоровна только на четвертом году замужества. Это событие было для нее самой настолько непонятным и неожиданным, что и мужу она решила сказать лишь неделю спустя, когда уже стал привычным непрекращающийся и тонкий звон в ушах, когда уже никак не пугали всегда внезапно и без причины холодевшие на руках и ногах пальцы. Фраза, которую она придумывала целых три дня, каталась в мозгу, как ртутный шарик, никак не давалось произнести ее, слова сжимались в маленький и увертливый комок. От удивленного, — ей показалось, испуганного, — взгляда Самсонова еще ниже опустила голову. Заколебавшаяся бахрома скатерти вызвала в памяти утомительную картину ржаного колосящегося поля. Тишина напряглась таким мучительным звоном, что у ней заломило в висках. Глаза подняла она с трепетным ожиданием ужасного. Вероятно, прошло только мгновение, но ей показалось, что Самсонов смотрел на нее таким испуганными заледенелым взглядом всю жизнь. До боли сжалось сердце при мысли, что он красив, так красив, как бывают красивы только мелькающие в сновидениях лица. Лед голубых и испуганных глаз растекался, холодной водой заполнял все пространство. Искажались и расплывались черты лица мужа, предметы за его спиной. Падение в ледяную бездну

ло бесконечным. Очнулась Надежда Федоровна у себя
пальне на кровати. Сильно пахло уксусом и нюха-
ными солями. Андреевна прикладывала к голове
моченное в холодной воде полотенце. Муж сидел рядом
краю кровати, осторожно и с нежностью поглаживал
руку. Лицо у него было кроткое и страдальческое.
на с отвращением поспешно отвела руку. Как будто
рту мешала непроглоченная пища, не нашлось сразу
драженных и резких слов, чтобы высказать всю
кипевшую ненависть. Он встал, улыбнулся покорно
талко и, не сказав ни слова, вышел.

Ненависть и раздражение не пропали. Наоборот,
каждым днем они делались неизбывнее и острее.
Когда Надежде Федоровне казалось, что один вид мужа
жет привести ее в неистовое бешенство. Теперь он
де реже, чем раньше, бывал дома, к ней заходил только
равиться о здоровье. Невозмутимость и спокойствие
о стали невыносимыми. Так продолжалось почти месяц.
том вдруг Надежда Федоровна сделалась совершенно
всему равнодушной, и так же, как некогда раздражали,
ели теперь знаки внимания со стороны мужа, все
ще и чаще она просила его подольше побыть с нею.
де через месяц жизнь уже шла тем же утомившим
прискучившим чередом, каким она протекала и до
го. Если бы не повышенная требовательность и раз-
жительность Надежды Федоровны, еслиб не ее частые,
гда беспричинные теперь и нелепые капризы, можно
ло бы и забыть о ее положении.

Роды были мучительные и трудные. Только на ше-
й день Надежда Федоровна стала узнавать окружаю-
х, попросила позвать к ней мужа.

В белом кружевном чепце, с обострившимися чертами
ного исхудавшего лица, она показалась Евгению Петро-
чу совсем незнакомой, но страшно близкой и родной

маленькой страдающей девочкой. Сердце мучительно сжалось от жалости и любви. Он наклонился, осторожно коснулся губами ее лба. От взгляда по-детски доверчиво посмотревших на него глаз захотелось плакать. Слова: «Евгений, самый мой дорогой, самый любимый» — он скорее понял, чем расслышал. Тихо опустился на колени около кровати, гладил и целовал бессильно свесившуюся руку.

Надежда Федоровна говорила слабым прерывающимся голосом:

— ... Ведь это только от того, что у нас не было ребенка, нам было так нехорошо. Теперь уже так не будет. Правда? Милый мой, как я люблю тебя, как я счастлива...

Евгений Петрович, с трудом подавляя слезы, мягко остановил ее:

— Тебе нельзя еще много говорить. Помолчи, Наденька, помолчи, дорогая...

Она обиженно отвела глаза:

— А на него ты даже не захотел взглянуть. Ведь он и твой тоже, твой ведь.

Последнее она произнесла совсем неслышно, одними губами.

Евгений Петрович вздрогнул, как будто в самое сердце ударили тяжелым и твердым. Он медленно поднялся с колен, подошел и заглянул в колыбельку.

Сперва пышная пена кружев и полотна как корзина, полная скомканного белья, вызвала только холодное недоумение, потом, когда кормилица осторожно разобрала и откинула покрывало... вид крохотного, как уродливая и невыразительная карикатура, личика, с красной, словно вымоченной кожей, заставил, брезгливо поморщившись, отвернуться. Сразу стало противно до отвращения. Умилению и нежности, так внезапно охватившим

о, подходил конец. А она, словно этим мгновением
лько и разрушилась плотина, сдерживавшая целых
ря года признания, доверенность, нежность, торопливо
перескакивая с одного на другое, говорила и говорила.

— Я уйду. Тебе нельзя волноваться, — сказал он
ло и равнодушно, уже попрежнему улыбаясь холодной
чужой улыбкой. — А то все равно, пока я здесь, ты
дешь говорить.

Память о той, страшной ночи их первого нового
да оставалась непобедимой.

В гостинной к нему подошла невестка, жена стар-
его шурина Алексея.

— Et voila Eugene, maintenant vous etes vraiment
eureu.

Он посмотрел на нее так, как будто она смеялась
а похоронах. За улыбку хотелось ее ударить...

А она и ее муж, правда и раньше считавший своей
бязанностью после смерти тестя опекать Самсонова,
теперь ни на минуту не оставляли его.

— Нужно взять себя в руки, — твердил Алексей
Федорович. — Мужчине не подобает впадать в такое
тчаяние. Поправим Надю и заживете опять попрежнему.
Вот и доктор Мандт говорит, что опасность теперь уже
миновала. Может, потом нужно будет отправить ее, чтобы
пользовать водами. Но это потом...

— На Кавказ? — кисло усмехнулся Евгений Петро-
вич. — Я не император, чтобы ссылать так далеко.

— Да, нет же, я знаю, что тебе одному не по сред-
ствам такое путешествие, — поспешил объясниться
Львов, — но мы все сложимся, как-нибудь да устроим,
раз это необходимо.

— Я не про то, — досадливо передернулся Самсо-
нов.—Вспомнил, что на Кавказ и не только за здоровьем,
но и за провинности посылают. Вон Лермонтова опять

за дуэль с Барантом туда ссылают. А деньги—что? Ведь это еще не сейчас, достану, устрою.

Львов помолчал. Потом, видя, что лицо его зятя не проясняется, заговорил, стараясь отвлечь от тяжелых мыслей.

— Вот, Евгений, вчера я был во дворце, учавствовал в обычном нашем интимном концерте. Ты не можешь себе представить государя в семейной обстановке, это такой исключительный семьянин, муж, отец...

По лицу Самсонова пробежала мучительная судорога.

— Ты что, хочешь рассеять меня? — резко перебил он шурина. — Напрасно.

И, круто повернувшись, вышел из комнаты.

Напоминание о том, что и он теперь отец, что у него есть теперь новые какие-то обязанности, вызывало досаду и раздражение. Он очень хотел бы забыть об этом, но забыть было трудно: напоминали каждый и всякий.

Бенкендорф на первом же докладе, сморщив дряблые щеки, прожевал тоскливую улыбку.

— Поздравляю, mon cher, поздравляю... Очень рад за тебя... Теперь с сыном...

Бенкендорф был физиономист. Поэтому он тотчас же оборвал свое поздравление и, как ни в чем не бывало, заговорил о другом.

— Да, mon cher, знаешь ли — ошибся я в Лермонтове... Вон, ведь, опять какую пакость учинил, и вредный, ведь вредный какой оказался... Я раньше, помнишь, здесь же с тобой говорил, думал, что шалопай только, подрастет—исправится. Сам хлопотал за него у государя, по моему ходатайству и с Кавказа и в свой полк обратно вернулся... Я ради бабки его это делал: очень достойная и благочестивая старушка... Ее жалко... Но теперь баста, в гвардию уже не вернется и отставочку тоже не скоро,

скоро себе выслужит... Пусть там на Кавказе просве-
тится, как следует, вредный дух там из него выдует.
гордел, возмечтал о себе невесть что, осуждает...
Если бы только за это Лермонтов терял у Бенкендорфа
прежнее расположение, это было бы вполне спра-
дливо.

Осуждал, осуждал даже и то, что по мнению и са-
го Бенкендорфа, не стоило ни размышлений, ни рас-
ждений.

В тот самый день Лермонтов был у Карамзиных
прощальным визитом. Вечером он покидал Петербург.

За окнами мягко светилось апрельское бледно-зеленое
бо, над Невою, над голыми черными деревьями Лет-
го сада бежали быстрые, кудрявые облака. Он засмо-
лся на них, как завороженный.

— Хорошо, как хорошо, — прошептал с глубоким
тихим вздохом.

У него был такой мечтательно растерянный вид,
но никто не решился спросить, что же собственно
к хорошо. По лицу бродила неловкая смущенная
ыбка. Так жалко себя не было еще никогда. В памяти,
к эти быстро плывущие облака, проносились лица,
стречи, слова, какие-то выпавшие из своих дней часы
минуты.

Селищенские казармы в Новгородском округе военных
селений — место стоянки Гродненского полка — мутная
к от сорванного банка, досада, похожая на раскаяние,
оль: не остановился, переврал карту. Потом Петербург,
своем самодовольствии оскорбительно и упорно не
елавший его замечать.

Сжалось вдруг сердце болезненно и тоскливо.

«Ваше императорское высочество, признавая в полной
ере вину мою и с благоговением покорялась наказанию,
ложенному на меня его императорским величеством,

я был ободрен до сих пор надеждой, усердной службой загладить мой проступок, но получив приказание явиться к господину генерал-адьютанту, к графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью.

«Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил в воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести, но теперь мысль, что его императорское величество и ваше высочество может быть разделяете сомнение в истине слов моих...»

Было тяжко и унизительно сознавать, что он написал это письмо, на которое не последовало ответа, еще унизительнее помнить, что одну минуту даже подумал:

— Ну и ладно. Пусть хоть прочтет только, и то хорошо.

Заключительная строчка: «вашего императорского высочества всеподданнейший Михаил Лермонтов Тенгинского пехотного полка поручик» даже и сейчас переполняло сердце горечью и от этой горечи оказалось невозможным подавить вздох отчаяния и обиды. Со вздохом отвернулся от окна, неловко и виновато улыбаясь, попросил у хозяев листок бумаги.

— Знаете, хочется записать. Строчки какие-то в голову лезут.

Через десять минут читал глухим, словно надорвавшимся голосом:

Тучки небесные вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужной...

Когда окончил читать,—в глазах стояли слезы.

II.

Пятигорск,
Июля 24 (1840).

«Милая бабушка. Пишу к вам из Пятигорска, куда я ...ять поехал, и где пробуду несколько времени для ...ыха. Я получил ваши три письма вдруг и при том ...магу от Степана на счет продажи людей, которую ...до засвидетельствовать и подписать здесь. Я это все ...есь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу ...рафини Растопчиной; пожалуйста, тотчас же после ...олучения моего письма, пошлите ее мне сюда в Пяти...орск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне ...олное собрание сочинений Жуковского и пошлите ...акже сюда тотчас. Я попросил бы также полного ...Декспира по-английски, но не знаю можно ли найти ...Петербурге; препоручите Якиму, только, пожалуйста, ...скорее. Если это будет скоро, то здесь меня еще ...застанет.

«То, что мне пишете о словах г. Кленмихеля, я пола...ю еще не значит, что мне откажут отставку, если ...подам: он только просто не советует, а чего мне здесь ...ще ждать. Вы бы хорошенько спросили только, выпу...тят ли, если я подам.

«Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; ...елую ваши ручки, прошу вашего благословения и ...стаюсь покорный внук М. Лермонтов».

Чернила высохли на бумаге почти мгновенно. Руки, ...ловно к пальцам были привязаны гири, едва-едва ...игались.

Был еще ранний час, но день уже изнемогал от зноя. ...емля, горы, потрескавшаяся серая дорога дышали нестер...имой жарой. Ветер едва мог пошевелить занавеску

окна и был так горяч, будто вырывался из печки. Под потолком сонно и недовольно жужжали мухи.

Он потянулся, зевая.

Вид зеленой, в черных оползающих плешах, заслонившей собою окно, Машухи нагонял лень и тоску. Жара мешала думать. Он крикнул, чтоб давали одеваться.

По утрам у Елизаветинского источника собиралось все «водяное» общество. Там можно было узнать все местные новости, встретить знакомых, познакомиться с незнакомыми. Узкая ухабистая дорога, неизвестно по какой причине называвшаяся улицей, привела к источнику. У источника на площадке перед каменной из серого песчаника галлереей озабоченно расхаживали, ожидая действия вод, три полных и пожилых дамы. В тени на каменной скамейке с унылым скучающим видом сидело несколько военных и штатских. Два офицера были на костылях, у одного рука покоилась на перевязи. В стороне от них, прислонясь к каменному выступу галлереи, стоял высокий и статный брюнет в сюртуке без эполет и в белой фуражке. В крутых кудрях уже заметно пробивалась седина, но лицо у него было свежее и молодое. Лермонтов, еще издали приветливо улыбаясь, козырнул высокому брюнету.

У того улыбка едва шевельнула густые на кавказский манер запущенные усы. Впрочем, руку он протянул с живостью и как бы обрадованный.

— Здравствуйте, здравствуйте, Лермонтов. Очень рад вас видеть здесь не на костылях и не с подвязанной рукой. Право, вам должно чертовски везти, если вас так скоро уже отпускают к водам.

Лермонтов попытался изобразить на лице страдальческую гримасу.

— Не совсем уже так, господин полковник. Проклятые ревматизмы и вот...—он схватился за бок,—первi-

ские боли. Нет, я решительно и в этом несчастливее
ми господ.

Полковник, словно он только сейчас их заметил,
оглядел на раненных офицеров, лицо осталось таким же
невозмутимым, равнодушным, сквозь улыбку мелькнули
белые зубы.

— Серьезно. У меня такое впечатление, что репети-
руете предстоящий разговор с какой-то дамой.

— Вы почти угадали,—рассмеялся Лермонтов.—Что
делать, если здесь на Водах самая великая милость
судьбы—роман с приезжей провинциалкой. Но только,
Константин Карлович, это просто так, вне всяких пред-
видений, одна дурная привычка, да, потом что же
еще прикажешь делать, когда от жары мозги отказываются
работать.

У полковника улыбка опять спряталась в гуще усов.
Он пристальным неотрывающимся взглядом посмотрел
в сторону ванного домика. Теперь около него появилось
еще новое лицо и туда были устремлены взоры скучав-
ших на скамейке и штатских, и военных.

— По моему, Лермонтов,—сказал он,—это относится
к вам. Вряд ли мои седины стоют того, чтобы их так
пристально лорнировали.

Лермонтов со скучающим недовольным видом повер-
нул голову.

Солнце в один ослепляющий блеск слило и песок
площадки и белую стенку домика. Из этого блеска,
из неподвижно застывшей глади расплавленного сияния
не смотрели, а плыли глаза. Глаза были первое, что он
отметил, запечатлел в памяти. Большие и серые, они
были так лучисты, так светлы, что тот, кому они при-
надлежали, не мог, не должен был быть обыкновенным
человеком. Даже длинные черные ресницы не гасили
этого сияния. Вода в горном ручье, дамасская сталь

Георгова кинжала, предрассветный, наливающий светом воздух могли светиться похожим сиянием. Он отвернулся. Взглядом успел схватить, отметил и оценил мягкую, чуть тронутую ранним увяданием, округлость форм, маленькую, обутую в парчевой бронзовый туфель, ножку. Несомненно, эта дама была одета с изяществом отменным и строгим, достойным лучшего и места, и общества.

— Кто это? Я не знаю,—небрежно проронил Лермонтов.

Его собеседник улыбнулся хитро и значительно.

— Жена своего мужа. А муж не то путешественник, не то дипломат, француз Гоммер де-Гель. Во всяком случае не похоже, чтоб она пребывала здесь с лечебными целями. Вот вам и случай проверить на деле всю привлекательность ваших страданий.

— Это утомительно, Константин Карлович, боюсь, что слишком утомительно,— как бы не хотя, вымолвил Лермонтов, но пройти вместе с ним мимо незнакомки не отказался.

Глаза у полковника улыбались мягко и недоверчиво.

В Ставрополе ожидая своей дальнейшей судьбы,— направляться ли в один из трех, находившихся в резерве, баталионов или получить назначение в действующий отряд, — Лермонтов приметил полковника в мундире того же Тенгинского полка, в котором теперь предстояло служить и ему, бывшему лейб-гусару. И покрой платья, и манеры, и та независимость, с которой держался этот полковник, изобличали в нем истинно светского и незаурядного человека. Лермонтов спросил: «Кто это»? Ему ответили: «бывший инженер — подполковник Данзас; сослан за участие в дуэли».

У него напряженно и трудно наморщились брови, что то напоминавшее самодовольное торжество перехватило дыхание.

Секундант последней, трагической дуэли Пушкина
е ту же кару, что и он, легкомысленный и дерзкий
лант. Он поспешил представиться. Казалось, что тот
временно сойдется с ним, поймет его и оценит: ведь,
жет случится, и служить-то будет у него в батальоне.
скорбительным холодом пахнуло от любезной и мягкой
ыбки. Данзас не удивился, не обрадовался, даже
попробовал высказать внешне обязательного для
тского человека преклонения и уважения перед его
лантом. Ведь не мог же он в самом деле не знать,
о такой Лермонтов.

— Вы не совсем правы: не по собственной воле
да приводят не равные заслуги. А рисоваться этим,
это считает для себя обязательным любой армейский
ндрик, изо всех сил старающийся представить себя
беспокойного для правительства человека.

Странно, всякого бы другого Лермонтов за эту
разу возненавидел, а от Данзаса он принял ее сму-
нно и покраснев, как провинившийся школьник. Еще
лее странно, что она не положила начала непри-
зни, не сделала его враждебным и непримиримым.

Сейчас он почти обрадовался этой неожиданной встрече,
вместе с тем с первых же слов так же, как тогда в Став-
поле, чувство тягостное и напряженное охватило его.

Мадам де-Гелль рассеянно посмотрела на них. Взгляд
рых глаз опять вызвал в памяти предрассветное
гкое задумчивое сияние. Других таких глаз он не знал
же помнил, но необъяснимое волнение, какое почув-
овал при их взгляде, казалось утверждало несомненно:
же однажды таким взором решалась жизнь».

Данзас, чуть сжав локоть, шепнул:

— Вы только третий день в Пятигорске, а мне уже
ворили, что эта дама весьма интересуется вами. Гор-
тесь, ваша слава дошла и до Кавказа.

У Лермонтова чуть дернулись углы губ. Они отошли всего только несколько шагов от прекрасной незнакомки, но он чувствовал на затылке ее пристальный не отрывающийся взгляд. Казалось, сейчас она должна смотреть с жаждой и отчаянием. Он даже и украдкой не попробовал оглянуться. Походка становилась все небрежнее и развинченнее. Из боковой аллеи от успевшего уже зачахнуть в лучах палящего солнца шла навстречу им какая-то пара. Неинтересный, курносый и прыщеватый юнкер нес с торжественно тупым видом кружевную мантилью голубоглазой и стройной дамы. Дама шла по крайней мере на два шага впереди его. Лермонтов словно подтянулся.

— Простите, полковник.

Он торопливо пожал руку Данзасу и устремился к этой паре.

— Нет, она положительно недурна. Почему я раньше никогда не замечал этого, — подумал, гася в глазах торжествующую усмешку.

— Надежда Федоровна. Как не дивиться судьбе: вдруг, здесь, на Кавказе, за тысячи верст от столицы, где жили мы оба и не видели друг друга столько лет.

Дама даже отступила на шаг назад. Юнкер смотрел с досадой и тупо и, очевидно, не зная, что ему делать дальше, замер на месте.

— Чему приписать такое прояснение вашей памяти, м-сье Лермонтов? Вчера я была лишена этой чести.

Улыбка такая же невинная, как и ее глаза, слетела с ресниц. Она посмотрела на него ясным, по-детски открытым и доверяющим взором.

— Исключительно вашей рассеянности и невниманию к моей скромной особе. Вчера вы даже не удостоили меня взглядом, как я ни добивался этого.

— И вы, робкий юноша, — поспешно и с иронией подхватила она,— не решились даже поклониться, столкнувшись лицом к лицу.

— Только похоже. Потому что вчера вы вероятно приняли за меня кого-то другого. Ведь здесь на Кавказе для красивой женщины мы все одинаково безразличны, — не улыбнувшись и со вздохом быстро отпарировал Лермонтов.

Сероглазая незнакомка должна была видеть все оттенки игры на его лице. О, конечно, она разглядит, что это даже не увлечение.

— Но Самсонов... — радостное возбуждение помешало даже про себя высказать эту мысль до конца.

III.

Вечером в местной ресторации давали бал. Все съезжавшиеся на «воды» считали своим долгом присутствовать там. По углам и возле буфета скучали почтенные и добродетельные папаши и мамаши. Молодежь, поднимая пыль с плохо подметенного и неровного паркета, кружилась в танцах. Кавалеры преимущественно были штатские. Военные допускались только в мундирах, а где взять мундир офицеру, отпущенному из экспедиции на какую-нибудь неделю. За раскрытыми окнами чернели купы деревьев и пышные шапки кустарников. В полосе падавшего света к окну тянулись головы в военных фуражках. Лишенные возможности принять участие в танцах развлекались, перебрасываясь через окно замечаниями и шутками.

Надежда Федоровна давно уже заметила большие выразительные глаза, жадно пожиравшие ее каждый раз, когда она проходила мимо окна. От их взгляда ей делалось беспокойно и как-то — чуть-чуть по-страшному — томительно.

— С кем вы танцуете мазурку? Надеюсь, со мной?

Она вздрогнула и покраснела от звука этого голоса. Под окнами раздался смех. И раньше чем она могла дать себе отчет, что это значит, ропот удивления в зале и шумные аплодисменты снаружи об'яснили ей дерзость поступка.

Лермонтов уверенным, даже как будто небрежным, шагом прошел через всю залу. Его армейский без эполет сюртук вызвал шумные восклицания восхищения одних и негодования других. Ни капли не смущаясь, он подошел к ней.

— И так... я вас пригласил.

Ей показалось, что он своим взглядом погасил ее взгляд. Как в табачном дыму, расплывались и исчезали лица, во всем зале были только одни глаза, живые и выразительные, сейчас они весело и уверенно смотрели на нее.

Живая подвижная брюнетка с большими серыми глазами посмотрела на них, да на них ли — на него только, с восхищением: это тоже вырвалось из тумана. Надежда Федоровна прочла в этом взгляде только зависть. Вступили в круг и они, и сероглазая брюнетка со своим кавалером, почти одновременно.

— Demain nous serone a memes heure déjà au Kislowodsk,— долетело до слуха Надежды Федоровны, и ей показалось, что у ее кавалера настороженно сдвинулись брови.

Он прошел с ней тур мазурки, довел ее до места и, чуть коснувшись губами кончиков пальцев, так же невозмутимо, как появился, промаршировал к выходу.

Гром аплодисментов и за окном, и в зале приветствовал его поступок.

— Oh, c'est plus que le brave, — восторженно проговорила рядом мадам де-Гелль, и опять Надежда Федо-

овна почувствовала от этих слов беспокойство и обиду.

— Проводите меня, я хочу домой, — бросила она молчавшему с безнадежным терпеливым видом юнкеру.

Синяя густая тьма сперва расступилась, потом сжалась, утопила ее в себе. Этого пожатия, этого мгновенного и легкого поцелуя руки она ждала. Она чуть пожала эту руку, удержала ее в своей. Горячее дыхание коснулось ее щеки. У ней закружилась голова.

Свет, вырвавшийся из раскрытой в этот момент двери, открыл Лермонтову удивленное и наивно расстроенное личико. Глаза казались полными слез.

— Кто научил ее так целоваться? Неужели Самсонов? — мелькнуло в голове.

— Завтра — неправда-ли? Я увижу вас днем у источника, — услышал он взволнованный и задыхающийся вопрос.

Его голос свял сразу. Ответил устало и с досадой:

— Завтра я с утра уезжаю в Кисловодск.

IV.

На решетке за окном завивался плющ, сквозь него светилось густое вечернее солнце, и тень от пирамидального тополя перемещалась на дороге, как часовая стрелка. В комнате потемнели, из золотых сделались бронзовыми, солнечные пятна на стене. В наступившей паузе было слышно, как жужжат мухи, — казалось, чтобы заполнить это молчание, нужно такое количество слов, какого никогда не собирается в памяти. Мадам де-Гелль смотрела вопросительно и ожидающе. На ее кружевах,—она так и осталась с утра неодетой, — желтыми полосами отметился закат. От этих ли полос, от вечернего ли густого света, переменилось лицо, стало

новым и неприятно чужим. Лермонтов стоял у двери. Пульс дробными неровными ударами расчитывал минуты. Один, два, три, бесконечное количество ударов, чтобы одолеть одну только минуту. Минуты, как подавленный в груди вздох, не проходили...

Он медленно снял руку с ручки двери, нерешительно шагнул в ее сторону. Она как будто даже не старалась разглядеть его лицо, проговорила жесткой и трудной улыбкой:

— Почему? Снова и снова «почему». Неужели вы не понимаете, что спрашивать это, — она остановилась, подыскивая слова, — даже и не бестактно?

Он поднял голову. Грустные глаза глядели виновато.

— Глупо.

— Да, если вы сами сказали это, то глупо. Счастье что вы можете хоть признаться, когда поступаете глупо.

Он перебил ее с настойчивостью капризного ребенка.

— Жанна, я не умею и не умел говорить просто, я не знаю, как говорят на языке сердца. Никого еще, а тем более женщину, я не уважал и не ценил так, как вас, да и вообще я еще никого и никогда не уважал на свете. Мне трудно, очень трудно, но я не могу не сказать вам это, не могу уйти так. Жанна, мне тяжко, так мучительно тяжко, как никогда не бывало в жизни...

— Я это уже слышала.

Он ждал не этого тона, не этой фразы. По лицу пробежала короткая судорога. Вздох протащил за собой слова.

— Одно это стоит другого прощания.

— Слушайте, сумейте оценить и такое. Не много женщин вам скажут, что они слишком плохи для того, чтобы любить вас. И потом, потом...

Он ждал с трепетом этого волнения. Жанна пере-ла дыхание, закончила холодно и резко.

— Я вам уже сказала — я ошиблась. Понимаете, ошиблась. Напоминание о моей ошибке мне тяжело. По-тому я не хочу вас больше видеть здесь. Потом, может, этом это изгладится, вы знаете, как я высоко ценю ш ум, ваше дарование... Если бы вы могли приехать, , хотя бы даже в Крым, кто знает, среди иных людей, обстановке, не напоминающей каждой мелочью этого есяца, я, может, и смогла бы разговаривать с вами не ак. Но сейчас...

Она смолкла, почти ласково взглянула в глаза.

— Не печальтесь... Ну, не надо печалиться, малень-ий... Ну, о чем? У вас целый месяц была хорошая лю-овница — разве это плохо. Нужно приучаться благода-ить судьбу за те маленькие радости, которые она нам осылает и не проклинать ее, когда она их отнимает. потом...

— Что потом?

— Ну, вам же будет совсем не скучно. У вас ведь сть эта, ну, как ее, петербургская франтиха.

— Самсонова, — подсказал Лермонтов.

— Да, да, мадам Самсонова. Согласитесь, что она очень мила.

Он перебил ее нетерпеливо и с досадой.

— Мне и счастье-то представляется только в памяти о детстве. Увы, оно не повторимо. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет отроду. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я не помню, хороша собой была она или нет, но ее образ до сих пор еще хранится в моей памяти Один раз, помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкоси-лись. Я тогда ни об чем не имел понятия, — тем не

менее это была страсть сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь, с тех пор я еще не любил так. Тогда же я стал мечтать о дружбе. Она представлялась мне такой бесконечно могущественной, что никакие силы мира не смогли бы ее уничтожить. Друзей у меня никогда не было. И вот сейчас... — он задыхался, растерянно и словно с испугом оглянулся кругом... — Сейчас мне сказали, что их у меня и не может быть.

И вдруг заторопился. Порывисто вскочил с кушетки, ткнулся губами в протянутую руку и поспешно, не оглядываясь, выбежал из комнаты...

Солнце почти уже скрылось за низкой грядой покрытых зеленью гор. На востоке горная цепь светилась бледно-розоватым отблеском. Как едва занимающаяся заря, горели снега. Ниже от них исходил серый холодный блеск, он таял и сливался с сумерками, уже кутавшими горные подножья. Лермонтов снял фуражку. Лицо горело. Словно он первый раз был в этом городе, остановился, не зная, куда идти дальше. В душе, как изжога, поднималась мучительная, изводящая пустота.

Надо ехать в отряд. В отряд, — настойчивая не отвязывалась мысль.

— А если б она видела меня сейчас. — сказал он вслух и усмехнулся.

Она видела.

Едва закрылась за ним дверь, она другим, словно ожившим движением, вскочила с кушетки, подбежала к окну, оперлась плечом о косяк и отошла только тогда, когда сутулая, в длинном темно-зеленом сюртуке, фигура скрылась совсем из глаз.

На столе лежал кожанный дорожный бювар. Она раскрыла его, взяла листок начатого письма. Вверху справа аккуратным почерком было написано: Kislowodsk.

Глаза бежали по строкам, читала слова, но фразы не
ржывались в памяти, рассыпались, будто они были
аны из песка. Мадам де-Гелль ладонями сжала виски,
ела к столу, с минуту боролась с собой. Потом
ело вздохнула и аккуратно в строчку, от того места,
обрывалось начатое, стала писать:

«... На пятый день мой муж приехал из Пятигорска,
с ним поеду в Одессу совершенно больная.

«Из Одессы я еду в Крым, куда меня зовут Нарыш-
ны. Пиши в Ялту.

«Я правды так и не добилась. Лермонтов всегда и со
ми лжет. Такая же система. Все знакомые, имевшие
ним сношение, говоря с его слов, рассказывали все
ное. Обо мне он ни полслова не говорил. Я была
нута и ему написала очень любезное письмо, чтобы
благодарить его за стихотворение, которое для рус-
го совсем не дурно. Я обещала ему мои стихи, кото-
е у меня бродят в голове, с условием, однако, что
за ними приедет в Ялту».

V.

Казак в замасленном рваном бешмете, тащивший на
че пустой боченок, посмотрел на него с удивлением.
йдя два шага он остановился, обернулся назад.

— Ай, потерял что, ваше благородие?

— Да, да, братец, потерял. Вот только искать в Пя-
орск надо ехать.

Казак поправил на плече ношу, подумал и резко
нув головой, сказал:

— Ну, так оно и выходит. Не иначе, как ко мне
и бы пришлось. Теперь окромя меня во станице ни
кого коня не достанешь. До утра, чай, на станции
ать-то не будете?

— Не буду.

— Ну так, пойдемте. До Ессентуков я могу дать коня. Отчего не дать, когда человеку ехать требуется, дать можно.

Казак видимо был пьян. Он шел и все время повторял одно и то же: «отчего не дать, когда человеку нужно», хвалился, что у него одного только и есть подходящий для этой цели конь.

— Да как же, ты сам посуди, ваше благородие—станица кругом гнилая, одна беднота. Гора, да гора — ну, что тут будешь делать. И опять еретиками уже который год записаны. Выселяйтесь, мол, что начальство-то, в старой вере говорит, останетесь, а коли — нет, всех в православие, и моленной крышка. Ну, и переселились. А коня я дам, ты, ваше благородие не беспокойся, дать можно, отчего не дать...

О коне пришлось торговаться упорно и долго. Цену он заломил совершенно невозможную, и когда наконец сговорились, когда наконец можно было требовать, чтобы подавали коня, казак только осклабился на его нетерпеливые понукания.

— Эн-а. Конь, чай, в горах, сейчас только малый пошел за ним. Ты чихирю пока выкушай, ваше благородие, такой чихирь лучше кахетинского будет.

Мутный, теплый чихирь, казалось, только со спазмою мог пройти через горло. Казалось, что и тошнота-то наступит раньше, чем опьянение.

— Не—то, не то—тоскливо и надоедно моталось в голове.

Пересиливая себя, Лермонтов морщился и прихлебывал из стакана мутноватую жидкость. Любимый, оправленый в камышинку карандаш нервно подрагивал и вертелся в пальцах.

— Что я делаю? Хозяйскую скатерть мажу,— с улыбкой поймал он себя и спрятал в карман карандаш.

На скатерти рядом с наброском женской головки
ковались вырисованные два французские: Н. Н.
Он увидел их не сразу, а увидев, удивился, как будто
кто-то другой пытался ими разгадать его мысли.
лонявил палец, крепко потер испачканное место на
терти. Буквы не стирались.
— Только узнать бы. А это что: пройдет и забудется,—
мал с тоской и раздражением.
И сейчас же поймал себя, что важно вовсе не узнать,
ается совсем не от этого. Унылая и мертвящая злоба
себя, на весь мир, на судьбу, как чихирь, даже
альцах проступила холодом. Стиснул руки так, что
стнули пальцы. Как ужаленный вскочил с лавки,
ергиваясь и ежась, прошелся по горнице.
— Ну, что же твой малый?
— Пришел, сейчас седлать будет.
Лермонтов круто повернулся и снова опустился на
ку.
Мир, как эта низкая хата два шага — и ты уже
рся лбом в стенку. И так же, как в это маленькое
зное оконце, скупо цедится меркнущий вечерний свет.
Когда выезжали из станицы, последние косые лучи
нца, вырвавшись из-за гор желтыми холодными поло-
ми, испестрили дорожную пыль. Перед Пятигорском
за горы навстречу поднялась набухшая и бледная,
вно вымоченная в вине, выщербленная луна. Внизу
олине переливающимся серебристым сиянием зажглись
гавшиеся в зелени черепичные крыши. В редких
нах желтым маслянистым пятном теплился поздний
т. Расплывчатые силуэты домов и деревьев, как тень,
ересли себя. Теперь они были уже не внизу, а под-
мались кверху, увеличивались в размерах.
Караульный казак окликнул его с вышки. Он не
етил, припал к луке, каблуками ударил коня. Испу-

ганный выстрел всполошенным эхом прометался в горах. На мощенной дороге четко застучали копыта. Собачий лай одиноко оборвался где-то вблизи, через секунду перенесся дальше, потом его подхватили сразу в нескольких местах. Остервенелым собачьим лаем встречал его город, когда скакал по безлюдным, залитым лунной мутью улицам. У домика, где окно изнутри мазалось желтым оплывающим светом, сдержал коня. Долгую нерешительную минуту гнулся в седле. Собранный конь храпел и с осыпающимся студом перебирал ногами. С коня была видна неприхотливая внутренность комнаты. На голой беленой стене медленно шевелилась тень склоненного над столом человека, трубочный дым тонкими рядинными облаками пробегал по ней.

Лермонтов, не слезая с коня, постучал в окно. Тень на стене выдвинулась, головой переползла на потолок. Человек в растегнутой сорочке, не выпуская из рук трубки, подошел к окну.

— Константин Карлович, вы не спите? Один? Можно к вам?

Данзас ответил приветливым и широким жестом, закивал головой.

Лермонтов соскочил с коня, привязал его у ворот. Громыхнула щеколда калитки; сутулясь, он прошел во двор.

— Почему к нему? Что мне Данзас? Да и кому, кому? Даже вот и ей, ей не смог бы, не сумел высказать своей боли.

Из открытой двери желтой полосой падал на крыльцо свет. Данзас со свечкой в руке посторонился, пропуская вперед позднего гостя.

— Входите, входите, Лермонтов. Очень рад, что забрели. Да слушайте, откуда вы? Весь в пыли и лица на вас нету.

— Из Кисловодской.

У Данзаса лицо сразу изменило выражение. Он
пливо взглянул на Лермонтова и, тотчас же отводя
за, деловито и кратко сказал:

— Пожалуйте.

Комната освещалась той же свечой, которую держал
руках хозяин. Дымилась прислоненная к столу трубка.
ом с шахматной доской лежал лист бумаги и ка-
даш.

— Вот, видите,—улыбнулся Данзас.—Сам с собой
шахматы играю.

Он придвинул к столу второй стул. Не садясь, спросил:

— Что дать вам? Вина? Может хотите чаю? Я при-
ду вскипятить.

— Ни того, ни другого, Константин Карлович. Пода-
йте меня только вашим вниманием и...

— И чем еще?

— Вашим мудрым советом.

— Как? Советом? Вы пришли ко мне за советом? Я
не узнаю, Лермонтов.

Лермонтов взглядом, усталым и грустным, словно
ковался к пламени свечки.

— Мне хотелось попросить вашего совета в одном
нь важном, жизненно важном для меня деле,—начал
тихо и смолк.

Дорогой, когда он скакал из Кисловодска, мысли,
алось, обгоняли время и бег коня. Это было даже
желанье, а потребность получить немедленно сей-
же ответ, ключ к этой неразъяснимой задаче. Трудно
ло шевелить рукой. Он улыбнулся страдальчески.

— Трудно начать, Константин Карлович. А погово-
ть необходимо. Нет, знаете, когда теряешь правиль-
й глазомер вещей, трудно решить самому, что ведет
я к гибели.

В глазах Данзаса прочел разочарование и скуку, и сразу стало досадно на самого себя, что приехал. Данзас казался противным. С трудом подавляя желание обидеть, раздразнить своего собеседника, мягким разбитым голосом проговорил:

— Константин Карлович, мне сказали будто бы из Петербурга есть строгое распоряжение, чтобы начальство ни под каким предлогом отнюдь не осмеливалось удалять меня от фронтовой службы в полку. Что-ж, значит и в отряд меня больше не пустят. Не дают даже участием в делах заслужить себе отставку. Что мне делать теперь, Константин Карлович, скажите?

Под его вопрошающим и прилежным взглядом Данзас улыбнулся.

— Я думаю, у вас много чего найдется, что стоит и нужно сделать. Но скажите, неужели вы только ради этого скакали, не глядя на ночь, из Кисловодска?

Одну минуту Лермонтов смотрел на него, как бы недоумевая, потом откинулся на стуле, залился веселым безудержным смехом.

— Вы же сами видите, что нет,—заговорил он, перестав смеяться.—Но это действительно должно выглядеть чертовски глупо, если даже к простой дружеской доверенности должно быть такое идиотское вступление. Но только, Константин Карлович, и это правда. Невозможность получить сейчас отставку мучит меня тоже. Мне духовно нечем жить, решительно нечем.

— Нечем? А поэзия? Ваш талант?

Лермонтов горько ухмыльнулся.

— Литература, наша литература, так бедна, что я ничего не могу от нее заимствовать. В двадцать шесть лет ум не так быстро и легко принимает впечатления, как в детстве, а они мне нужны, необходимы. Где мое литературное бытие? В казармах, в предосудительных

проделках переросших себя мальчишек. Я трачу фантазию, чтобы позлить какого-нибудь старикашку коменданта, чтобы позабавить двух-трех изнывающих от скуки приятелей. А если бы мое бытие протекало и там, в так называемом литературном кругу, среди избранных знаменитых литераторов,—вы думаете это спасло бы от отчаяния и скуки?

Опять усмехнулся, безнадежно и горько.

— Может, было бы только противнее жить, вот и все. Вон Гоголь—великий Гоголь, как его теперь проклинают называть друзья—нашел, что в «Мцыри» недостаточная игра воображения. Он, видите ли читал мою «Сказку для детей» и ждал от меня большего. А эта старая ж... Жуковский так исправил мою «Казначейшу», что мне хотелось изорвать книжку, где она была напечатана. Белинский наставлял, как нужно понимать Купера, и снисходительно похваливал мое писанье. Представьте теперь, Константин Карлович, что было бы, если бы я целиком отдался им в опеку. «Героя нашего времени» никто не хотел читать, пока бабушка не догадалась послать Булгарину книжку, вложив в нее пять сотенных ассигнаций. Если бы она разослала таких книжек побольше, меня уморили бы похвалами. Вот, дорогой полковник, какова наша литература, вот как делают в ней теперь славу.

— Вы увлекаетесь: Булагрин еще не вся литература,—осторожно вставил Данзас.

— Но без Булгарина она не может существовать. Это еще того гаже. Я не могу, не хочу, Константин Карлович, быть русским литератором—это для меня унизительно.

— Тогда не пишите ни стихов, ни прозы, замкните поэтические уста и дразните сколько вашей душе угодно стариков комендантов, забавляйте ваших приятелей...

— О, не смейтесь, Константин Карлович,—взволнованно перебил его Лермонтов:—может это даже не стоит вашей иронии, как жалко и презренно мое самолюбие, нижчтожна гордость. Но что тут делать? Видно, такой уж уродился. А еслиб не это самолюбие, еслиб не оно, как бы замечательно, как бы по невозможному хорошо было бы мне теперь. Увы, до самого последнего времени я даже не знал этого.

— Вы сказали об этом?—серьезно и тихо спросил Данзас.

— Да, сказал, но это неважно. Я отравлен, погублен этой проклятой гордыней. Да, вот вам пример—слушайте, чего еще дальше...

Он вдруг остановился, посмотрел на Данзаса испытующе и недоверчиво. Возбуждение как будто улеглось. Дальше говорил ровно и спокойко.

— Помните, месяц тому назад мы с вами встретили здесь у источника даму. Я подошел к ней, если помните. Это жена бенкендорфского адьютанта, так, просто приятная женщина, разумеется, не слишком строга. С ней мой роман был в Кисловодске, исключительно лишь с целью подразнить, запутать в моей интриге еще одну даму, в которую я чуть-чуть был влюблен. Ну, вот, я повторяю—это очень приятная и милая женщина, но я вспомнил, что слышал об ней когда-то в Петербурге. Говорили—она была любовницей царя. Вы понимаете: любовник—царь, муж—жандарм, меня гноят на Кавказе; словом, судьба давала мне в руки маленький случай отомстить. Но, нет, это не было местью. Мне не равняться с царем, но разделался с ней я не хуже. В нее был влюблен один плюгавый юнкеришка. Я наговорил ему кучу всякого романтического вздора, он поверил. Словом — роста он был такого же, как и я, шторы у меня в комнате были опущены, как

нно вести себя я его научил, — кажется, он остался
олен.

Лермонтов смолк, пытливым взором уставился на
вказа. У того на лице не дрогнул ни один мускул,
мо смотря в глаза, раздельно и твердо он сказал:

— Если бы все это было правдой, вы знаете, я бы
потерпел вас в доме. Но, ведь, все это ложь. Вы
ете на себя. Зачем?

С минуту он смотрел на него с мягким и снисхо-
тельным укором. Потом, с грустной улыбкой добавил:

— Эх, Лермонтов, что только сейчас-то свихнуло
м? Кто обидел?

— Не обидели, Константин Карлович, именно не
идели. Ах, если бы обидели, я знал бы, что делать.
ведь здесь я не слыхал ни одного слова, кото-
е бы могло задеть, оскорбить мое самолюбие. «У меня
ло два великих любовника (так и сказала—великих),
этим последним я буду больше гордиться, чем горди-
сь до сих пор де-Мюссе». Это она сказала мне при
ставании. Константин Карлович, милый, да разве за
ну эту фразу не простишь всего?

— Кто она-то? Гоммер де-Гелль?

— Да,—глухо ответил Лермонтов.

— И вы безумствуете из-за того, что она уехала
ли уезжает. Что, вы не знали до нее женщин? Что,
то последняя благосклонность, которою вас подарили?
вас их будет еще много, больше, чем нужно. Чем
олько прельстила вас эта вертлявая, чтобы не сказать
льше, француженка?

— Это единственная женщина, которой я мог бы
ыть предан, по настоящему предан,— ответил Лер-
онтов.

— И что же? Вы согласны. Вас не отпускают с Кав-
каза. Вы под опекой III-го отделения. Дейетвительно,

какая жестокость судьбы. Бедный, несчастный влюбленный!

Данзас даже рассмеялся.

— Именно, что не влюбленный. Что Кавказ, что все жандармы в мире,—Лермонтов с досады махнул рукой.—Я не мог, не сумел полюбить. А без моей любви даже лучший, чем Мюссе, я ненужен ей. Ах, Константин Карлович, если бы вы знали, какая это женщина! Ну, вот, это я говорю серьезно, я никогда не думал, что могут на свете быть женщины, которые и умнее, и тоньше.

Было в его взгляде, в лице, что-то такое, что у Данзаса даже нервно и жутко пробежала дрожь от угла глаз по щеке.

— Это опасно, Михаил Юрьевич,—тихо проговорил он. — Я достаточно хорошо отношусь к вам, чтобы встревожиться. Поезжайте-ка, милый, обратно в отряд, поезжайте скорей, пока еще в этом вам не препятствуют. Я боюсь, что здесь с вами может быть хуже.

Лермонтов, казалось, не слушал. Голова бессильно свисла на грудь, пальцы рассеянно теребили выпушку на панталонах.

— Скажите, Константин Карлович,—вдруг отрываясь от своей задумчивости, спросил он,—что это значит, что это должно значить, когда женщина многоопытная, достаточно изведавшая любовь и не утомившаяся ею, с тоской и ненавистью отмахивается от своего прошлого?

— Что это значит,—повторил Данзас, удивляясь его ясному и грустному взору.—Думаю, что это бывает только тогда, когда любовь не только наслаждение, но обязанность, служба.

— Обязанность. Но, ведь у нее есть муж, она никогда не нуждалась! Она дама общества! Не профессионалка же в самом деле, не актриса.

Данзас усмехнулся.

— Вы думаете, только ради хлеба насущного? Женщины могут служить своим полом многому. Кто знает, кому и в каких целях служила им ваша подруга.

— Многому,—тихо, как бы с самим собой, заговорил Лермонтов.—Многому... Вы сказали—многому.

VI.

Вечернего лагерного шума не нарушал и ветер. Сквозь нестройный гул прорывалось нетерпеливое конское ржанье, у воды громыхали и звенели ведра и котелки, певуче и чисто стучал в отдалении топор, у самого входа в палатку кого-то неспеша и без злобы корили за плохо упакованный вьюк. И подхватывая звучащую и короткую брань, словно заражаясь ею, Лермонтов многословно и сложно обругал и рапорт, который ему нужно составить хитро и тонко, и ветер, который может довести до иступления, и Петербург, откуда целый год не шлют ему ни копейки, и наконец, начальство, могущее отпустить его без разрешения свыше в Петербург и едва-едва согласившееся дать двухнедельный отпуск, и вообще все на свете.

— А не дадут—и чорт с ними! Без денег, думаешь, не поеду? Как же! Вон, смотри.

Он поднял руку. Ее черная неуклюжая тень проползла по полотну над головою, перекинулась из стороны в сторону, словно благословляя.

Вдруг в то же мгновение порыв ворвавшегося в палатку ветра загасил свечу, со всех сторон разом ринулась темнота.

— Андрюшка! Свечей! Свету!

И почти с такой же мгновенностью, с какой наполнила палатку темнота, еще раньше, чем принесли

свечи, стих и смирился ветер. Это было так странно, так непонятно, неожиданно. Разными голосами заговорил лагерь. Можно было слышать отдельные слова, вникать в речь. Должно быть в соседней палатке, старчески смакуя, рассказывали:

— ...Однажды ему доложили, что приказание противно закону, а он и говорит: «если бы здесь нужно было только исполнять законы, государь бы послал сюда не меня, а полный Свод Законов». Так-то, батеньки, вот какая это сторона, а вы говорите. А кому это и понимать, как не ему. Ему однажды Керченский городской голова—из армян он был, голова-то—так и отмочил приветствие: «у вас, говорит, ваше сиятельство, душа аглицкая». Это он вместо ангельской-то. Здорово!

Там захохотали, задыхаясь не то смехом, не то кашлем.

— И тоже не глупо,—проворчал Лермонтов.—Стреляют горцы по нас английским порохом, снаряды к пушкам у них английские, за голову какого-то Белла обещают на линии деньги, а душа у начальства нашего тоже английская. Однако...

Принесший свечи Андрюшка не уходил, с терпеливой миной выслушал до конца все рассуждения своего барина, и только когда он кончил, необъяснимо угадывая его мысли, набросил ему на плечи бурку. Лермонтов кивнул головой, и Андрюшка подал лежавший на ящике написанный рапорт. Барин откинул полу палатки и вышел.

На небе просеялись редкие мутные звезды. Костры выжигали во тьме раскаленные дыры. Лица окружавших их людей отливали медным и неестественным загаром. В тишине безветренной ночи голоса казались непонятными и таинственными.

В трех шагах от палатки, поставленной отдельно от других и ярко освещенной внутри, Лермонтов вдруг

новился, замер как бы в испуге. Воспоминание, временно и радующее и невыносимо тоскливое, как занный мороз, перехватило дыхание.

Пять дней назад на фуражировке за Шали он со ею командою охотников, набранной ото всей кавал-ии, натолкнулся на конную неприятельскую партию. горизонте синим дымком поднимались к небу горы, ред глазами пересеченная в двух местах лесистым агом простиралась песчаная плоская равнина. Сухую, ленную солнцем траву, как старческие разметанные ины, трепал ветер. Оттуда от задымленного горами изонта, как стая воронов, готовая приземлиться, ели десятка два всадников. Оранжевые пески жгли аза. Но он разглядел даже обмотанные белым папахи некоторых: хаджи. Всадники росли, увеличивались азмерах. У крайнего с правого фланга споткнулась адь, и он вместе с нею отлетел далеко в сторону. новременно Лермонтов слышал певучий, множащийся к шашки, оставляющей ножны. Команду «к бою» лько, кажется, он подал раньше. Корпус сам без его ш переместился в седле. Конь словно хотел вырваться под него. Ветер свистел в ушах, или это шашка секала воздух. Черная птичья стая превратилась громного рыжебородого чеченца, скакавшего прямо него. Свою улыбку он ощущал пальцами, кожей, на це, на плечах, в коленях, ощущал ее всем телом. Рука к бы выронила шашку. Еще мгновение,—и он оса-ы бы коня. Улыбка вот-вот уже не сможет сдержи-ть дальше дикого хохота. Безумная веселость пере-нила сердце.

— Ну, Данзас, смотри, курва—лучше ль мне было ать в отряд.

Рука так же, как роняла, высоко занесла над голо-й шашку. Без мысли, без всякого участия воли. Оран-

жевые пески сверкали и зыбились в глазах. Шашка, как глину, прошла что-то плотное и вязкое, только на миг отдавшись в руке коротким сопротивлением: в глине очевидно были камни.

Дальше все было весело и просто, совсем просто. По равнине, обрамленнной седой травой, в беспорядке скакали одинокие, догонявшие друг друга всадники. Неизменные синели на горизонте горы, и от одиночных выстрелов словно лопался зной.

Эта фуражировка была внесена в наградной список поручику Лермонтову. Через два дня он первый со своей командой прошел Шалинский лес, блестяще аттаковал превосходного силами неприятеля, и это тоже было занесено в наградной список. И в этом деле он с той же отчаянной храбростью бросался вперед, но только воспоминанье об обрамленной травою равнине, с падавшей и поднимавшейся без его воли в руке шашкой наполняло сердце такой мучительной радостью и болью.

И сейчас, когда, казалось, все тело его наполнила внезапная и дикая веселость, он, только вспомнив по сходству ощущений тот незабвенный день, замер в недоумении и в испуге. Ему показалось, что он даже рассмеялся вслух. Решительно шагнул вперед и вошел в палатку, где помещался штаб начальника отряда.

Эту ночь Лермонтов спал спокойным и крепким без сновидений сном. Утро наступило, застланное ленивыми и рыхлыми облаками. Моросил дождь. Писарь из штаба принес его вчерашний рапорт.

На рапорте в углу имелась карандашная помета:

«Его превосходительство приказал в просьбе отказать, ходатайствовать перед начальником штаба командующего войсками Кавказской линии и Черноморья о выдаче Вам ста

рублей взаимообразно из сумм, находящихся в распоряжении его превосходительства».

С минуту испытующим взглядом смотрел в глаза рюшке.

— Андрюшка, денег у меня 15 рублей ассигнями, а ехать, брат, так далеко, что и двухсот хватит. И все равно поеду. Спасибо хоть в документах не написали, куда отпущен. Собирай в дорогу, тец.

В тот же день Лермонтов отбыл из отряда в двухельный отпуск.

Трое суток трясла его и мотала почтовая тележка. четвертые где-то внизу, много ниже дороги открысь темно-зеленая, взрытая волнами поверхность моря. бо над нею было таким голубым, что казалось — оно чет впиться в глаза.

Маленький городок лепился у самого края берега застенчивостью прирожденного бедняка. В воздухе хло рыбой и гнилью. Ветер гнал с моря тяжелую, льше зноя утомлявшую прохладу. Покачиваясь чери небо голыми мачтами стоявшие в гавани суда. берегу в сомнительной тени развешенных на кольях настей сидели и лежали оборванные загорелые люди. рибой шумел глухо, деловито и торопливо. На дальних олнах завивались белые гребешки. Валявшиеся на бегу оборванцы указали Лермонтову низкого, беспрывно шмыгающего носом армянина. Тот жестокими быстрыми глазами в одно мгновение словно раздел го. Воскликнул так, как будто ему самому не было льшого удовольствия:

— Ва, это можно.

Потом долго думал, шевелил губами, что-то соображая и прикидывая.

— Сто рублей. Как хочешь, менше нэлзя,—выпалил он наконец и засверлил глазами.

— Сто рублей... Да ты знаешь... Да ты у меня!..

Дальше это оборвалось неистовой бранью.

Армянин только повел плечами и сумрачно поглядел в глаза.

— Зачэм карантин. С карантина,—он и в родительном падеже сохранял ударение на последнем слоге—с карантина и так все лодки смотрят. Зачем не ездишь с казенным, если так кричишь.

Еще раз повел плечами и повернулся уйти.

— Постой.—Лермонтов сам испугался своего дрогнувшего голоса.—Постой же болван. Мне ехать нужно, а не ругаться с тобой.

В голове, как испуганное стадо, одна сбивая другую, мчались мысли.

Армянин, лениво, должно быть в посленний раз ощупал его глазами.

— Бэз дэнэг ничэго нэ здэлаешь. Опасно возить, с карантина все лодки смотрят.

Может он и ударил бы его! Бешенство душило, судорогой сводило руку, но в этот момент солидный, с ленцой поднявшийся с земли голос отвлек его внимание.

Они разговаривали тут же на берегу, где сушились сети валялись на песке загорелые оборванцы. Некоторые из них прислушивались лениво и без особого любопытства к их перебранке. Один,—Лермонтову приметилась крутая седина в потных прилипших ко лбу кудрях и жесткие по-солдатски стриженные усы и баки,—приподнялся с земли.

— Петрович, в чем тут у вас дело?—окликнул он армянина.—Ехать чтоль офицеру нужно, а ты в цене уперся.

Он оглядел Лермонтова, и Лермонтов оглядел его. Глаза тяжелые и черные, смотрели умно и насмешливо, в колючих жестких усах застряла улыбка неоспоримого превосходства.

— Вы, сударь, ехать желаете?—обратился он к Лермонтову, чуть дотрагиваясь рукой до фуражки.—На Петровича вы обижаться не извольте: каждому заработать хочется. Вы дайте ему какой ни на есть билет, ну хоть бы пятерку, с него хватит. А я сам сегодня в Крымские порта ухожу. Судно у меня хорошее, мы с вами столкуемся.

Ничего не изменилось в его лице за эти пять минут: и улыбка все таже ироническая и неповоротливая шевелила усы, и взгляд насмешливый и испытующий смотрел не отрываясь, но было в его голосе такое спокойствие, в словах такая деловитая серьезность и скупость, что Лермонтов усомнился только на одно мгновенье.

— А ты-то сколько возьмешь за проезд.

— Того, что заплатить не можете, просить не стану.

И усмехнулся опять. Но сейчас же лицо сделалось серьезным; он обстоятельно и толково стал объяснять, как и когда всего удобней будет перебраться к небу на «дубок», чтобы не заметили с карантина, словом все, что нужно было знать и к чему следовало приготовиться его добровольному пассажиру.

Теперь пришла очередь Лермонтову испытующе посмотреть на него.

— Как же ты так берешь с собою? А может у меня и вовсе ничего нет. Заработать не заработаешь, а себя опасности подвергаешь.

— Себе убытка не сделаю-с, будьте покойны,—неспеша проговорил тот.—А не помочь человеку тоже, как хотите, нельзя. Я ведь вижу, что ехать вы нужду

большую имеете. Ну-с, пока что, сударь, до свидания,— вдруг неожиданно прервал он себя.—У меня тут дела кой-какие есть, а вы к вечеру сюда-ж и приходите. Кажись, погоды быть не должно—сегодня же и выйдем.

Лермонтов только сейчас рассмотрел его. Был он высок и плотен, на вид ему нельзя было дать больше пятидесяти. На обветренной загорелой шее надувались толстые жевлаки мышц, руки и плечи говорили о силе необычной и не для такого возраста. Походка у него была такой же уверенной и спокойной, как и слова, как будто и ею он презирал кого-то. Но странно,—она совсем не походила на раскачивающийся, грузный, крепко пристающий к земле шаг старого моряка. Было в ней что-то едва уловимое, уже стирающееся, почти исчезнувшее, но прямое, широкое легкое. Такой шаг, как болезнь, на всю жизнь прививают гвардейская муштра и парады; в нем не участвуют, словно живут отдельно друг от друга, и спина, и плечи, и грудь, и шея. Не участвовали они и у этого странного владельца рыбачьего «дуба». Шел он прямо с развернутыми и неподвижными плечами, не сгибаясь и не горбясь. Теперь Лермонтов вспомнил, что и голос у него не морской, густой и резкий, словно просоленный ветром. Говорил он с мягкой глухой хрипотцой, какая остается у вышедших в бессрочную младших солдатских начальников, унтеров и фельдфебелей. Но еще более странным было то, что говорил он не их языком, умеренно вставляя частичку «с», обращаясь «сударь» и призывая «пожалуйте».

— Странно, очень странно,—подумал Лермонтов, смотря ему вслед.

Нетерпение мешало сосредоточиться на чем-нибудь одном. Нетерпение усугубляло тяжесть жары. Солнце упорно не хотело перемещаться на небе, и мысли ро-

давшиеся беспрерывно, походили на белые гребешки на дальних волнах. Налетали стремительно, возникали из ничего и растворялись в сплошной однородной массе необъяснимого даже себе желания и беспокойства.

— Ехать, ехать, только бы ехать! Думать не надо ни о чем, когда стремишься к единственной и такой заветной цели.

Когда, наконец, солнце стало бесконечно медленно падать к воде, и сразу прохладою сменился зной, он уже был на условленном месте.

Ждать пришлось долго. Солнце уже окунулось краем в море, залило его жидким и горячим золотом, с берега поползли хмурые и холодные тени, когда появился наконец хозяин «дуба».

— Ну часа через два, либо три отходить будем. Можно теперь и на «дуб» перебираться. Вещи у вас какие есть?

— Чемодан один да бурка.

— Чай на станции оставили, так я вам мальчика дам, он принесет.

«Дуб» оказался невзрачным, глубоко, чуть ли не по самые борта, сидевшим в воде суденышком. На голых мачтах висели грязные свертки парусов.

От самого носа до половины «дуб» был завален крупными темно-зелеными арбузами, его сильно качало, и арбузы, давя один другого, кряхтели страдающе и тихо. Лермонтов перепрыгнул через борт, балансируя и останавливаясь каждую минуту, чтобы не упасть, прошел вслед за хозяином на корму. Там, откидывая шаткую дверцу какой-то будки, тот сказал:

— Извините, сударь, почище места у нас не найдется. Конечно потом, как будем в море, можно будет выйти на палубу, а пока лучше вам все же здесь посидеть, чтоб греха какого напрасно не вышло.

В рубке было жарко и душно. Стоял тяжелый запах непроветренного человеческого жилья. От качки или от этого запаха начинало мутить. Двое других пассажиров сидели набрав в рот воды. Иногда в тишине раздавались только слабые, похожие на стоны, вздохи. Видимо одному было совсем уже плохо. Отплытие почувствовалось по лязганью, крику и шуму на палубе, по отрывистому рывку всего судна, по качке, сразу же ставшей и глубже и плавнее.

— Вытягивают лодкой. Или нет — сразу поставили парус, — понял Лермонтов.

От качки или от радостного волнения сердце захватило, как на качелях. Все еще плохо верилось, что плывут, что он уплывает туда, к чему-то заманчивому и чудесному, чего он даже и себе не смог бы определить. Сейчас могло бы быть так беззаботно и весело, как не бывало даже и в детстве, — вот только эта проклятая качка: она пугала странным, тянущим и вязким, ощущением. Ему хотелось засмеяться, так это было забавно, что едет он без денег, даже без своего человека, один, крадучись, как преступник. Расслабляющая дурнота, которую чувствовал во рту, в голове, в теле, превозмогла смех. Он не помнил, долго ли он пробыл в своем заточении. Только когда в рубку вошел хозяин, и ворвавшийся в распахнутую дверь свежий морской ветер коснулся лица, он смог поднять глаза, спросить усталым разбитым голосом:

— Ну что, за мной что ли пришел?

— Так точно, за вами. Да уж не плохо ли вам, сударь? Всего то и идем, часа не будет. Это от воздуха: душно здесь и запах скверный. Вы выйдите на палубу, там сразу легче станет.

На двух других пассажиров он даже и не посмотрел, а Лермонтова вывел, заботливо поддерживая под руку.

За бортом буравились черные волны. На самом горизонте из-под полога низко свисавшей тучи выглядывал краешек луны. Темная мутно-красная кровь, дымясь, растекалась от него по воде.

— Вы, сударь, вот здесь присядьте и за борт не смотрите, — мягко выговорил хозяин «дуба».

Лермонтов взглянул на него и даже отшатнулся. Черные тяжелые глаза были полны сейчас такой тоской, так жалко и скорбно молила об участии трудная улыбка, что ему стало страшно.

«Так вот почему он так ласков со мной» — пронеслось в голове нерадующим тяжелым открытием. А тот между тем, видимо, не спешил отойти от него.

— Вы, сударь, мое любопытство мне извините, — заговорил он глухим надтреснутым голосом. — Я так еще давича заприметил. Не должно быть, думаю, что этот офицер только кавказской. Не иначе как с гвардии сюда прибыли.

— Из гвардии. А что? — вяло ответил Лермонтов, с трудом ворочая языком.

— Так, так. Сразу это видно, ничем не скроешь. А спросить мне у вас вот что́ хотелось.

Он оглянулся по сторонам, как будто страшился, чтоб его не подслушали, тоном словно виноватым продолжил:

— Любопытно было-б узпать, может кого из моих старых офицеров знаете. Вы-то, осмелюсь спросить,— сами на Кавказе недавно?

Как выпавший из кучи арбуз, который теперь перекатывало с борта на борт, моталась в голове мысль. Поднять ее не было силы.

«Штрафной, вероятно. Здесь муку дослуживал. О чем же тоскует?!»

Силясь улыбнуться, Лермонтов все же спросил. Слабость и не прекращавшееся чувство тошноты стерли с голоса оттенок насмешки.

— С чего тебе офицеры интересны?

Ответ последовал вместе с глухим и тяжелым вздохом.

— Каждый человек, сударь, свой дом иметь должен и к нему привязанность. А у солдата какой же дом может быть окромя службы. Конечно, как вы старых преображенских солдат знать не можете, то я про офицеров и спрашиваю. А узнать все равно любопытно.

Лермонтов назвал несколько фамилий. Некоторых из них его собеседник знал, откликался на них немедленной репликой: «как же, отличнейший барин и офицер храбрый—помню, помню». Или: «этот так себе был: хорошего не скажу».

Лермонтов назвал и Самсонова. У его собеседника словно потемнел голос.

— Самсонова Евгения Петровича еще подпоручиком помню, как из школы дядюшка ихний Николай Александрович Исленьев его в Польскую кампанию брали. У жандармского генерала теперь, говорите, адъютантом? Этот своего добьется. Души в нем нет — одно самолюбие.

И вздохнул опять.

Луна теперь переползла свисавшую на горизонте облачную завесу, холодными серебристыми бликами испещрила на палубе тень. В ее мутном молочном сиянии лицо у этого отставного солдата казалось и страдающим, и страшным. Той же неуемной тоской горели глаза.

С кормы, перепрыгивая через валявшиеся снасти и мешки, к ним подошел какой-то босоногий рослый матрос.

— Михаил Иванович, что-ж с эстими-то, с англича-ми делать? Всю рубку как есть заблевали: оба лежком лежат. Ты-б их хоть на палубу вытащил.

При лунном свете улыбка делала лицо Михаила Ивановича суровым и жестоким.

— Это не причина, — насмешливо проговорил он.— Если они на палубе за борт свалятся, кто нам с тобой за их деньги платить будет? Ты это, дурья голова, подумал?

Парень отошел.

Михаил Иванович, совсем близко склонясь к Лермонтову, глухим, срывающимся шепотом спросил:

— Вот вы сказали: поручика Самсонова, капитан он по-ль теперь, знаете. А вы про такую Дарью Антоновну Красавину не слыхали? В полюбовницах он, сказывают, ее держит.

И остановился, словно задохнувшись.

Вот эта волна, шлепнувшая, как пощечиной, судешышко с борта, смыла с тела слабость. Лермонтов чувствовал, что он дрожит, сердце сжалось тревожной новой болью, в висках в голове застучала медленная тяжелая кровь. Как в испуге, он даже привскочил с своего места.

— Нет, не знаю, — ответил отрывисто и резко.

И сейчас же, мучась, и не в силах подавить в себе тревоги, спросил:

— Кто рассказывал-то тебе про Самсонова?

— Тут один Исленьевский бывший дворовый в Азове как-то попался. Сбежал должно быть, — устало и как бы с неохотой ответил тот.

— Давно?

— О прошлом годе, как будто.

Лермонтов облегченно откинулся на скамейку.

— Что, сударь, совсем вам нехорошо-с? — участливо и с тревогой спросил Михаил Иванович. — Вы вот так

ляйте, совсем вытянитесь, и только в небо смотрите, как будто там что увидели. Так оно пройдет. А здесь, посередке, самое лучшее место: меньше всего качает. Погодите, вот я вам вашу бурку принесу подстелить.

Он торопливо отошел от Лермонтова. Чуть пробеленное лунною мутью небо над головой, казалось, истекало черной неиссякаемой влагой. Падавший с парусов на лицо ветер, казалось, исцелял от немощи.

— И опять и всегда жизнь отравит мне самое лучшее мгновенье. Ах, еслиб не эта мука, — тоскливо отозвалось в душе.

Он думал о качке, даже себе не решался признаться в том, что радость и детскую беспечность в сердце убила вовсе не качка.

Красный укрепленный на мачте фонарь прыгал в черном небе, как мяч. Он и в сон отскочил упругим проворным мячом.

Проснулся Лермонтов от утреннего застылого холода. О вчерашнем дурнотном состоянии напоминала только головная боль и слабость во всем теле. За бортом море было гладко, как вода в пруду. Голубое до блеска небо застыло над головой, но паруса все же тяжело выпирались грудью. В утренней сплошной тишине отчетливо слышался каждый звук: скрипенье снастей, осторожный плеск рассекаемой носом воды, заглушенный, словно натруженный голос Михаила Ивановича:

— ...Вот, парень, я тебе что скажу, — говорил он кому-то. — В рудниках со мной один кавказец работал. Конечно ни зимы, ни работы тамошней здешнему человеку не снести, так и свял, бедняга; вот как совсем отходить начал, вдруг как забьется, затрепещет, как птица подстреленная, и глазами, и руками все молит чего-то: дайте, мол, дайте мне. А чего—никто понять не может. Насилу я разобрался: винограду, виноградинку, пони-

шь, хоть одну он просил. Это—чтоб родину хоть
-нибудь вспомнить. А у меня вот родины этой, как
шь, нет: какая же у солдата, да еще у каторжного
жет быть родина? А тоска, парень, тоска. Я через
у тоску и из Сибири вон куда убечь не побоялся.
жизни я только крепок, сам знаешь. А от чего?
мирать боюсь, боюсь перед смертью, как тому кав-
зцу, просить будет нечего...

Он смолк. Лермонтов напряженно, весь обратившись
слух, ловил каждое его слово.

Михаил Иванович еще долго говорил о своей бес-
ютной доле. О Дашеньке, Петербурге он не упомянул
словом. Лермонтов облегченно перевел дыхание, но
у сейчас же пришлось закрыть глаза, притвориться
ящим, потому что Михаил Иванович, резко оборвав
вою речь, сказал:

— Пойду посмотреть, не проснулись ли.

Противное чувство неловкости и смущенного стыда,
к будто он отнял у нищего рубашку, не оставляло его.

— Это Дарья, Дашенька, Нигоринская Долли—поте-
янная родина,—стыдной унижающей мыслью не вы-
одило из головы.

К полдню все беспорядочней и чаще стали кру-
ить над «дубом» чайки, на волне иногда пусто бол-
алась какая-нибудь щепка, плыл мусор. Михаил Ива-
ович, гася насмешливый блеск черных глаз, подошел
нему.

— Ну-с, сударь, подходим к Керчи. Посоветую вам
десь высадиться, потому по суше вы все равно скорее,
уда вам надо, доедете. А впрочем, как вам будет
годно.

— Если по суше скорее, высаживай здесь,—едва
справляясь со стыдом и смущением, сказал Лермонтов.—
А сколько я тебе братец, должен?

Михаил Иванович усмехнулся.

— Ничего вы мне не должны. И что мне с вас взять, если я вижу, что человека тоска сердечная гонит.

VII.

На Ялтинском рейде на расстоянии достаточно приличном от берега, так как на стоянку в этой совершенно открытой бухте могли отваживаться только очень легкие суда, уже четвертые сутки выстаивала стройная трехмачтовая яхта. Все ее паруса были убраны и подвязаны с аккуратностью, встречающейся лишь на судах военных флотов, да разве еще у очень богатых и значительных лиц, влюбленных в морские путешествия. Яхта буквально горела на солнце: ее ростры были богато покрыты позолотой и вероятно не меньшее количество лучей отражала белая с широкой красной полосой окраска палубы, но даже и палуба обладала необычайной способностью сверкать и гореть, как будто на ней было вызолочено. Ясно, что эта яхта была легка на ходу, ясно, что командовал ею отважный и опытный моряк, ясно, что команда ее была отлично подобрана и выдрессирована.

Однако, в таком малолюдном и захудалом местечке, каким была Ялта, ее пребывание не делало события. Яхтой мало кто любовался, еще меньше кто был заинтригован ее национальностью и назначением. На ней по утрам поднимали и опускали с закатом иногда английский, а иногда французский флаг; команда ее состояла из черномазых и курчавых, как негры, весьма расторопных и ловких матросов, говоривших между собой на совершенно непонятном наречии; ее командир или то лицо, которое почиталось на яхте главным, одевался крайне странно, носил длинные до плеч волосы, часто

нем бывали надеты высокие желтые ботфорты с пре-
шными шпорами и синий фрак с одним эполетом—
утом. Впрочем последние два дня он совсем не съез-
л на берег. На третий день к бухте спустилась из
рода легкая парная коляска. Местные жители вероятно
егко бы узнали по кучеру и лошадям, что этот экипаж
ринадлежит владельцу Мисхора Нарышкину; может быть,
ни даже догадались бы, что приехавший в коляске
ысокий господин есть тот самый француз, который
же вторую неделю гостит вместе с женою у владель-
ев Мисхора. Но в этот час берег был совершенно
устынен. Кругом не было ни души, и вероятно этим же
ужно объяснить и то, что суета и движение на палубе
хты, необычные в столь ранний час, не привлекли
ичьего внимания.

Господин де-Гелль выскочил из коляски с той расте-
янной поспешностью, которая изобличает в человеке
ервное беспокойство и волнение. Сложив руки рупором,
он стал кричать: «на «Юлии, на яхте», но очевидно
его голос был слишком слаб, чтобы его могли слышать
там. Кучер стал помогать ему неистовым «огого», —
с яхты все равно не откликались. В конце концов их
крики растревожили заснувшего на сигнальной вышке
матроса. С его помощью — флагом и криками — они
добились, наконец, что их заметили с яхты. Там тоже
помахали флагом, и через десять минут легкий четырех-
весельный вельбот доставил господина де-Гелля к борту
«Юлии».

На палубе кипела работа. Матросы, как кошки, ла-
зали по вантам и мачтам, укрепляя и натягивая капелаш.
Ворчливо скрипел испытуемый кабестан.

— В чем дело, любезный Джьякомо? — не скрывая
своего изумления, спросил де-Гелль у стройного и заго-
релого юноши, распоряжавшегося работами.

— Через час мы снимаемся с якоря.

— Вы получили такое распоряжение?

Джьякомо только пожал плечами. Господин де-Гелль недоверчиво покачал головой, выжидающе постоял еще некоторое время около Джьякомо, но тот его словно уже и не замечал. Он пошел вниз.

За дверями каюты Тет-Бу была тишина. Де-Гелль осторожно приоткрыл их. Хозяин каюты одетый спал, широко разметавшись на низком кожанном диване. Де-Гелль быстрым взглядом обежал каюту. На круглом столике стояла открытая бутылка коньяку, в недопитой чашке осталось черное кофе, на самом Тет-Бу халат был надет поверх его обычного платья, и ноги были в сапогах.

— Не спал всю ночь, — быстро сообразил де-Гелль, связывая все эти вещи с бледным и утомленным лицом спящего.

Тот вдруг заворочался во сне, привскочил на диване, сел, схватившись руками за голову.

— Жанна! Вы здесь! Я ждал вчера, — разобрал де-Гелль его спотыкающееся бормотанье.

— Однако это не так уж легко быть чересчур любезным мужем, — проворчал он, делая шаг в сторону спящего.

Тет-Бу вдруг открыл глаза.

— А, мой милый де-Гелль, чему я обязан столь рано?

В голосе как будто слышалась досада.

Лицо де-Гелля мгновенно приняло непринужденно шутливое выражение.

— Какие еще козни вы тут затеваете! — заговорил он с напускной сердитостью. — Моя жена сперва была только удивлена, что не подаете о себе никаких вестей, теперь... Но, послушайте, не делайте же меня козлом отпущения.

Вы не хотите нас брать с собой к непокоренным чер-
кесам. Помешать вам в этом меня и выслали такую рань.

— Что такое? Какие козни? Я никуда не отбываю,—
с самым искренним недоумением отозвался Тет-Бу.—Мой
милый, я скучаю без общества вашей супруги и вашего.
Я должен ехать, но я не еду — вы знаете. При чем тут
козни.

— Притворяйтесь, притворяйтесь, я вам очень сове-
тую. Ваши матросы уже возятся около кабестана и го-
товятся поднять якорь. Что вы на это скажете?

— Это невозможно, — воскликнул Тет-Бу.

— Но это так.

Тогда Тет-Бу вскочил с дивана, бросился к дверям,
требуя, чтобы к нему немедленно прислали капитана
судна.

Вошел Джьякомо.

— Объясните мне, пожалуйста, что там происходит
у вас на палубе? — строго обратился к нему Тет-Бу.

Джьякомо с тем же невозмутимым видом и также
просто, как и на палубе, объяснил:

— Мы снимаемся с якоря, капитан.

— Вы снимаетесь с якоря! Но кто вам дал такое
приказание, господин капитан?

— Вы день ото дня все откладываете. — Также спо-
койно и с достоинством говорил Джьякомо. — Поневоле
вас надо отсюда вытащить, капитан, как Уллиса от
птиц, поющих на берегу женскими голосами.

Тет-Бу заметно покраснел.

— Подул настоящий Норд-Вест, — помолчав, добавил
Джьякомо. — В Черном море это бывает не так уже часто,
капитан. Нельзя упускать случая.

На эти слова Тет-Бу не обратил никакого внимания.

— Вот видите, — со смехом повернулся он к де-Гел-
лю. — Вы можете передать вашей супруге, что даже

терпение моих подчиненных не выдерживает этой стоянки, а я тем не менее жду. Кстати, так ли я вас понял? Она выразила желание отбыть сегодня?

— Как будто, — улыбнулся де-Гелль.

— Хорошо, Джьякомо. Вы можете итти. Возможно, мы и отойдем сегодня. Будьте готовы на всякий случай. Кстати, как у вас дела с нашим грузом?

— Я должен был выправить на него у русского начальства конасаменты. Они пожелали узнать, как выглядит этот груз.

— И что же?

— Ничего. О том, что в ящиках, они даже не решились спросить. Их слегка удивили пушки, но печать английского консульства немедленно привела их в совершенное благоговение. Все в порядке, капитан.

— Отлично. Вы превосходный капитан, Джьякомо. Можете итти.

Джьякомо вышел.

Тет-Бу внимательно посмотрел на своего гостя. В полусвете, царившем в каюте, он ничего не смог прочесть на его лице.

— Скажите, — проговорил он, пытаясь овладеть самой равнодушной интонацией. — А что, Лермонтов все еще там, в Мисхоре?

По лицу де-Гелля пробежала улыбка.

— Со вчерашнего дня его уже нет.

— Уехал! — скорее весело, чем удивленно, воскликнул Тет-Бу.—Послушайте мой милый де-Гелль, сознайтесь: вы только на этом основании и построили предположение о скором отъезде. Ну, сознайтесь же: мы с вами, — давний и безуспешный поклонник и любящий и счастливый муж, — мы не можем не понимать друг друга.

Де-Гелль пожал плечами.

— Возможно, что так, — проговорил он холодно.

— Этот Лермонтов—скверный мальчишка, он совер-енно несносен, — все так же оживленно продолжал ет-Бу. — Я крепко бы натер ему уши, если бы только ыл уверен, что это не вызовет гнева вашей прелестной упруги. Я мог бы впутать его в пренеприятную историю. ы знаете, ведь он приехал сюда тайком и ужасно боялся, то об этом узнают.

— Но, по моему, среди нас он не делал из этого айны.

— Да, но кто же знает, что он ехал на контрабан-ном судне, на том самом, в котором пробрались Уркарт Лонгуорт.

— Вряд ли стоит это особо разглашать, если послед-ие находятся сейчас на «Юлии».

— Э, — Тет-Бу сделал презрительный жест рукою.— усские в этом отношении фантастично глупы. Их не еспокоит, когда иностранцы что-то делают в их стране, аз они допущены в нее на законном основании. Они, ак дикари, верят в закон, и если чего и боятся, так то, что собственный поданный его нарушит. Этот юбезный Воронцов сделал решительно все, что было его силах, чтобы помочь мне снять карты русского обережья. Жаль, что никому не будет известно, сколь н помог нам исследовать и подготовить будущий театр озможной войны. Сейчас они не мешают мне снабжать оружием непокоренных черкесов. А вместе с тем этого альчишку, — он же мальчик, де-Гелль, этот ваш Лер-онтов, — этого мальчишку они ссылают на Кавказ, арают, как тяжкого преступника, возможно, они даже е выпускают его из под наблюдений. А за что — как ы думаете? За то, что мальчик наболтал какой-то вздор. Вы только подумайте, какая это чепуха. Нет, если бы о всем мире внутренняя охрана была поставлена так,—

клянусь, мы могли бы жить и умереть спокойно. Это-ж идилия, де-Гелль, самая настоящая идилия.

— Как знать, — пожал плечами де-Гелль. — русские вероятно на этот счет держатся иного мнения.

— Ну, не будем спорить: русские сами по себе, как вы знаете, интересуют меня мало. Мы едем — вот что приводит меня в хорошее настроение и занимает в настоящий момент больше всего. Вы же понимаете, де-Гелль, — проговорил он с особым выражением,— надеюсь, что понимаете. Один я уехать не могу. Пушками и винтовками окончательно этих дикарей не купишь, нужно что-то еще более действительное, чтоб держать их в своих руках. Кстати, у madame Jeanne еще не пропала охота покорить сердце Адыгейского князя?.. Итак, значит, едем в путь.

— Да, в путь, — со вздохом проворчал де-Гелль.— Вот когда я могу позавидовать и Лермонтову. Чорт возьми, их не гонят работать, когда у них в голове только любовные истории. У них вся служба заключается только в том, что они уклоняются от службы.

Тет-Бу расхохотался.

— Но, мой милый, я не могу понять вашей мрачности. Вас-то разве не опекают?

Де-Гелль только передернул плечами и, молча пожав ему руку, вышел из комнаты.

Он поднялся на палубу, размышляя о том, что могло пленить Жанну в Тет-Бу. От мысли, что это вовсе не соперник, что здесь он свободен даже и от обязательной ревности, солнце показалось необыкновенно приятным и веселым.

На берегу, садясь в экипаж, он заметил Лермонтова. Тот стоял, прислонившись к массивному причалу, и смотрел с грустным видом на блестящие солнцем

орские дали. Стук колес о камни оторвал его от задум-
вости. Он поспешил поклониться.

— Господин де-Гелль!

Де-Гелль толкнул кучера, заставляя его остановиться.
ермонтов быстро подошел к экипажу.

— Я очень прошу простить меня, — проговорил он
збитым, усталым голосом. — Но вам ведь известны
ои обстоятельства... Я решаюсь просить вас передать
одам де-Гелль мои самые почтительные извинения
привет. Я должен уехать сегодня, сейчас, скоро,—
просто лишен возможности принести эти извинения лич-
но. А, между тем, я так бы хотел быть сейчас в Мисхоре.

Де-Гелль очень внимательно и подробно расспросил
го, когда и как именно, с оказией или на почтовых,
редполагает он уехать, высказал свои сожаления, что
ни не может захватить его с собою в Мисхор, не по-
ыбыл вздохнуть и о том, какое огорчение он доставит
ним его жене, и, крепко, с самыми лучшими пожела-
ниями, пожав ему руку, велел кучеру трогать.

— Вот это — муж, — мелькнула горькая мысль,
впрочем другой ей и не будет нужен.

День мучительно томился жарой, но не увядал упорно.
же из редкого тумана, как подводные скалы, проступили
еленые горы, стемнело в долинах, и в домах зажигали
вет, когда пришла Жанна. Она казалась взволнованной.

— Я боялась, что уже не застану вас. Господин
е-Гелль предлагал проводить меня до деревни, где мы
огли бы найти тележку, но это быть может лучше,
что я дожидалась, пока отдыхали нарышкинские лошади.

Он посмотрел на нее внимательно и странно, как
будто видел впервые.

— Вы и не застали бы меня, еслиб пришли на
четверть часа позже, — сказал он безразличным уста-
лым голосом.

— Так значит,—это правда. Вы на самом деле собрались ехать.—Она растерянно и недоуменно оглядывала комнату. Связанный чемодан в углу, брошенная на него бурка, сам хозяин в суконном форменном сюртуке, через плечо у него надета шашка,—ей стало мучительно, тягостно, захотелось уйти от слов, казавшихся уже бесполезными.

— Лермонтов милый, мой милый Лермонтов,—через силу проговорила она,—вероятно я совершенная дрянь, что не сумела, не смогла быть такой, чтобы вам не захотелось уехать. Сейчас я готова презирать себя. Вы самый замечательный, самый значительный из всех людей, которых мне посылала судьба, и я вас отпускаю. О, еслиб вы знали,—это вырвалось почти криком,—еслиб вы знали, какой счастливой могла бы я быть с вами. Я упускаю свое счастье и только потому, что я не достойна его. Ах, зачем я говорю это сейчас? Не надо, не надо,—и без того не легко нам обоим. Ну вот видите, какая я на самом деле дрянь.

Он, очевидно, избегал встретиться с нею взглядом. Прошелся еще раз по комнате, потом хрустнув пальцами с видом человека, овладевшего наконец формой для какой-то трудной и заветной мысли, отрывисто спросил:

— Вы знаете, что такое ложное чувство?

Она ответила не сразу, тон был смущенный и растерянный.

— Ложное чувство? Это когда любишь то, что любить не следует, что не приносит вам счастья.

Все еще кривясь, он досадливо отмахнулся рукой.

— Нет, это когда лелеешь, радуешься, тебе кажется, что в тебе родилось настоящее, самое настоящее чувство, а на самом деле...—Он поднял на нее тяжелый потерянный взгляд,—его не было и нет.

Она слышала, как он шумно и тяжело вздохнул, ви-
а, как шатающимся неуверенным шагом приблизился
ней, почувствовала прикосновение его руки, но не
нулась с места, не переменила позы.

— Нужно прощаться. Мне пора.

Оба одновременно посмотрели друг другу в глаза.
к круги на воде от брошенного камня, расходилась
его лицу улыбка. У ней ломался голос, но трудную
азу выговорила до конца.

— Как сделать эту встречу непохожей ни на одну
прежних?! Но так расстаться ведь тоже невозможно.

Он пожал плечами, усмехнулся.

— Отчего? Она и так непохожа. Прощайте.

Она не подняла головы, его рука повисла в воздухе.
повернулся, тихо, стараясь не шуметь, вышел из
наты. На пороге остановился, ему послышалось, что
что-то шепчет. Прислушался, опять усмехнулся
переступил порог.

На улице уже отстоялись густые лиловые сумерки.
бенцы у почтовой четверки звенели крупно и грустно.
ная тяжелой клади телега застучала по камням так,
то и она сама была тоже из камня.

За поворотом узкой кривой улички сгрудившаяся
па загородила дорогу. Почтарь привстал на сиденьи,
тянул шею, стараясь разглядеть что-то лежавшее
утри плотного людского кольца.

— Человека зарезали, — объяснил он, опускаясь на
сто.—Похоже что зарезали,—сказал ямщик и тут же
кричал, понукая четверку:—эй разойдись, дай дорогу!

Телега въехала в раступившуюся толпу. С высоты
воего сиденья Лермонтову казалось, что люди обтекают
, провожая равнодушными безразличными взглядами.
ерез головы их он видел распластанное на земле безжиз-
енное человеческое тело. Из пробитой головы натекла

огромная лужа черной крови. Даже в сумерках он узнал упрямый, заросший пучками небритой щетины подборок, жесткие по-солдатски подрубленные усы, баки, он не мог не узнать и огромных морских сапог, рваной и засаленной матросской рубахи, красного сползавшего на животе кушака, а, узнав, оживился, забеспокоился, заерзал на своем месте.

— Погоди, погоди. Остановись же,—толкал он кулаком ямщика.—Кто это его?

Из толпы объяснили охотно и немедленно:

— Да пьяный какой-то. С татарином вишь подрался, тот ему камнем и проломил голову, а сам сбег.

— И это конец, — сказал про себя, сам поражаясь нелепому и чудовищному сопоставлению.

VIII.

На 15 марта ровно в одиннадцать часов был назначен высочайший прием специально посланному с докладом от командира отдельного Кавказского корпуса.

Часы в приемной уже били одиннадцать, дежурный флигель-адьютант, приглашавший в кабинет назначенных к приему, пропал за дверьми. Император встал из-за стола. Нижняя челюсть дрогнула, скосился рот, Николай уже готов был разразиться гневным криком, но в этот момент фамилию дежурного словно украли из памяти. Так иногда бывало. Николай прошелся по кабинету, снова опустился в кресло, пальцы нервно забарабанили по столу. Часы в приемной все еще не окончили своего методического боя. Чуть ли не с последним его ударом распахнулась дверь. Скользнувший к столу флигель-адьютант доложил на лету:

— В звании флигель-адъютанта полковник барон Будберг. С докладом командира Кавказского корпуса.

нал Николай сурово и строго взглянул на вошедшего.
ро-им лицо делалось у императора, когда перед ним
оратительно маршировали, когда он замечал какую
ной-нь неисправность на отдельном солдате, когда не-
его-енно и тут же никого из стоявших рядом, бывших
ися, сказать под рукой, распечь и разнести было нельзя.

– Здравствуй. Садись.

ла- Государь не подал руки. Не отводя от него глаз,
вно он прилип к его фигуре взглядом, Будберг, как
омат, опустился на самый край кресла. Николай ближе
ся, двинул свое. Разделял их только угол стола.

– Ну, давай. Чего там намарали?!

лись Полковник проворно трясущимися руками растегнул
о набитый портфель, вскочил с места, хотел развер-
ть и карту Кавказа.

Николай досадливым жестом остановил его.

– Не надо. Я это наизусть знаю.

лен Полковник, часто моргая веками, поспешно сложил
ом достал из портфеля бумагу, бумага ходила в руках
дуном. Николай, брезгливо поморщившись, взял ее.

ый – «Что Будберга-то на Кавказе совсем разучили го-
ен- ить что-ли?» подумал с досадой и раздражением.

из Он, конечно, не знал, что к этому самому Будбергу,
ли- беспокойной тоске ожидавшему призыва во дворец, два
но за прибегали с приказанием из военного министерства
из еременить форму одежды, гадая в какой государю бу-
и- угодно его видеть. Он, конечно, и не подозревал,
а- о за два часа до приема Будберг мучительно изнывал
ии кабинете у военного министра. Военному министру
го было никакого дела до тех соображений, которые
и- лагались в докладе командира Кавказского корпуса,
по его глубокому убеждению—что-то в них не совпа-
н ло с его собственным мнением и следовательно никуда
годилось. На все почтительные возражения и попытки

разъяснения со стороны приезжего полковника он, отравляя его унынием и страхом, неуклонно твердил:

— Э, батенька, это я должен вам прямо сказать. Государю будет неприятно, очень неприятно, что так мало дали себе труда понять его волю. Я вам говорю, приготовьтесь-ка лучше встретить его большое неудовольствие.

Вначале полковник еще пытался что-то отстаивать, пробовал что то объяснить. Военный министр, отмахиваясь от него, как от прилипчивой мухи, несколько раз ткнул пальцем в карту.

— Вот отсюда, с правого фланга, государю именно и желательно, чтобы началось постепенное перечисление (речь шла о перечислении государственных крестьян Ставропольской губернии в линейное казачье войско).

Полковник понял, что противоречить бесполезно. Военный министр очевидно полагал, что правый фланг их, т. е. русских войск упирается в Каспийское море, и войну они ведут, следовательно, против России. С совершенно потерянным и убитым видом он собирал свои бумаги. Военный министр, словно издеваясь, напутствовал:

— Ну, вот увидите, как будет гневаться государь.

Сейчас у Будберга в голове творилась невероятная путаница. В одном только он был твердо уверен: из всего, что нужно доложить государю, он уже не помнит решительно ничего. Он только вчера ночью прибыл в столицу. До этого семь суток в распутицу и грязь скакал он на перекладных, не выходя из саней от самого Таганрога.

Государь бегло одну за другой читал бумаги и раздраженно швырял их прочь. Не прочитав и половины, оттолкнул он всю пачку, брови у него грозно сошлись. Полковник, качнувшись, еще прямее вытянулся в кресле.

от-раясь смотреть прямо в лицо царю, он напряжённо
часто мигал покрасневшими распухшими веками. Впро-
ать, царь его как бы уже и не замечал больше.
так — Что мне рассказывают,—это было похоже на
рю, нолог,—что благосостояние крестьян упадет по пере-
до-не их в линейное войско. На Дону военное управле-
ие ничуть не мешает народному благоденствию. Я знаю,
ать, му это не нравится. Я смотрю с государственной
хи-чки зрения. Что меня пугают, что придется упразд-
разд ть Ставропольскую губернию. Ну да,—упразднить.
ень рад, это у меня самая подлая губерния в России,
ино е ни один порядочный человек не мог ужиться. Еще
ие жицким бунтом пугают. Надеюсь, что там есть кому
ьян разумить дураков.
со). С последними словами он так возвысил голос, что
но. лковник вздрогнул, затрясся от мысли, что дальше
анг же и сидеть прямо он уже не сможет.
ре, Досадливо кривясь, Николай опять придвинул к себе
со-чку бумаг. Взял одну, тотчас же отшвырнул, гневно
ои арил по столу кулаком:
ут- — Нет, это все только меня убеждает в необходимости
редить отдельное наместничество. Но людей, людей
ет, чтобы серьезно заняться Кавказом. Вон у Воронцова
ая Новороссии во всех частях управления все идет гладко.
из за Крым так и вовсе я не боюсь ни с какой стороны.
ит от у кого нужно бы вам поучиться: ɔдакий молодчина,
ыл оронцов—что́ сделал из Крыма, и за такой короткий
зь рок.
го Он помолчал, брезгливо поморщившись, взял следую-
ую бумагу из пачки.
а- — Это еще что такое?—крикнул, гневно сверкнув
т- лазами.
сь. У полковника сердце раскололось в груди, отдельные
ие. сти его бились теперь в коленях, в локтях, в пальцах.

— Представление командира корпуса вашему императорскому величеству с приложением рапорта генерала лейтенанта Галавтеева и наградного списка на всех особо отличившихся в делах против неприятеля за прошлогоднюю летнюю экспедицию,—заикаясь, едва-едва смог одолеть такую длинную фразу Будберг.

— Лермонтов,— закричал, ударяя кулаком по столу Николай.—Опять ко мне лезут с Лермонтовым. Да что там у вас с ума все сошли что ли? За отличиями на Кавказ ссылают что ли, или ваше дело каждого мерзавца представить непременным героем? Вояки! Дубины, которые не могут понять, что Кавказ у меня вовсе не для прогулок. В отпуск пустили! Мало: так они еще к награде вздумали представлять.—Голос вдруг осекся, стал вдруг хриплым и низким.—Передай там, что я приказал генералу Клейнмихелю в двадцать четыре часа выпроводить этого молодчика из столицы. Должен быть при полку, а не обтирать паркеты гостиных. Передай, что я ставлю на вид твоему командиру, что у него люди употребляются не в ту службу, для какой присланы. Передай, что до сих пор на Кавказе я еще, славу богу, не знал таких умников, которые бы лучше меня знали, что нужно делать. Все. Можешь итти.

Кивком головы опустил вытянувшегося в струнку Будберга. А когда за ним закрылась дверь, царь разбитым утомленным движением откинулся в кресле, прошептал с покорным отчаянием:

— Господи, какие дураки, какие дураки.

Встал и прошелся по кабинету. Раздражение и гнев быстро проходили. Что-то очень неприятное слышал он на днях, это неприятное как-то было связано с именем Лермонтова, вспомнил, что это было на докладе Орлова. Письма какой-то француженки, в них упоминалась Самсонова, у Самсоновой роман с Лермонтовым, а Лермонтов...

— Болваны, они еще пускают его в отпуск.

Он продолжал шагать и продолжал думать. Что именно ило неприятного в докладе Орлова, он старался не поминать и сейчас. Он помнил только одно — чело-к, дерзнувший что-то узнать о нем—его враг. Сей-с напоминание о Лермонтове дало иное направление слей.

— Они там только больше распускаются. Подумаешь, самом деле воздух там что ли заражен этим мятежным ом. Но не истреблять же, не ставить с умыслом нарочно под пулю. Так делал Ермолов со своими вра-ми. Глупо. Пока не использованы самые крайние едства, нужно стараться смирить, подчинить себе, сде-ть безвредным и послушным. Только когда ничто уже помогает.

Шаг сделался четким и твердым, отрывисто печатал по паркету. Царь усмехнулся самодовольно и зло.

— Фронтовая служба, строгое выполнение своих рямых обязанностей помогает смирению мятежного духа.

Быстро подошел к столу. Не присаживаясь, на клочке маги карандашем набросал:

Дежурному генералу.

Переведенный из гвардии в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в чеченской экспедиции с особою порученною ему командою. Замечание корп. ком. Подтвердить, чтобы оный Лермонтов непременно состоял на лицо во фронте, чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в полку.

Бросил карандаш. Опять походил по комнате. За окнами был зябкий мартовский день с мокрым снегом

и ветром. Холод, казалось, проник и сюда. Подошел к столу. Нагнулся. От натуги на лбу выступили жилы. Из под стола вытащил потрепанный кожанный футляр. На коленях открыл его, бережно обтер куском замши трубу, вставил мундштук. Нота, нота тоскливая и дребезжащая, словно и она не могла не чувствовать ветра и снега, нудно вырвалась из ее медного горла.

IX.

— В Пятигорск, в Пятигорск, — на минуту задумываясь, вполголоса повторил Лермонтов.—Нет, Столыпин, решено: мы едем в отряд.

Облачко грусти только мгновенье держалось на его лице.

— Ну, а еще какие радости жизни вы там себе предвидите?— уже весело обратился он к улану, вместе с ними дожидавшемуся коляски на почтовой станции.

— Многого я для себя не требую, но и себя ценю все же. Как хотите, 23 года чего-нибудь да стоят.

— Да он мне и совсем нравится! — в совершенном восторге провозгласил Лермонтов. — Нет, поручик, вы прямо чудный: и пьете приятно, и рассуждаете утешительно. Откуда только у вас такие понятия, как будто вы четвертый десяток на свете живете.

Улан только скромно улыбнулся.

На следующее утро Лермонтов поднялся с постели последним. Его кузен и улан уже сидели за самоваром, когда он появился в общей зале. Еще с порога он крикнул Столыпину:

— А знаешь, ведь теперь в Пятигорске замечательно хорошо, какие там сейчас люди, как славно бы мы могли там позабавиться.

Подошел, и обняв кузена за плечи, ласково стал упрашивать:

— Ну поедем, Столыпин, ну что тебе стоит.

Столыпин, осторожно освобождаясь из его объятий, ветил с легкой досадой.

— Ты же знаешь, что это невозможно.

— Почему?—удивился Лермонтов.— Ведь там комен- нт старик Ильяшенко. Являться к нему нечего, ничто ам не мешает, едем, Столыпин.

— Ну что же, решаетесь, капитан? — осторожно просил улан.

— Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, — огор- енно воскликнул Столыпин,—мне поручено свезти его отряд. Вон на столе наша подорожная: извольте посмо- реть, какова при ней инструкция.

Лермонтов нетерпеливо махнул на него рукой и вско- ил из за стола.

В Пятигорск они приехали вечером. Дождь перестал, воздухе терпко пахло древесным цветением, по стеклу онаря у дверей гостиницы струйками стекала вода. олстый армянин в белой рубашке, перепоясанной онким ремешком, кланялся и приветствовал Лермонтова, ак старого знакомого.

— Это Найтаки, Магденко (улана звали Магденко). Лучший гостинщик, каких я когда либо видел. Верно, Найтаки?

Веселое настроение не оставляло Лермонтова.

Через час в номер к Магденко Столыпин и Лермон- тов явились уже вымытыми, выбритыми, в свежем ельe и в халатах. На Лермонтове был шелковый, темно еленого цвета с узорами. Перебирая и играя концами подпоясовавшего его снурка, он весело обежал глазами комнату.

— Вы у нас умница. Все сервировано, как следует: ни к чему не придерешься. Да, Столыпин,—с живостью обратился он к кузену. — Ты знаешь, и Мартышка

здесь. Я уже сказал Найтаки, чтобы за ним сейчас же послали.

По улыбке Столыпина можно было понять, что он одобряет распоряжение своего друга.

Посланный явился очень скоро и один.

— Его высокоблагородие господин Мартынов приказывали благодарить и сказать, что не будут.

У Лермонтова удивленно приподнялись брови.

— Барин был один? Не спал, когда ты явился?

— Никак нет-с, лежали одетыми на диване и курили трубку. Никого при мне у них не было.

Лермонтов перевел удивленный взгляд на Столыпина, тот тоже недоумевающе пожал плечами.

— Ничего не понимаю. Завтра постараюсь повидать его: это слишком странно—не желать повидать старых приятелей.

— Не стоит,—махнул рукой Лермонтов.

Веселое настроение пропало сразу, он погрузился в глубокую задумчивость, угрюмо не говоря ни с кем ни слова, выпил полстакана и, пожелав спокойной ночи, ушел к себе.

С самого первого дня его приезда в Петербург он ощутил в себе какое-то новое, незнакомое доселе, чувство. Это не была тоска, это не было похоже на боль самолюбивой обиды, это была непрерывная, мертвящая и изводившая скука. В прочно наладившиеся взаимоотношения его с миром ворвалось что-то постороннее, нарушило их, мешало жить.

И раньше не все и не всегда было гладко. Иногда и раньше назревали и разрешались в безумствовании или диких мальчишеских выходках отчаяние, обида и злость. Но раньше все, что выделял от себя мир, все что шло к нему, имело только единственный, разгадываемый и уловимый, смысл. Теперь и люди, и вещи,

тайна, необъяснимая тайна человеческих поступков, ловно изменили свою природу. Все, как и раньше, тавалось тем же и таким же, но вместе с тем оно ыло уже и не такое и не то. Вот, например, бабушка— на встретила его с такими трогательными слезами, такой неподдельной радостью. Бабушку он всегда рбил, всегда питал к ней самые искренние и нежные твства, но сейчас кроме пустой гнетущей обиды от ой встречи ничего не осталось. Конечно, бабушка лицемерила, не обманывала его, — такой бы мысли и не допустил, — но словно она позабыла сделать мое важное и нужное, чтобы ее радость и им ощулась по прежнему. Он почувствовал горечь и оскорбленность. Так относиться к ней, как относился раньше, н уже не мог. Тяжкой и трудной печалью пришло озднее сожаление о своем никем равноценно не оплаенном отношении, о бесплодно растраченных чувствах. се самые близкие, самые преданные люди словно умели свою теплоту к нему. Мысль о собственной непоерной гордости и требовательности не умещалась сознании. Прерывались, становились лишними отношения, пропадали интересы, мир отходил, оставлял его. людьми было скучно, в одиночестве страдал от их тсутствия. «Неужели все это сделал Крым»—с тоской и ужасом спрашивал он себя. Ответа не находилось. Нужно ыло беспрерывно острить, казаться для всех веселым беспечным, убеждая других и себя в легкости своего тношения ко всему, что готовила судьба. Но это было трудно, ужасно трудно. Неизвестно кем и где была делана против него ужасная гадость. Гадость ветвилась, пускала корни. Теперь и люди, причинявшие ему неприятности, и те, кого всегда считал своими врагами, и даже сама непрестанно преследовавшая его судьба имели еще и другую скрытую, таинственную причину. Он

не огорчался, что Мартынов лишил его удовольствия встречи. Мартынов—пошлый дурак, Мартынова он презирал. Раньше он просто бы объяснил себе причину: «от глупой чванливости», и удовлетворился бы этим. Теперь он не мог допустить и мысли, что за отказом Мартынова не кроется каких-то сложных и неизвестных ему против него козней.

Утром,—он постарался это скрыть и от Столыпина,—он отправился к источнику с определенным, если не единственным только, желанием встретить загордившегося приятеля.

У источника,—этому он все-такиу дивился,—он встретил Самсонову. Она сидела на самом солнце возле ванного домика с книжкой в руках. Очевидно, ей были предписаны воздушные ванны. Она не вскрикнула от неожиданности или удивления, не вздрогнула, не пошевельнулась, только глаза раскрывались так медленно, что ему показалось—ей дурно. Он подходил лениво, с трудом волоча ноги. От жары или отвращения, едва процедил сквозь зубы:

— Все, как и в прошлом году. Как будто я и не уезжал из Пятигорска.

Она опустила голову, медленно раскрывавшихся глаз уже не было видно, сказала с тихой и горькой усмешкой:

— Нет только той француженки, которой я обязана столькими счастливыми минутами.

— Не говорите вздору,—перебил он резко.—Это может вас лишить их навсегда и в будущем... Если только вы на них еще надеетесь, конечно.

Она вздрогнула, испуганно посмотрела на него, на лице осталась улыбка, пустая, виновато противная, и по этой улыбке вдруг и совершенно стало ему ясно, что он ее ненавидит, ненавидел и тогда, в прошлом году, не ненавидеть не может.

— Ну как вам здесь? Скучаете? Кто новый любовник? рош?

Она опять опустила глаза, прошептала едва ышно.

— Как вам не стыдно. Я ничего вам не сделала.

Он продолжал тем же тоном:

— Вы так и не уехали отсюда?

— Нет. Зиму я провела в Саратовской губерни родственников мужа. Сейчас доктора снова отправили ня к водам.

— А ваш сын с вами? Здесь?

Она еще ниже опустила голову.

— Нет, он у Самсонова в Петербурге.

Лермонтов, прищурившись, покачал головой, впололоса проговорил.

— Чудно, чудно.

Но в тот же миг он почувствовал, что ее рука оснулась его руки нерешительно, робким, осторожным асанием.

— Миша, — это было сказано просто, и этим он ронулся.—Миша, ведь я не ищу твоей любви. Я знаю, то ты меня презираешь. Ну что ж презирай, делай что очешь, только...

Она вдруг остановилась, словно у ней закружилась олова, откинулась на спинку скамейки. Он едва разобрал конец фразы.

— Мне можно сегодня придти к тебе?

— Я еще не устроился, не знаю — останусь ли в городе. Устроюсь, пришлю сказать. Кстати, а ты где живешь теперь?

Она сказала. Похоже, что он не слышал. Двое, военный и штатский, размахивая еще издали руками, спешили к нему.

— Лермонтов! Лермонтов! Ты как сюда попал?!

Он даже не попрощался с ней, кинувшись им навстречу. С обеих сторон посыпались вопросы. — «Так как же тебе удалось?» — «А вы как?»

— Ты знаешь, Глебов привезен сюда, он тяжело ранен, бедняжка. И Бенкендорф, Левушка Пушкин, Зельмиц, словом нас целая банда. Ну, здесь теперь прелестно. Есть такие милые дома, где всегда и так хорошо принимают. Но ты-то, ты-то как сюда выбрался?

Лермонтов всей своей фигурой постарался изобразить сплошное недоумение.

— Еду я, братцы, в отряд со строгим предписанием— от полка никуда. И вот видите... Свернул в Георгиевской, и попал сюда.

Он скорчил при этом такую уморительную гримасу, с таким комически серьезным видом произнес «сюда», что вся компания разразилась веселым и неудержимым смехом. Когда припадок смеха прошел, кто-то сказал:

— Лермонтов, слушай, мы все живем вместе: Васильчиков, Глебов. У нас огромная квартира. Перебирайся-ка к нам. Ты где остановился? Ну что, брат, тебе в гостинице делать. Столыпин с тобой? Мы вас прекрасно обоих устроим. Ведь ты же не скоро отсюда уедешь, не правда ли? Ты же ведь мастер на такие штуки.

— Мастер-то мастер, а что выйдет неизвестно. Признаться вам, братцы, ехать охоты никакой.

— Постой, постой куда ты?!.

— Погодите, братцы. Тут мне нужно с Мартышкой по одному делу изъясниться.

По площадке медленным прогуливающимся шагом шел Мартынов. Заметив Лермонтова, он резко повернул в сторону. А тот, кивнув головой приятелям, уже бежал вслед за ним. На лице была написана самая искренняя радость и даже восторг.

— Мартышка! Мартынов! Николай Соломонович!

Мартынов обернулся, сделал строгое и страшно стойное лицо и остановился.

— Что с тобой, дружище,—не унимался Лермонтов.— ы что, решил не знаться со мой, что ли?

Мартынов сдержанно кивнул головой, но руки не про-нул. Раскрытые для объятия руки Лермонтова оста-лись в воздухе.

— Я надеялся, что из моего вчерашнего ответа вам е будет ясно, — выпячивая грудь, проговорил Мар-нов.

— Вам. Вы. Все ясно. Что за чепуха?! Ничего не по-нимаю.

Лермонтов говорил с такой неподдельной веселостью, то вся внешность его дышала таким дружеством и сердеч-остью, чта Мартынов заколебался.

— Я не знаю, вы... или ты, ну это не важно, сло-ом, ты, Лермонтов, умнее меня, меня ты можешь оду-ачить, но все-таки сейчас я готов поверить в искрен-ость твоих чувств. Если действительно нет ничего, — оследнее он подчеркнул,—то объяснись.

Лермонтов весело расхохотался.

— Ну, как же объясниться, когда сам говоришь ичего нет. Ну и чудак же ты, Мартышка. Я просто ума не приложу, что взбрело тебе в голову. У нас с тобой даже женщины общей не было, чтобы ты мог меня ревновать задним числом.

Мартынов вспылил.

— Ваших плоских шуток выслушивать я не намерен. Я говорю серьезно. Раз я прошу объяснений, значит у меня есть к тому основания.

Лермонтов посмотрел на него прищуренным презирающим взглядом.

— За один такой тов, господин Мартынов, приглашают к барьеру. Но я так легко не швыряюсь добрыми

отношениями. В чем дело? Я никогда ничего против тебя не имел, ничего не предпринимал, ничем даже за глаза не обидел...

— А письмо?

— Какое? Я никогда к тебе не писал.

— Письмо, которое ты взялся доставить от моих родителей ко мне. Это было четыре года назад.

В памяти неясной обрывочной картиной промелькнула изба под Москвой, сетка дождя, занавесившая дали, дерзкая самовлюбленная юность, трепетавший на шестке пепел сожженного письма. Ни угрызений совести, ни раскаяния при этом он не почувствовал.

— Ну и что же письмо! Не украл же я его в самом деле. Я уговорил тогда тебя принять мои собственные деньги, потому что у меня это письмо украли вместе с чемоданом. Ну каких тебе еще нужно объяснений? Если тебе кажется мало и этих, то теперь уж я буду спрашивать у тебя,—других и в другом месте.

Мартынов как будто смутился.

— Постой, постой, Лермонтов, ты не горячись, пойми же и меня. Я могу показать тебе письмо отца. Я написал им тогда, что ты заставил меня взять твои деньги, потому что у тебя в дороге украли письмо. На это отец мне написал, что, вложив в письмо деньги, он ничего тебе не сказал об этом, следовательно, знать о деньгах ты не мог, и вдруг ты их мне возвращаешь. Ну скажи, что же я должен подумать в таком случае.

Лермонтов смотрел на него с улыбкой ласковой и сожалеющей.

— Дурак ты, Мартышка, вот что я тебе скажу. Если бы я заподозрил, что кто-то распечатал и прочел принадлежащее мне письмо, я сделал бы так, что этот человек навсегда потерял имя порядочного, а не стал бы требовать у него объяснений. Если же я считал бы

того человека своим другом, то я просто пришел бы ему и спросил: «скажи мне, каким образом ты узнал, что в конверте были деньги?» А ты вместо этого сделал страшно достойное лицо и получил за это дурака. Ну, хочешь, я тебе расскажу, как это все было, хотя я вовсе и не обязан объясняться. Письмо у меня действительно украли. Оно исчезло вместе с портфелем, в котором находилось. Через несколько дней как-то обнаружилось, что украл портфель мой же крепостной человек, деньги разумеется у него были целы, но все письма как мои, так и чужие, которые были у меня, он, дурак, уничтожил. Что же мне нужно было делать в таком случае? Сдать его в первом же городе властям. Он у меня давно, привык к моим требованиям, и я привык к нему. Мой эгоизм пересилил в этом случае гнев, я только пообещался, что в следующий раз отдам его в солдаты. Кажется, даже и вообще он остался без наказания, потому что в дороге я скоро и совсем позабыл об этом. Моих денег в этом портфеле не было, в других письмах,— я знал,—их тоже быть не должно, следовательно, те триста рублей, которые оказались у моего Андрюшки, должны были принадлежать тебе. Что же, мне было присвоить чужие деньги? Рассказать тебе всю историю— все равно это ничему бы не помогло. Ну, что еще ты хочешь? Прислать тебе Андрюшку, чтобы ты наказал его по своему усмотрению? Хочешь, я пришлю.

Мартынов с минуту как бы соображал, как надо ему поступить.

— Ну, извини меня, Мишель,—наконец с трудом выговорил он и попробовал улыбнуться. Улыбка не вышла: похоже было, что она—пустая и противно виноватая, такая же, как и та, которой улыбалась полчаса тому назад Надежда Федоровна,—пыталась и не могла пристать к его лицу.

Лермонтов пожал протянутую руку и вдруг ему стало совершенно ясно, что с этого момента Мартынова он будет ненавидеть, ненавидеть всю жизнь.

X.

Июль накапливал грозы. По ночам испуганно метавшиеся зарницы с громовым треском раздирали пополам черное небо. Днями ползли свинцовые тяжелые тучи, далеко в горах гремел гром. Грозы ждали каждый день. Но горячий, как из печи, ветер упорно тянул за собой тучи, они уползали, скрываясь за горами, земля и зелень задыхались и темнели от зноя. От духоты и жары люди не находили себе места. Даже ночью трудно было ходить: так сомнительна бывала прохлада.

Лермонтов только в первом часу возвратился домой, сейчас же разделся и лег в постель. Окно было открыто. Во флигеле напротив, где жили Мартынов, Глебов и Васильчиков, был свет. На белой занавеске, как на экране, метался, вздрагивал,—то воспрянет, то опять упадет,—абрис человеческой головы. Через открытые окна до слуха Лермонтова долетали голоса. Говорил Мартынов, Глебов только иногда, перебивая его, задавал вопрос о том или другом.

— Ты понимаешь, - захлебывался возмущением голос Мартынова,—с самого своего приезда в Пятигорск, он не пропускал ни одного случая, чтобы не сказать мне что нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом все, чем можно досадить человеку, не касаясь его чести. Я показывал ему,—ты знаешь,—показывал, как умел, что вовсе не намерен служить мишенью для его ума, но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним

этом откровенно, просил его перестать, и хотя он обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне свою очередь, чтоб я над ним смеялся, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять. Сегодня ты слышал этот глупейший бестактный выход Верзилиных?

В голосе Мартынова просочилась горечь самой настоящей обиды.

— Нет, не слыхал,—сказал Глебов.—А что?

— Я сказал ему, что я прежде просил прекратить его несносные для меня шутки, а теперь предупреждаю, что если он еще вздумает выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «вместо пустых угроз, ты гораздо-б лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэли».

Мартынов тяжело перевел дыхание.

— Ну и что же? Ты серьезно намерен послать ему вызов?—спросил Глебов.

— Я ему сказал, что в таком случае я пришлю к нему своего секунданта. Вот за этим я и попросил тебя к себе.

— Это чепуха,—со смехом воскликнул Глебов.—Это совершенная чепуха! Тебе драться с Лермонтовым! Из-за чего? Ты же знаешь, каков он,—тут его голос стал тише, видимо, Глебов хотел убедить Мартынова.—Он никого не может видеть спокойно, чтобы не издеваться над ним. Разве над нами он не смеется? Над любым из нас.

Мартынов перебил.

— Ты же из его собственных слов можешь видеть, что в сущности не я его вызываю, но меня вызывают.

Неужели после этого я еще должен делать первые шаги к примирению...

Дальше Лермонтов слушать не стал. В темноте он соскользнул с кровати, накинул на плечи халат и вышел за дверь.

В корридоре растолкал спавшего на ларе Андрюшку.

— Ступай сейчас к князю Васильчикову, скажи, что я его прошу придти ко мне сейчас же. Понял? Сейчас, же, он мне очень нужен, так и скажи.

Через пять минут Васильчиков, еще не ложившийся спать, уже был у него.

— Князь, извини, я тебя побеспокоил и вот по какому делу. Господин Мартынов вздумал читать мне проповеди о том, как я должен вести себя. Я сказал ему, что если мое поведение ему не нравится, он может поступать, как ему угодно, но слушать его дальше я не намерен. Тогда он сказал, что пришлет секунданта. Вот, князь, я и послал за тобою затем только, что думал— ты мне окажешь эту честь.

Васильчиков посмотрел на него удивленно.

— Ну да, честь быть моим поверенным—что ты так смотришь? Не шутил же я в самом деле, указывая ему такой исход. Ах, Саша, устал я, надоело это мне все. Врачи свидетельствуют мои болезни, начальство требует прибыть к полку, а тут еще этот дурак со своей фанаберией. Будь добр, избавь меня хоть от этих бесполезных и утомительных разговоров.

— Ну, это то мы уладим, быстро вас примирим,— убежденно заявил Васильчиков.

Лермонтов посмотрел на него устало и как бы с сожалением.

— Делайте, что хотите,—сказал ленивым равнодушным голосом и усмехнулся,—впрочем и у меня есть сердце. Если Мартынов придет и публично при всех обещается

дальнейшем ко мне с нравоучениями не приставать, за прошлое принесет извинение, я может и подумаю простить ему. В противном случае и не старайтесь: напасно. Дураков учить нужно...

— Послушай, Лермонтов...

— Нет, нет, князь, об этом довольно. Если ты оказываешь мне эту честь, то сговорись с тем, кого заблагорассудится выбрать Мартынову, я заранее согласен на любые условия. Только сейчас и вообще до самого поединка, и перед поединком тоже не приставайте и не надоедайте мне с бесполезными разговорами. А сейчас смертельно хочу спать,— он зевнул.—Ты уж извини меня, князенька.

Как только затихли на дворе шаги Васильчикова, Лермонтов встал и прошел в соседнюю комнату. Столыпин еще не спал. Лежал в постели с книжкой, впрочем, кажется, ее не читал. Нагоревшая свечка чадила.

— Ты что?—не поворачивая головы, спросил Столыпин.

— Понимаешь, я совершенно изнемог от этой духоты. И вообще-то я не могу переносить совсем предгрозье. Вот, разразилась бы что ли наконец гроза, а то полыхает, полыхает—и все без толку.

— Зачем ты сейчас звал к себе Васильчикова?— спросил, посмотрев ему в глаза, Столыпин.

— А,—Лермонтов досадливо махнул рукой,—глупость какая-то. Мартынов, кажется, собирается послать мне вызов. По правде говоря, я даже этому рад. Кажется, он всерьез вообразил, что я подсмеиваюсь над ним, развлеченный его успехами. Я думаю о тебе, Алеша, но раз дело доходит до поединка, неприятности будут непременно. А на тебя и так уже царь довольно сердит. Ну, я решил не впутывать тебя в историю. Во всяком

случае—если что, с Васильчикова не в пример меньше взыщится, чем с тебя...

Лермонтов посмотрел на Столыпина, и тот посмотрел на него. У обоих одновременно по лицам пробежала улыбка ласковая и заботливая.

— Ты бы, Миша, велел дать себе вина. Это помогает от духоты, и спать будет лучше,—все с прежней нежностью глядя на него, сказал Столыпин.

Лермонтов только махнул рукой.

— Ничто не поможет. Вот еслиб разразилась гроза, я даже сказать тебе не могу, как стало бы мне тогда легко.

Они еще с полчаса проговорили друг с другом,—ничто и никак не относилось в этих разговорах к предстоящей дуэли. Казалось, оба об ней и забыли.

На утро—Лермонтов еще был в постели—явились Васильчиков с Глебовым. Они снова пытались склонить его к примирению, старались убедить, что он и сам немножко виноват, обещали уговорить Мартынова. Он рассердился.

— Я сказал вчера Александру, чего я хочу от него. Нет—будем драться.

— Но ты же этим еще больше задеваешь его честь.

— Э, что он понимает в чести, кроме того, чему его выучили. А я его переучу. Поняли? Хотите заняться сами?—Пожалуйста. На отстрочку я согласен. Сегодня же я уезжаю в Железноводск, и до 15 вы можете вразумлять его, как хотите: целых два дня в вашем распоряжении. 15 я буду утром. Назначить час и место—ваше дело.

15 рано утром он был в Пятигорске. Секунданты изложили выработанные ими условия.

Лермонтов нетерпеливо перебил их:

— Ладно, согласен на любые. Я уже раньше сказал. Ну, значит, славу богу, с этим дело покончено. Довольно,

о 5 часов есть еще время, и его нужно использовать. Захирел совсем в Железноводске. Скучища там адская.

Глебов посмотрел на него и с сокрушенным вздохом сказал:

— Эх, Лермонтов, напрасно ты это. Все равно поединок ничем не кончится, а себя ты подводишь. И як на тебя все зубы точат.

— Это мы еще посмотрим, кончится ли он ничем,— сверкнув глазами, сказал Лермонтов.—А что касается до меня, то хуже того, что есть, даже сам царь сделать не может. Но довольно об этом. Я голоден, как чорт. Пошли подкормиться.

В ресторации собралась вся компания за исключением Глебова, которому, как секунданту противной стороны, показываться вместе было неудобно. Обед подходил к концу, когда лакей подал Лермонтову записку. Он встал и поспешно вышел наружу.

В саду на скамейке под кустом отцветающей акации сидела Надежда Федоровна. Он не сразу подошел к ней, а подойдя, проговорил приветливо и просто.

— Ну, вот как хорошо, что я тебя сейчас встретил. Бывает так: неизвестно, почему вдруг захочется увидеть какого-нибудь человека и только его.

Она посмотрела на него преданно. Даже в недоверчивости, которая была во взгляде, было что-то от умиления и счастья.

— Я бы хотела,—сказала она тихо,—поехать куда-нибудь с тобой вдвоем, где никого не будет. Милый, сделай мне эту радость. Ведь ты знаешь, с тех пор, как приехал ты, я нигде, кроме ванн, не бываю, никого не вижу.

— Когда ты хочешь поехать? Сейчас?

— Мне все равно: сейчас ли, завтра ли, когда только ты скажешь.

— Сейчас не могу. Да, между прочим, который час?

Была какая-то мысль. Она раздражала своей неотвязчивостью. Что-то нужно сделать, что-то сказать, чтобы унижением этой женщины оплатить свою боль и невзгоды. Но только сейчас ведь...

Он вдруг заспешил.

— Сейчас мне нужно ехать. Вечером я пришлю сказать, когда нам встретиться. Ты что думаешь? Обманываю? Нет, я на самом деле хочу видеть сегодня только тебя, одну тебя.

В шепоте, которым окончилась фраза, было желание, нежность, тоска. Она вздрогнула, посмотрела почти с испугом, медленный восторг не успел разгореться в глазах.

— Итак,—до вечера.

Он наклонился поцеловать ее руку; встретясь взглядом, улыбнулся кротко и нежно.

К столу вернулся он как будто чем то обеспокоенный и встревоженный.

— Саша, нам не пора?—обратился к Васильчикову.

Васильчиков посмотрел на часы.

— Сейчас четыре.

Лермонтов налил себе бокал.

— Кто за что, а я за то, чтобы наконец разразилась гроза.

На него посмотрели удивленно. Один Столыпин, протягивая свой бокал, сказал с улыбкой:

— За то, чтобы прошла гроза.

Этот бокал Лермонтов пил страшно медленно с рассеяно отсутствующим взглядом, устремленным куда-то в даль. Вдруг, не допив до дна, озабоченно вскочил с места.

— Саша, нужно ехать.

Васильчиков поднялся из-за стола. Кто-то сказал:

— А как же сегодня будет с Кисловодском?

— Я может быть...—Лермонтов на мгновение задумался.—Нет, наверное я сегодня не поеду, не смогу. Прощайте, друзья, желаю веселиться. Пошли, Васильчиков.

Один Столыпин проводил их до дверей. В дверях, пожимая руку, он вдруг наклонился, порывисто в лоб, в губы поцеловал кузена.

— Маешка, ты чего вдруг запечалился? Это мне не нравится.

— Жара, кажется, окончательно извела меня. Дальше, я чувствую, я ее не вынесу.

Столыпин с грустной улыбкой проводил его глазами, и только когда красная канаусовая рубашка его кузена скрылась совсем из глаз, вернулся к столу.

Воздух был душен и раскален, тишина была такая, что было слышно, как где-то очень далеко, может, на Горячеводской, стучал топор. Листья у деревьев словно окаменели. С севера из-за Машука ползла чудовищная туча. Тень от нее перекатилась через горы, тяжелая и тоже горячая дотекала до города. Почти около дома встретился Глебов. Он ехал на Мартыновских дрожках и на Мартыновской лошади. Кучера с ним не было. Приостанавливаясь, он крикнул им озобоченно и деловито.

— Ну, что же вы? Николай уже давно уехал. Лермонтов, я тебе велел оседлать моего Баязета. Твоя, мне сказали, сегодня хромает.

Лермонтов закивал головой, махнул рукой.

— Поезжай, поезжай. Не беспокойся, мы не задержим.

Во дворе конюхи держали двух оседланных лошадей, Васильчикова и Глебова.

— Ну, Саша, с богом. По русскому обычаю надо бы присесть перед дорогой,— улыбнулся Лермонтов, вскакивая в седло.

Они поехали.

За воротами Лермонтов улыбаясь сказал:

— Дуэль по всем правилам. Даже не захватили доктора. Значит, либо будем сегодня пить мировую, либо...

Он не договорил. Тень от тучи сползла с горы и, вступая на ее край, шарахнулась в сторону лошадь. Он поводом выпрямил ее. В воздухе было тяжелое предгрозовое удушье. Солнце уже касалось края тучи. Косые лучи его, как стрелы, вонзались в засохший колючий кустарник.

— Термидор.

— Что?! — переспросил Васильчиков.

— Термидор. Я говорю Термидор. Сегодня по французскому революционному календарю десятое Термидора.

— А что такое случилось тогда?

Лермонтов пожал плечами.

— Ничего особенного. В пять часов дня десятого Термидора в Париже, на Гревской площади был обезглавлен Робеспьер.

— А,—протянул Васильчиков.

— Что — а? Ты, чай, и не знаешь, кто такой Робеспьер.

— Ну вот еще,—обиженно проговорил Васильчиков.— Прекрасно знаю. Самый добродетельный.

Лермонтов засмеялся.

— Оказывается, помнишь. Верно, верно самый добродетельный. Который всех хотел сделать добродетельными.

Из-за кустов невдалеке от них послышалось конское ржание. В стороне от дороги стояли дрожки, на которых уехал Глебов. Рядом с ними — оседланная лошадь.

— Ну вот и приехали, — весело сказал Лермонтов, сворачивая с дороги и соскакивая с коня. Навстречу им из-за кустов вышел Глебов.

Немного смущаясь и в то же время стараясь выдержать официальный тон, он начал было говорить о возможности бескровного исхода. Лермонтов раздраженно выругался.

— Да что это в самом деле?! Шутки ради что ли тащились сюда по такой жаре?! Приступайте же.

С вершины горы потянул легонький, едва ощутимый ветерок. Лермонтов порывисто растегнул ворот рубашки, подставляя под его дуновение обнаженную грудь.

Васильчиков, подойдя к нему, шепнул отрывисто, избегая смотреть в глаза:

— Идем...—и с заминкой—те.

Он улыбнулся, быстрым и легким шагом прошел за кусты.

На маленькой полянке, еще освещенной солнцем, стоял Мартынов. При появлении противника, он поклонился свысока и церемонно. Лермонтов, оборачиваясь к Васильчикову, спросил глазами и шопотом:

— Здесь?

— Сейчас узнаем,—отвечал тот растерянно, видимо не зная, что нужно делать, и чувствуя,—что-то делать необходимо. Глебов с деловитым видом большими шагами измерял в это время поляну.

— Ничего не выходит,—сказал он дойдя до крайних кустов.—Здесь всего двадцать три шага.

Мартынов с деланно равнодушным видом пожал плечами. Лермонтову вспомнилась его улыбка в первую встречу, он почувствовал, как в сердце поднимается слепая ко всем и на всех злоба.

— А Самсонова? Сказал ведь придти—вдруг вспоминая что-то, что беспокоило и раздражало с самого утра, подумал он.—Или нет—ненужно. Совсем ненужно.

Ненужно было не приходить Самсоновой, ненужно было чего-то другого, что длинным шлейфом волочило

за собой это воспоминание. Словно убеждая себя, повторил:

— Надоело. Довольно. Пора Пятигорские легкие мысли кончить. Вечером же сегодня сяду писать.

Глебову же бросил с досадой:

— Ну чего там еще искать?! Идем на дорогу. Там места хватит.

Опять хрустели сухие кусты. Крайняя, привязанная к ним, лошадь проводила их прилежным взглядом. На небе туча закрыла солнце. С земли поднимался тяжелый, неповоротливый ветер.

Когда секунданты уже отмерили и отметили воткнутой в землю веткой барьерные шаги и разводили их на позиции, вдруг вдалеке послышался частый стук копыт. Глебов предупреждающе поднял руку, недоуменно посмотрел на товарищей. Все замерли в ожидании. Васильчиков первый, различив показавшихся из-за поворота всадников, закричал обрадованно: «Ну, слава богу. Это Столыпин и Трубецкой. Можно начинать. По местам, господа». Столыпин и Трубецкой, доскакав, поспешно спрыгнули с коней. Глебов деловито рукой показал им, чтобы они не переступали круга. Они отошли к кустам, где были привязаны лошади, держа своих в поводу. Ветер снова дохнул едва уловимой прохладой, и вдруг Лермонтов почувствовал — на лоб ему упала крупная дождевая капля. Он поднял голову, посмотрел на небо. В воздухе была все та же неподвижная тишина. Васильчиков подал ему пистолет. Он, не глядя, взял его. С ясной и кроткой улыбкой смотрел в сторону, туда, где застелившая небо туча сделала дали лиловыми и холодными. Кто-то,—он не разобрал—Васильчиков или Глебов, — крикнул: «Марш». Он не тронулся с места. Мартынов прямым твердым шагом, как на параде, шел на барьер. Лермонтов удивился, что тот в одном

бешмете: когда черкеску сбросил он, он этого не заметил. Теперь кругом лиловым стало все, белый шелк Мартыновского бешмета казался намеленной на темной стене мишенью. Черная точка, как безразлично равнодушный глаз, смотрела на него, Лермонтова. Он взвел курок, хотелось отвести глаза от белого бешмета, не смог, поднял пистолет дулом вверх.

— Подумают, что заслоняюсь стволом и рукою,— мелькнуло в голове, и он спокойно и даже лениво повернулся левой, ни чем не закрытой, стороной к противнику.

Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не качнувшись ни взад, ни вперед, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают раненные. Все, кроме Мартынова, бросились к нему. В правом боку дымилась рана, с левой стороны рубашка намокла кровью. Столыпин взял его руку, рука безжизненно отпала в сторону.

— Конец.

Мартынов словно только и ждал этого слова. Шатающимся, неуверенным шагом он подошел к мертвому. Перекрестился, рука у него дрожала, и, крестясь, он клал пальцы выше плеч. Потом он быстро, словно подломились ноги, опустился на колени, поцеловал труп в губы, и также быстро поднявшись с земли, бегом устремился к своей лошади. На том месте, где он стоял вначале, темным бесформенным пятном осталась лежать брошенная на дороге черкеска. Стук копыт его лошади вывел из оцепенения склонившихся над трупом друзей.

— Нужно ехать за доктором, — растерянно пробормотал Васильчиков, порываясь идти.

— Зачем?! Он же мертв. — Нужно озаботиться подводой или экипажем, — не на дрожках же везти тело. Зря мы не сказали об этом Мартынову.

В этот момент страшный удар грома казалось потряс до основания Машук. Словно целая туча камней летела с ее вершины, перекатываясь с грохотом и ревом. Лениво перебегавший до сих пор по земле ветер вдруг поднялся вверх, неистово погнал на неподвижно стоявших над трупом людей, на самый труп, лежавший на дороге, полосу косого частого дождя.

— Вот она разразилась...,—начал и не договорил Столыпин. Голос у него оборвался хриплыми и глухими рыданиями.

XI

Уже давно собственная жизнь представлялась Евгению Петровичу Самсонову птицей, у которой перебили одно крыло. Такими же жалкими и беспомощными, как и у той, попытками взлететь казались ему старания отделаться от чего-то, мешавшего ему жить, ходить, видеть и интересоваться. Выглядел он постоянно страшно озабоченным, страшно занятым, хотя на самом деле никаких особых забот у него теперь не бывало. За пять лет совместной службы с Бенкендорфом он так освоился с кругом дел, порученных его ведению, так привык с полслова понимать волю и желание своего начальника, что служба казалась таким же несложным, не бременяющим никакой думой занятием, как сон или принятие пищи. Правда было и еще одно обстоятельство, делавшее ее не только не обременительной, но даже приятной. Он полюбил Бенкендорфа. Как и когда это произошло, он не сумел бы рассказать и себе. Но, вызвать на лице своего шефа довольную улыбку каким-нибудь по собственному побуждению сделанным распоряжением, услышать похвалу или одобрение доставляло ему чуть ли не радость. Да и сам Бенкендорф за эти годы решительно пере-

нился в его глазах. Его бестолковость, его постоянная
нера говорить с подчиненными одними полунамеками
вались теперь особо тонкими, особо совершенными
емами, чуть ли не верхом административной мудро-
и, его совершенно необъяснимые пристрастия и не-
язни—проявлением рыцарски благородного характера,
мляющая, запинающаяся речь—признаком мудрой, все
стигнувшей опытности. Бенкендорфу он разрешил бы
ворить с собою даже о том, в чем не решался при-
наваться даже себе. Еще бы: Бенкендорф был великим
рдцеведом, и он его любил.

Поэтому он внутренне не возмутился, но поспешил
мониться от откровенности, когда летом прошлого
840 года первый раз за все время совместной с ним
ужбы тот завел с ним разговор об его семейных де-
ах. Приступил он к этому разговору весьма и весьма
сторожно. Он начал с того, что, похвалив внешний
ид Самсонова, подивился его еще недавней удручен-
ости и подавленности, высказал свою живейшую по
оводу таковой перемены радость, похвалил его за
акую-то неважную, составленную им бумажку, и только
осле этого как бы невзначай спросил:

— А кстати, mon cher, где сейчас твоя жена? По-
нится: ты куда-то ее отправлял.

Самсонов ответил, что жена его на Кавказе, на во-
ах, здоровье ее как будто поправляется, что сам он
ыглядит таким веселым и бодрым вероятно от того,
то каждый день имеет возможность упиваться самой
одлинной радостью, наблюдая как подрастает его малень-
ий сын, который решительно во всем походит на него...

Бенкендорф заговорил о сыне. Самсонов даже не
аметил, как его принципал с разговора о его сыне пере-
ел на сыновей вообще, на растущее и подрастаю-
ее поколение.

— Воспитание дорогого тебе ребенка, mon cher, можно поручить только человеку, которому ты безусловно веришь и доверяешь. Только...

Самсонов внимал этому, как мудрому и значительному опыту, которым сейчас с ним делились, постарался запомнить, как добрый совет.

А Бенкендорф уже говорил о том, что склеить разбитую посуду невозможно, что если у тебя вырван из тела кусок мяса, и он болтается на ниточке, нужно не побоявшись боли срывать его совсем, иначе рана никогда не заживет. Закончил он так участливо, так вкрадчиво и нежно смотря в глаза, что у Самсонова даже и не могло возникнуть сомнений насчет бескорыстности его советов.

— Тяжело мне говорить тебе об этом, но что делать,—тут Бенкендорф вздохнул,—если начал говорить правду, то нужно ее говорить до конца. Ты, mon cher, еще молод, будущее в твоих руках. Ну, не удался твой брак, обманула нас Львова, а ведь как мы с покойником ее отцом о вас думали; ну что делать, mon cher, нужно примириться и забыть только.

Бенкендорф вздохнул опять, ласково посмотрел на Самсонова. Во взгляде его Евгений Петрович прочел и нежность и сострадание, ему сделалось вдруг так хорошо и вместе с тем сладко печально, что нагрудный знак даже отделился от мундира от тяжелого вздоха.

— Нужно кончить, кончить нужно, mon cher..., опять заговорил Бенкендорф. — Человека переделать нельзя, убедился ты в этом, значит... нужно о нем забыть... Просить государя о разводе ммм... это скандал: нельзя... Но у тебя есть выход. Все знают, что твоя жена больна, все знают, каким хорошим был ты мужем. Кого удивит, что ты готов терпеть даже разлуку только затем, чтобы поправить ее здоровье. Оставь ее

...и на Кавказе или устрой на зиму где-нибудь в деревне ...хороших и порядочных людей... Э, mon cher, ты слиш...м еще молод, чтобы не забыть этого скоро... Послу...йся моего совета.

Самсонов послушался. Самолюбие не позволило пи...ть с той же осторожностью и мягкостью, с какой ...учали его. Письмо, отправленное Надежде Федоровне, ...лем и тоном напоминало казенное отношение или ...казания, которые рассылались из управления делами ...ераторской главной квартиры. Этой зимой Надежды ...доровны в Петербурге не было.

Действительно ли так хорошо понимал человеческие ...рдца Бенкендорф, или это случилось от чего другого, ...о многие нашли в ту зиму, что Евгений Петрович со...ем уж не такой бука, и что он даже может быть ...тересным человеком в обществе.

На Кирочную, в скромную квартиру, где хозяйни...ала все та же, только подряхлевшая за последние годы ...дреевна, некоторыми вечерами, соблюдая строжайшее ...когнито, приезжала дама. Евгений Петрович даже ...мыслях остерегался называть ее по имени, так рев...иво хранил он чужую тайну. Эта дама с большой неж...остью ласкала маленького Петю, если его не успевали ...ложить спать до ее приезда, всегда привозила ему ...грушки и гостинца. Петя звал ее тетей, и отцу иногда ...казалось, что ребенок любит ее больше чем отца. После ее визитов всегда оставалось такое ощущение, как ...будто близки праздники: в доме начинались приготовления, ...се — суматошно и весело. Вещи, мебель, обои, зана...вески на окнах словно молодели, делались какими-то ...совершенно иными и симпатичными. Себя Евгений Пе...трович чувствовал тоже помолодевшим, беспокойно и ...весело возбужденным, но тем не менее следующего ...визита он ждал терпеливо и не скучая.

Птица с перебитым крылом не стала летать, но вполне освоилась и примирилась с землей.

Весна поразила Евгения Петровича большою,—с ней примириться трудно было,—неприятностью. Уже давно прихварывавший Бенкендорф этой весной уезжал для леченья за границу и повидимому надолго, а может быть и совсем. Временно исполняющим его должность был назначен граф Алексей Федорович Орлов.

Орлов был бесконечно ленив, беспечен и равнодушен, больше всего на свете дорожил своим покоем, вкусным обедом, старыми и редкими винами, в которых он замечательно разбирался. Воспитанный Бенкендорфом, Самсонов иначе и не представлявший себе своего принципала, как иссыхающего в непрерывных служебных заботах, никак не мог примириться с новыми, установившимися в его управление порядками. Служебным девизом графа Орлова было «авось» да «небось». Поэтому летом, когда Двор по обыкновению переехал в Петергоф, а войска выступили в лагеря, и, как всегда, для Самсонова наступило самое трудное и самое беспокойное время, он приходил в отчаяние от безучастливого равнодушия, в котором пребывал его новый принципал.

На грех это лето, как никогда, изобиловало парадами, смотрами и маневрами. Особенно много их было в июле.

При Бенкендорфе Евгений Петрович всегда заранее знал, к чему нужно быть готовым. Об этом заботился граф. Теперь о намерениях и планах государя он мог только гадать, читая приказы по гвардейскому корпусу. В одном из них он прочел, что 28 июля государь «изволит объезжать лагерь под Красным Селом». Приказ был от 26, а у них по Главной Квартире еще не было никаких распоряжений. Евгению Петровичу по-

залось, что даже кожа у него на руках, как старые рчатки, только мешает ощущению. Не было даже вре-ни предаваться отчаянию здесь, не выходя из канце-рии. Он полетел в Стрельну, где постоянно пребы-л на даче его начальник. Тот встретил его на тер-се в легком халате, обставленный ведрами со льдом прохладительными напитками, изнемогающий от жары, , как всегда, благодушный и невозмутимый.

— Здравствуй, мой архангел, что скажешь хоро-енького?

— Ваше сиятельство, после завтра государь объез-нет лагерь в Красном Селе.

— В самом деле? Ну, с чем тебя и поздравляю, — оследнее было любимой поговоркой Орлова.

— Но, ваше сиятельство, ведь по этому случаю нам ужно сделать много распоряжений...

— Это для чего? Ровно ничего ненужно, я вчера идел государя, и он мне ничего не сказал. Пусть же н знает, что я не святой дух: угадывать его мысли е могу.

— Но, ваше сиятельство, этого никогда не бывало, тобы государь находился в лагере без дежурных и свиты.

— Ну, дежурных, пожалуй, назначь, а свиты отнюдь е надо. Пусть в другой раз, ежели захочет, сам при-жает.

Орлов мутными глазами посмотрел кругом, потя-нулся было, но рука не доставала.

— Дай-ка, мой милый, вон того лимонаду. И кому олько в голову придет в такую жару смотры делать.

Он как-то чересчур внимательно поглядел на Сам-онова, отвел глаза и сказал:

— Да, скажи мне пожалуйста, что такое там у тебя с женой. Государь мне вчера сказал, чтобы я дал тебе

понять, что он не желает ее возвращения в столицу. Это почему? Ты, брат, уж меня извини, я говорю прямо;— русский человек не умеет такие вещи обиняками высказывать.

Если бы Евгений Петрович был в состоянии в этот момент делать какие-то сравнения, если бы он мог и хотел определить свое ощущение в данный момент, то «птице перебили и ноги» было бы самым верным.

Значит Бенкендорф не из доброго расположения, не от участия подал ему такой совет. Ему больше всего хотелось в этот момент убежать, запереться в четырех стенах, никого не видеть, не слышать; но нужно было скакать в Петербург, оттуда в Красное — готовить все для царского смотра.

Если бы Орлов не сказал ему этого, может быть, как-нибудь и сбыли с рук и этот смотр. Но теперь не только валились из рук бумажки, но и не приходило то, что нужно, на ум, из рук вываливался день.

Государь был недоволен решительно всем. По его приказанию специальным фельдъегерем был вытребован из Стрельни Орлов. Тот, утомленный и рассерженный и ездой и зноем и нагоняем, ворчливо выговаривал Самсонову же:

— Знаешь, государь очень прогневался, что не нашел здесь никого и изволил выразиться, что мне это простительно, по новости дела, а тебе, так давно занимающему твою должность,—нет.

После трудного дня маневров раскиснувший от непомерной жары и донельзя утомленный двенадцатичасовой верховой ездою, граф Орлов вместе со всеми или, вернее сказать, прежде всех, не слез, а свалился с лошади, растянулся во всю свою длину в тени первого попавшегося кусточка, извергая самые энергичные ругательства.

— Ваше сиятельство, государь изволил приказать
ставить свою палатку вот здесь недалеко, на правом
анге бивуака Преображенского полка.

— С чем тебя и поздравляю.

— Но, ваше сиятельство, не угодно ли вам будет
исутствовать при исполнении этого приказания. Граф
кендорф никогда и никому не доверял постановку
атки государя, всегда сам распоряжался.

— Покорно благодарю, нет, брат, я свои руки и ноги
в дровах нашел, чтобы так легко ими жертвовать.
С палаткой дело не совсем гладко, но все же сошло.
гений Петрович наконец мог прилечь отдохнуть после
их суток суеты. Вдруг новое приказание. На завтра
ем войскам, участвующим в соборе, назначается об-
ай против мнимого неприятеля маневр.

— Завтра, завтра. Что такое еще завтра? На завтра
кется назначено что-то еще, — силился вспомнить
гений Петрович, но так и не вспомнил, для завтреш-
го маневра от него ничего не требовалось, он заснул.

День прошел, как и всегда, в жестокой пушечной и
жейной пальбе и разных эволюциях и как будто
много исправил настроение государя. По окончании
невра государь объезжал вызвавшую в этот день осо-
е его одобрение артиллерию, по нескольку раз благо-
рил все батареи. Ударили отбой по домам.

— Слава богу, — у Евгения Петровича сердце малень-
им холодным комком упало вниз, томленьем заныли
ки и ноги.

— Все кончилось. Можно ехать домой и думать,
мать...

Вдруг государю вздумалось сделать еще одно по-
роение. Он тронул коня, догоняя разъезжавшиеся ба-
реи, своим звучным и неимоверно громким голосом
омандовал:

— Конная артиллерия! Стой! Равняйся!

В грохоте скачущих в карьер орудий расслышать что-либо было невозможно. Николай дал шпоры, стараясь заскакать в середину движущейся артиллерии, еще раз и более зычно повторил команду. Никакого результата. Он обернулся, ища за собой глазами трубача.

Назначать к государю трубачей входило в обязанности Самсонова. Увы, в этот день с государевой лошадью не ездило ни одного трубача.

Николай Павлович круто повернул коня, возвратился на прежнее место.

— Орлов,— раздался снова его зычный голос.

Орлов с рукою под козырек галопом подскакал к нему. Государь что-то говорил раздраженно и гневно.

— Государю коляску,—крикнул Самсонову Орлов, и тот сломя голову поскакал по направлению, где должен был стоять экипаж. Едва он отъехал саженей сто, как снова голос:

— Самсонов! Самсонов!

Он остановился. Вслед за ним скакал дежурный флигель-адьютант.

— Ступай, государь тебя спрашивает.

Самсонов повернул коня.

Государь и вся свита стояли, спешившись одной тесной группой. Одинокая конная фигура, маячившая рядом с этой группой отделилась, поскакала на встречу Самсонову. Это был герцог Максимильян Лейхтенбергский.

— Ecoutez,—сказал он запыхавшись,—l'impereur est furieux contre vous, ne lui reponder pas un mot, ou vous êtes un homme perdu.

— Monseigneur, — отвечал Самсонов со слезами на глазах, — jamais tant ja vivrai cet act d' intérêt et de bonté, que vous daignez me témoigner ni sortira ni de mon coeur, ni de ma memoire.

Государь его заметил.

— А пожалуйте-ка сюда.

Он соскочил с лошади и вышел на середину кружка.

— Что это значит, что, как я не приеду, всегда застаю какие нибудь неисправности? — загремел знакомый и грозный голос. — Пора бы кажется вам привыкнуть к вашей обязанности. Ступайте-ка на гауптвахту.

В этот момент внимание всех привлек столб пыли, показавшийся на дороге. Евгений Петрович не помнил, были ли выставлены в этот день заставы, — опять тревога, это тоже входило в его обязанности. — Кто мог скакать по военному полю, когда на нем происходили маневры?

Из облака пыли вырвалась загнанная взмыленная тройка. Фельдъегерь, громыхая и цепляясь палашом, еще раньше, чем она остановилась, выскочил из тележки, бегом устремился к окруженному свитой государю.

— Ваше величество, донесение с Кавказа.

Николай посмотрел кисло.

Только через четвертые руки попадали к нему бумаги от фельдъегеря. Первый, кто выхватил пакет, успевал только надломить печать, у второго в руках бумаги высвобождались из конверта, третий, развернув их, перетасовывал по степени важности. Из рук Лейхтенбергского Николай брал и читал их по очереди. Первые две, бегло просмотрев, он сунул в сторону с коротким:

— Это Чернышеву.

В этот момент подъехала коляска. У Лейхтенбергского в руках оставалась еще одна бумажка.

— Что еще?! — нетерпеливо спросил Николай, уже ставя ногу на подножку.

— Рапорт Пятигорского коменданта командиру Кавказского корпуса при всеподданнейшем донесении вашему величеству,—ответил Лейхтенбергский.

Царь только слегка повернул голову в его сторону.

— Ну?

Лейхтенбергский прочел:

«Повергая на благоусмотрение вашего императорского величества рапорт Пятигорского окружного коменданта господина генерал-майора и кавалера Ильяшенко, всеподданнейше доношу: пребывавший на водах по случаю расстроенного здоровья поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов 15-го сего июля убит на поединке отставным майором Николаем Мартыновым».

— Собаке — собачья смерть, — долетели до слуха Евгения Петровича внятные, словно разрубленные паузами, слова.

Царь сел в коляску и отбыл с поля.

Евгений Петрович все еще стоял. Группа, окружавшая царя, шумно обмениваясь впечатлениями, поспешно расходилась. Неизвестно почему он вспомнил другие маневры на этом же самом поле шесть лет назад, вспомнил себя, стало так жалко безвозвратно ушедшую молодость, что хотелось плакать. Вспомнил, что тогда же ему впервые встретилась фамилия Лермонтова, вспомнил ту запись, которой он был обязан этой фамилии. Память стремительно, словно ее преследовали, пробежала по всем этим шести годам, — ни на одном из них, ни на одном дне, ни на одной минуте она не захотела остановиться.

— Как глупо-то, ужасно как глупо, — вздохнул он. Это относилось очевидно к дневнику, запись в котором он сейчас вспомнил.—Ужасно глупо.

Он вздохнул еще раз и пошел объявиться арестованным на Красносельскую гауптвахту.

Февраль—июль 1928 г.
„Старые Горки"—Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Всеволод Иванов. — Танки и Нефть	3
Артем Веселый. — Домыслы	37
Борис Пастернак. — Стихотворения	43
Сергей Буданцев. — Мушка	47
Павел Сухотин, — Романтический плод	103
Вера Ильина. — Стихотворения	135
Александр Яковлев. — Люди	139
Глеб Алексеев. — Повесть о ненаписанном законе.	169
Конст. Большаков. — Бегство пленных	253

14555

ЦЕНА 3 р. 50 к.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЖИЗНЬ и ЗНАНИЕ“
Москва, Тверская 5, ком. 1